КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4 (21)

ИЮНЬ—ИЮЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз № 7500 Главлит. № 22271. Москва. Напеч. 12.000 экз.

Как создаются курганы.

Всеволод Иванов.

Рассказ.

Посвящается А. Воронскому.

Утром я видал, как в порту грузили пароходы тяжелым мужицким зерном. Палубы были огромные, пологие, усыпанные зерном, как веснушками, и чужеземные матросы сходили на берег ненужно-опрятные.

А вечером предо мной была степь, и лиловый густо-весенний ветер трогал меня в плечо, а мой друг Петр Жаткин, археолог и поэт, утром еще рассказывавший о максимальной нагрузке порта, экспорте, импорте,—снял шапку, и его рано поредевшие волосы отливали сединой. Курган, куда мы поднялись, имел еще запахи прошедшей осени, о которой кто-нибудь да будет плакать—и земля по-весеннему была радостно-пустой.

Мой приятель заговорил о скифах, здесь обитавших, о тяжелых бронзовых стременах и удилах их седел, о наивном курганном искусстве и вспомнил еще — как в Керчи в ясную погоду в море видны колоннады поглощенного греческого города, а море выкидывает амфоры, наполненные истлевшим черным зерном.

Земля чернела, солнце закатывалось, земля походила на черное истлевшее зерно. Оставшиеся запахи осени имели вкус тлени.

И здесь я вспомнил о кургане, созданном некогда при мне и мной.

Зимой девятнадцатого года я проезжал мимо станции Татарка. У меня был тиф: мне чудилось — Колчак не расстрелян, вернулся— огромные эшелоны с солдатами опять идут к Омску и опять китайцы торгуют шелком. И зеленым горячим шелком обернуты мои ноги, и ногти, хотя тверды, как нефрит, а я не могу прорвать жидкую ткань.

В Омске, когда я спускался, ноги мои непослушны, мне хочется есть, а Губисполком выдвинул мою кандидатуру в заведующие Отделом Внешкольного Образования.

Я люблю Шекспира, а тогда, после тифа, он особенно радостен был мне, может быть трехсотлетним торжеством своим? После назначения заведующим, я просидел всю ночь, мне даже не хотелось есть,— я составлял доклад. Я доказывал, что театральное просвещение масс надо начинать сверху, с Шекспира. На улице сорок градусов мороза, водопровод застыл, и тощие мужичьи кони вязли с дровами в сугробах. Город был в тифу и холоде.

Актеры боялись Чека, все они играли в патриотических колчаковских спектаклях. У меня на голове был послетифозный пух вместо волоса; глаза отекшие и тощая монгольская бороденка. Они не глядели на меня и быстро согласились играть Шекспира. Я реквизировал весь шелк, бархат и картон, и через десять дней все театры, народные дома и клубы играли Шекспира.

Я ходил из театра в театр, в полушубке, в обмотках и бутсах, и везде приятные моему сердцу встречались пышнообразные и пышноодежные герои великого англичанина.

Тем временем из Москвы шли инструкции, и скоро Губисполком понял, что Шекспир не обязателен, когда есть Луначарский, и что вообще нужно ввести революционный репертуар. А при подсчете оказалось, что всю материю, краски и картон я истратил на Шекспира, и революционные пьесы ставить не в чем и нет костюмов. Тут же выяснилось, что до сего времени я не член РКП и вообще ничего не понимаю.

Мои друзья из Губисполкома были очень удивлены, но по деликатности в РКП вписываться мне не предлагали, а я (возможно в послетифозной радости) не понимал, зачем мне партия, когда у меня есть такие хорошие приятели.

Однако мне предписали сдать дела по Отделу другому, и я это сделал охотно, точно выяснив, что Шекспира мне ставить больше нельзя.

— Иди теперь в газету и пиши,—сказали мне в Губисполкоме.

— А если я не хочу?!

— Тогда поезжай по губернии инструктором.

И я согласился ехать.

А на другой день меня призвали в Губисполком и объяснили:

— На станции Татарка, двести верст отсюда, выяснилось,—свалено восемь тысяч трупов. Чтоб не загружать губернских узлов, трупы свозили в Татарку со стороны Николаевска и Орска. Пакгаузы станции загружены, трупы лежат на путях, приближается весна и их нужно похоронить в трехнедельный срок, иначе начнется разложение, грозящее чумой или другой эпидемией.

Голос у секретаря был точный, телеграфный, а был в валенках и рваной шинели с заштопанным воротником. Самым чистым на нем был револьвер.

— Что ж имеет предложить Губисполком?—спросил я.

— Губисполком дает вам, товарищ Иванов, неограниченные полномочия на Татарский уезд, трех подрывников, динамит, секретаря и машинистку, а также отдельный вагон. Поезжайте и хороните.

— А если начнут разлагаться?

— Ну, и что ж, товарищ!

— На такой предмет надо спирту.

Секретарь задушевным тенорком протянул:

— Если немного, можно. Только ты там не брякай очень. Поезжай, какого чорта ты шарашишься, писатель ведь, тебе все видеть надо.

— Разве отказываюсь?—ответил я.

Часовой был в заячьей шапке, очень белой и очень новой. Он был чрезвычайно чем-то доволен, и когда я к нему подошел, он сказал совсем радостно о другом, близком мне:

— Курить на пороховых складах нельзя, а тут ведь мясо, не взорвется.

И он показал свою мурманскую трубку.

А трупы лежали штабелями. Через две сажени в землю были вбиты высокие колья и, — между ними трупы. Свозили их сюда на платформах, было много заледеневших, покрытых седоватой пленкой, точно жидким блинным тестом. Часто пишут о мертвых глазах, а по-моему тяжелее всего смотреть на руки, а возможно, это оттого, что мы видим мертвых одетыми, а там они были голые, с пепельным налетом на остро выпиравших костях.

У меня теперь умиротворенная радость, когда я вижу кости, освобожденные от мяса.

Там тела лежали неровно, скрюченно, и к кольям—спиной.

Когда я шел к своему вагону, мимо в снега бежала собака, похожая на лисицу. В зубах у нее—голень с выеденной до кости промерзшей икрой.

Мягкая морозная тошнота на секунду овладела мной в вагоне. Машинистка печатала уже приказ о мобилизации подвод, по-весеннему солнце нагревало клавиши машинки.

И вот через три дня голубые полозья мужицких подвод охватили станцию. Десятские бегали к моему вагону и кричали: „Куда везти?". А ни я, ни Уисполком не знали, куда везти трупы. Подрывники пробовали взорвать динамитом яму, чтоб превратить ее в могилу. Почва— глина и пластами песок — вилась жгутом, ползла, как грязь, и шла только в ширину. Копать, — со всего четырехтысячного населения городка набралось три сотни работоспособных людей с лопатами,— ничего они вырыть не могли. Могила должна быть огромной, а земля-глина промерзла в этот год, жутко — между пластами глины лежал почти теплый, словно в мешки насыпанный, песок.

Мужики ждали три дня и разъехались молча, потому что они уже знали предложение предуисполкома Медведева (он был железно-

дорожный рабочий, сутулый и твердогубый,—кровно ненавидевший деревню) разверстать трупы по селам: „воевали с Колчаком, пускай за ним и в землю идут руками родных". А уезд—на пятьсот верст, и некогда мужикам развезти трупы.

Так я остался опять один в вагоне сочинять приказы. В полдень, когда больше всего грело солнце, лица трупов чернели, на каланче пожарный бил двенадцать, и часовые со злости (на чуму) стреляли в собак.

В один из таких полдней,—когда мне казалось, что на станции пахнет разложением и умышленно быстро мелькают редкие поезда,— я собрал подрывников, и мы решили взорвать лед на реке Татарке и пустить все трупы под лед.

Речка была таежная, деревеньки по ней почти не росли.

Подрывники радостно схватили шнуры и динамит. Толстокопытые лошаденки, словно кувыркаясь, мчались вниз по спуску,—и паровозные гудки, казалось мне, ревели менее хрипло.

От реки, словно в половодье, слышался треск, комендант станции продвинул мой вагон ближе к штабелям трупов, секретарь опять объявлял мобилизацию подвод.

А тут вошел красноармеец, он был огромен, с кулаками, словно кованными из железа, и от страха, должно быть, звали его все Егорушкой.

— Там к тебе какой-то гусь пришел, пустить его што ль?

Маленький человек в козьем полушубке, пахнущем сеном, низко по-старообрядчески поклонился мне.

— Слышать не изволили — сказал нараспев, словно выравнивая слова: — подрядчик Глушкин. Раньше при старом режиме школы строил, а теперь к трудовой повинности приставлен. Очень обидно-с. Сколько просветить народу пришлось, а тут какая благодарность.

Подрядчик сел спиной к окну, борода его медленно начала таять и рыжеть. Еще больше запахло сеном.

— Реку, слышал, засорить хотите, вместо чумы-то холера может произойти. Тут надо кроки уметь снимать.

— Чего? – спросил я.

— Кроки, в топографии полей употребляются, иначе краткосрочные планы. Кто же в реку людей хоронит? — поди, так все крещеные. Хоронить надо в могилу, а если не умеешь, то и убивать не берись.

Треск на реке усиливался.

— „Что они всю реку взорвать хотят?"—подумал я со злостью.

— Вы собственно зачем?

— Мы зря к военным людям не ходим, господин комиссар, мысль имею хорошую.

— Подряд хотите?

Глушкин улыбнулся как-то волосами.

— Нонче подряды не сдают, все своими силами хочут, а если вы бойкий и за своей ответственностью,—похоронить можем безо всяких жестокостей.

— Чего надо?

Подрядчик распустил опояску, сходил к порогу и, тщательно обтерев пимы, снял шапку, и волосы у него вдруг оказались рыжими, веселыми и курчавыми. Я как будто немного понял его волосяную улыбочку.

— Разверстками замучили, гражданин-товарищ, скотину—две коровы отобрали, лошаденки тоже для собственной нужды были, овец восемь штук.

— Пишите в Уисполком и Упродком отношения,—сказал я секретарю: — выдать немедленно...

— Муки отняли опять, а без муки как мне мыслить, а у меня мысль когда однажды в две недели бывает и того реже. Две недели я должен через силу есть, мысль-то — она тугим брюхом ищется, да-а...

— Два куля муки... боченок масла...

— Совершенно верно, и опять обносились. Я про ребятишек не говорю, они с голым брюхом могут на печи сидеть...

Волосы у меня отросли тогда в дикие лохмы, очки треснули и были на лице как бородавки, у меня зябли руки и я носил огромные перчатки шофферов. Вид я являл страшный. Я отстегнул кобуру и спросил подрядчика:

— А ты знаешь, что у меня неограниченные полномочия?

Подрядчик вдруг густо вспотел и даже сквозь рыжий его волос я разглядел синеватую бледность, идущую от шеи. „Кончится еще раньше срока", подумал я, но мне хотелось устращать его за какое-то мое унижение.

— Знаешь? Так вот, если ты в трех словах и через три минуты не скажешь мне, в чем дело, я прикажу тебя сейчас же вот у подножки вагона расстрелять, раздеть и прибавить к восьми тысячам.

Очень жалко было смотреть на его веселые кудри и новый полушубок.

— Тут яма,—сказал Глушкин скорее полушубком, чем губами,— яма есть, тройка въезжает, а глубиной с каланчу, там песок самый лучший для кирпичей, вот в яму ту... там снег сейчас, если очистить...

И точно, хотя снега были тяжелые и густые, как льды, но легко вывозили звонкие глыбы таежные лошаденки. Обнажались желтые края, бока ямы, и чем глубже, тем темнели гуще глины, и черный могильный зев открыла, наконец, земля.

А подрядчик Глушкин носился легонько, точно облупливал яйцо, а не землю. Легонький пуховый говорок у него и легонькие сдобненькие мысли.

— Их ты, может и они за легкий сон боролись, надо им, хозяин-комиссар, добрую обитель рубить. Давай подводочки, давай, вывози.

— Руби,—говорил я,—руби, Глушкин.

И когда яма опросталась во всю свою трехэтажную глубину, когда снег казался в ней не льдом, а пушинками—из Исправдома привели заключенную буржуазию, от станции длинной цепью пошли подводы с трупами. Буржуазия, которую тогда у нас звали „галками"—оттого ли, что убивали ее легко как галок, или от бестолкового ее галканья,—стояла эта буржуазия на краю ямы и один за руки, другой за ноги—кидали в ямы трупы.

А были еще холода, трупы звенели как металл или сухое дерево. Земля была точно металл, и от этого взаимного звона, сталкивания,—отскакивали у трупов пальцы, ноги, легкие младенческие головы. Тогда я познал хрупкость и весь восторг человеческого тела.

Уже протаивали сквозь снега былинки в степи и тепло на щеке было тонкое, словно былинка.

Трупами наполнили три четверти ямы, засыпали глиной, песком, перемешанным со снегом, из двух бревен сколотили огромный черный крест,—и я уехал.

А через три недели в Орск на мое имя от Уисполкома пришла телеграмма: „Треснула, срочно выезжайте".

И вот я опять в этом городишке, где люди непонятные, неуклюжие, точно тесовые. Вызвали они меня не оттого, что не могли ничего сделать, а оттого, что очень нелепо все и по нелепому страшно.

Засыпали мы тогда могилу пополам—снег с песком, трупы от весны осели, потом взбухли, земля лопнула, и смрадное гниение облепило город. Сажен за сто нельзя было подъехать к могиле. Крест скатился, серая гнойная жижа текла из желто-черной щели.

Опять привели буржуазию, затыкая рты мокрыми тряпками. На тачках по плахам (лошади отказывались подвозить) тащили они глину к щели и забивали.

А когда забили слегка, грузовик, нагруженный кирпичами (чтоб был тяжелей) промчался по могиле. И как первый лед под первым пешеходом,—так колебалась земля. Опять прибавили глины и так бегал грузовик, пока не стал твердо стоять, как на простой земле.

Тогда вновь, на холм вкопали черный крест из бревен!

Подрядчик Глушкин выгнал в степь пасти коров, возвращенных Упродкомом. Я вернулся в Орск, буржуазия—в тюрьму, и в степи осталось вкопанное черное бревно.

Бревно это скоро упадет, сгниет,—будет сначала сидеть на нем коршун, а затем на гнилушке—оранжевая бабочка, называемая у нас могильницей. Курган зарастет ковылем, а облака по вечерам—и тогда, и сейчас—будут мелкие, сухие и оранжевые, как пыль с крыльев бабочки.

И какой-нибудь молодой археолог и поэт через тысячу зим раскопает курган—и ничего не поймет.

Рассказы.

И. Бабель.

Сказка про бабу.

Жила была баба, Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами!

Мужа на войне убили. Три года баба без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак, — углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют.

Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!

На четвертый год к доктору пошла, говорит:

— В голове у меня тяжко: то огнем полыхает, а то слабну...

А доктор возьми да ответь:

— Нешто у вас на дворе мало парней бегает? Ах ты, баба...

— Не осмелиться мне,—плачет Ксения:—нежная я...

И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие с горьковатою слезой.

Старуха Морозиха тут все дело спроворила.

Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы паровать, а там хоть трава не расти.

— Я,—грит,—тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой, вонюченькой.

И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, да затейлив— умел песни складать. Тела никакого, волос длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли, нужен? Песни складает и мужчина—лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со сто, пирог с изюмом. На кровати у Ксении три перины положены, а подушек шесть, все пуховые, — катай, Валя!

Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет:

— Ах, дружочек мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами—разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости...

Слово по слово. Выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло, — не шутка!

Валентин мой румянец получил прямо коричневый и стихи сказывает таково зычно.

Морозиха от стола тогда отодвинулась.

— Я,—говорит,—Ксеньюшка, отнесусь, господь со мной,—промеж вас любовь будет. Как,—говорит,—вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины,—на них не настираешься...

А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их.

— У меня,—говорит,—виденья. Я как выпью—у меня виденья. Вот вижу я—ты, Ксения, мертвая, лицо у тебя омерзительное. А я поп—за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю.

И тут он, конечно, голос поднял.

Ну, не больше чем женщина, она-то. Само собой она уже и кофточку невзначай расстегнула.

— Не кричите, Валентин Иванович,—шепчет баба, — не кричите, хозяева услышат...

Ну, рази остановишь, когда ему горько сделалось?

— Ты меня вполне обидела,—плачет Валентин и качается,—ах, люди-змеи, чего захотели, душу купить захотели... Я,—грит,—хоть и незаконнорожденный, да дворянский сын... видала, кухарка?

— Я вам ласку окажу, Валентин Иванович...

— Пусти.

Встал и дверь распахнул.

— Пусти. В мир пойду.

Ну, куда ему итти, когда он, голубь, пьяненькой. Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб божий.

А Морозиха уж тут.

— Толку не будет,—говорит,—вынесем.

Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах; кухарке своей замечание сделала.

— Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь тоже самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня,—говорит,—дочь-девица в семье...

До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила:

— Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной, с молодой бабой, изделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на божий свет подыму, и что я в ем, в божьем свете, увижу?..

Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидючи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся.

— Промашка,—отвечает ей Морозиха,—тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять...

А утро завело уж свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.

Баграт-Оглы и глаза его быка.

Я увидел у края дороги быка невиданной красоты.

Склонившись над ним, плакал мальчик.

— Это Баграт-Оглы,—сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу.—Баграт-Оглы, сын Кязима.

Я сказал:

— Он прекрасен, как двенадцать лун.

Заклинатель змей сказал:

— Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, к которому не было пары. Но Алла велик...

— Алла иль Алла,—сказал я.

— Алла велик,—повторил старик, отбрасывая от себя корзину с змеями.—Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскопил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-Оглы коров, ждущих зачатия. Никто не заплатит Баграт-Оглы ста пиастров за любовь его быка. Он нищ—Баграт-Оглы. Он рыдает у края дороги.

Безмолвие гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях.

— Путник,—воскликнул тогда мальчик с лицом, розовым, как заря,—ты извиваешься, и пена клокочет в углах твоих губ. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог.

— Баграт-Оглы,—ответил я изнемогая,—в глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших Мемед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодно, увидел я в зрачках изувеченного быка и мою зрелость, пробивавшуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о, Баграт-Оглы, и их плоские пески не оставляют мне надежды. Ненависть всего мира вползает в отверстые

глазницы твоего быка. Беги же от злобы соседей наших Мамед-ханов, о, Баграт-Оглы, и пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом...

И, огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысяча лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты фелюг. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали предо мной. Молодой горец встретился мне у поворота в город. На вытянутой руке его сидел кобчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами. И внезапный покой сошел в мою душу скитальца.

У батьки нашего Махно.

Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом на утро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз. Я застал ее в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле может налить еврейку такими коровьими соками. Ноги девушки жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней ее девственности остались только щеки, воспламененные более обыкновенного, и глаза, устремленные книзу.

Кроме прислуги, в кухне сидел еще казаченок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую минуту.

Не раз случалось мне заставать его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал по голому мальчишескому пузу, неистово пел и корчил победоносные гримасы, от которых сам же и помирал со смеху.

Сегодня я снова застал его за особенной работой: он наклеивал на германскую каску полосы золоченой бумаги.

— Ты скольких вчера отпустила, Рухля?—сказал он и, сощурив глаза, осмотрел свою разукрашенную каску.

Девушка молчала.

— Ты шестерых отпустила,—продолжал мальчик,—а есть которые бабы до двадцати человек могут отпустить.

— Принеси воды,—сказала девушка.

Кикин принес со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошел потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел свое отражение. Потом вид зеркала увлек его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется под давлением изнутри форма его носа.

— Я из штаба уйду,—обернулся он к еврейке,—ты никому не сказывай, Рухля. Стеценко в эскадрон меня берет. Там по крайности обмундирование, в чести будешь, и товарищей найду бойцовских, не то, что здесь, барахольная команда... Вчера, как тебя поймали, а я за голову держал, я Матвей Васильичу говорю: что же, говорю, Матвей Васильич, вот уже четвертый переменяется, а я все держу, да держу. Вы уже второй раз, Матвей Васильич, сходили, а когда я есть малолетний мальчик и не вашей компании, так меня каждый может обижать... Ты, Рухля, сама небось слыхала евонные эти слова, мы,— говорит,—Кикин, никак тебя не обидим, вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь... Так вот они меня и допустили, как же... Это когда они тебя уже в лесок тащили, Матвей Васильич мне и говорит: сходи, Кикин, ежели желаешь. Нет,—говорю,—Матвей Васильич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться...

Кикин сердито засопел и умолк. Он лег на пол и уставился в даль,—босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос.

— Вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство,— произнес он угрюмо,—а мало-мало соли с ними поешь, так вот они— видно, что каждый камень за пазухой держит...

Еврейка подняла от лохани свое налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после долгого перехода ставит на землю затекшие ноги.

Оставшись один, мальчик обвел кухню скучающим взглядом, вздохнул, уперся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.

Гедали.

(Из книги „Конармия".)

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечей и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили—евреи с бородами пророков, с страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет—робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в этот день твоя величественная ласковая тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой—1810 и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали похаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера—маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, внимательно слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка, как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговица, и мертвая бабочка, и маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивая над своею коробочкой пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

И вот—мы сидим на боченках из-под пива.—Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там вверху и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция—скажем ей да, но разве субботе мы скажем нет?— так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз.

— Да, кричу я революции,—да, кричу я ей, но она прячется от меня и высылает вперед одну только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце,—отвечаю я старику,— но мы распорем закрывшиеся глаза, Гедали, мы распорем их...

— Поляк закрыл мне глаза,—шепчет старик чуть слышно,— поляк, злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, ах, пес. И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне: отдай на учет твой граммофон, Гедали.—Я люблю музыку, пани,—отвечаю я революции. Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я—стрелять в тебя буду, и тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, Гедали, потому что я—революция...

— Она не может не стрелять, Гедали,—говорю я старику, перебивая его,—потому что она революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он контрреволюция; вы стреляете потому, что вы—революция. А революция, это уже удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция—это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет

Гедали, где революция, где контр-революция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и песни Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди; мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль млечного пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу.

— Пане товарищ, — сказал он вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове,—привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал—мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие... Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом,—ответил я старику,—и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету,—отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку,—нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

И он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре, и с большим молитвенником подмышкой. Заходит суббота. Гедали—основатель несбыточного Интернационала — шел в синагогу молиться.

Житомир, июнь 1920 г.

А. Н. Шмит.

М. Горький.

На Большой Покровке, парадной улице Нижнего-Новгорода, темным комом, мышиным бегом катится Анна Николаевна Шмит, репортерша „Нижегородского Листка". Извозчики говорят друг другу:

— Шмитиха бежит скандалы искать.

И ласково предлагают:

— Мамаша,—подвезти за гривенничек?

Она торгуется, почему-то дает семь копеек. Везут ее и за семь,— извозчики и вообще все „простые" люди считают Анну Шмит „полоумной", блаженной, называют „мамашей", хотя она, кажется, „дева", они любят услужить ей даже—иногда—в ущерб своим интересам.

С утра, целый день Анна Шмит бегает по различным городским учреждениям, собирая „хронику", надоедает расспросами „деятелям" города, а они отмахиваются от нее, как от пчелы или осы. Это порою заставляет ее употреблять приемы, которые она именует „американскими": однажды она уговорила сторожа запереть ее в шкаф и, сидя там, записала беседу земцев-консерваторов,—подвиг бескорыстный, ибо сведения, добытые ею, не могли быть напечатаны по условиям цензуры.

Глядя на нее, трудно было поверить, что этот кроткий, благовоспитанный человек способен на такие смешные подвиги соглядатайства.

Она—маленькая, мягкая, тихая, на ее лице, сильно измятом старостью, светло и ласково улыбаются сапфировые глазки, забавно вздрагивает остренький птичий нос. Руки у нее темные, точно утиные лапы, в тонких пальцах всегда нервно шевелится небольшой карандаш,— шестой палец. Она—зябкая, зимою надевает три и четыре шерстяных юбки, кутается в две шали, это придает ее фигурке шарообразную форму кочана капусты.

Прибежав в редакцию, она где-нибудь в уголке спускает две-три юбки, показывая до колен ноги в толстых чулках крестьянской шерсти, сбрасывает шали и, пригладив волосы, садится за длинный стол, среди большой комнаты, усеянной рваной бумагой и старыми газетами, пропитанной жирным запахом типографской краски.

Долго и молча пишет четким, мелким почерком и вдруг, точно ее невидимо толкнули, вздрогнув, быстрым движением вскидывает голову, оглядывается, как будто впервые и случайно нашла себя в этой комнате. Ее глаза строго синеют, мятое лицо резко изменяется, на нем выступают скулы, видимо она крепко сжала зубы. Так, оглядывая всех и все потемневшим взглядом, она сидит недвижимо минуту, две. Казалось, что в эти минуты Анна Шмит преодолевает припадок острого презрения ко всему, что шумело и суетилось вокруг нее, а один из сотрудников А. А. Яровицкий шептал мне:

— Анюту захлестнула волна инобытия...

Многочисленные юбки Анны Шмит сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки простираны до дыр и не искусно заштопаны. Ее мать, больная старуха лет восьмидесяти, могла питаться только куриным бульоном, для нее необходимо было покупать ежедневно курицу, это стоило шестьдесят, восемьдесят копеек, т.-е.—тридцать, сорок строк, а печатала Шмит, в среднем, не более шестидесяти строк.

Говоря о матери, она становилась похожа на девочку-подростка, которая любит мать и считает ее высшим авторитетом во всех вопросах жизни. Было странно и трогательно слышать из уст старухи мягкое, детское слово—мама.

Мне говорили, что эта мама старчески эгоистична и раздражительна; если курица оказывалась жестка или надоедала ей, старуха топала ногами на дочь и бросала в нее ложками, вилками, хлебом. Ко мне Анна Шмит относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов,—они почти всегда касались интимных сторон жизни. Обычно же она говорила мало и почти всегда о „делах" города, газеты. В бесцветных речах ее я не мог уловить ни одного оригинального, меткого слова, которое навсегда всосалось бы в память, а я был очень лаком до таких слов,—они, точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем причастят тебя духу человека.

Убогость внешнего облика Анны Шмит безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции относиться к ней так же, как относились извозчики,—считать ее „блаженной", недоумком.

Тем более сокрушительно изумлен был я, когда священник Ф., галантливый организатор публичных прений с бесчисленными сектантами Нижегородского края, сказал мне, неприязненно наморщив свой нос:

— Хитрейшая старушонка эта ваша Шмит! Весьма искусный ловец человеков. Вредное существо.

Не веря искренности изумления моего, иронически ухмыляясь он говорил в ответ на мои вопросы:

— Будто не осведомлены? Трудновато допустить сие при наличии хорошо известного мне любопытства вашего в отношении к людям...

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью, его аскетически костлявое христоподобное лицо было обтянуто темной кожей, глаза лихорадочно сверкали, он часто облизывал губы бурым языком и нервозно ломал длинные пальцы, так что они трещали. В спорах с „еретиками" он был ехиден, ловко пользовался искусством эристики и умел раздражать противников так, что они оплошностями своими всегда облегчали ему словесные победы. Мне очень нравилось наблюдать его фокусы, но казалось, что этот человек с лицом великомученика не любит ни Бога, ни веры, ни людей, жизнь опротивела ему, он ходит на прения, как ходил бы в трактир играть на биллиарде,— он напоминал мне актера, который читает роль правоверного еврея в пьесе „Уриель Акоста". Похрустывая пальцами, он выспрашивал меня:

— И того, якобы, не знаете, что эта Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым, коего справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической?

Я сказал:

— Это так же неожиданно для меня, как если бы вы, отец Александр, оказались вдруг не священником, а пожарным.

К вящшему изумлению моему священник расхохотался и, сквозь смех, стал уличать меня:

— Вот вы и проговорились! Ох, плохой дипломат вы! Значит— с учеником ее, пожарным Симаковым—знакомы?

После настоятельных и даже сердитых заявлений моих, что я не знаю пожарного, священник, не скрывая недоверия своего, лениво рассказал мне, что Анна Шмит организовала религиозный кружок, способный развиться в секту, в кружке этом—извозчики, мастеровые, какой-то тюремный надзиратель и пожарный.

— Народ наш любит словесность и привержен к сказкам. Пожарный этот беспоповцем был, а ныне Шмитихин пламенный адепт. Но, по природе своей, дурак, он есть самый болтливый из прозелитов новой секты и, ежели вы желаете ознакомиться, как ерундословие старухи этой укладывается в мозгах простецов, вы с ним познакомьтесь. Он бывает на прениях у меня, рычит нелепо...

Лука Симаков, рядовой гренадерского полка, большой, грузный человек с черными, щеткой, усами и синим, гладко обритым черепом. Щеки у него тоже синие, а толстая нижняя губа цвета сырой говядины. Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к виску, особенно далеко в те минуты, когда Лука волнуется и жесткой ладонью, размером с небольшую лопату, крепко трет череп свой, трет так, что слышен треск волос. А правый глаз его, большой, выпуклый, почти неподвижен, тускл и, окруженный очень длинными ресницами, напоминает какое-то насекомое.

В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня:

— По-твоему—как надо Христа понимать?

Луку не надо было выспрашивать, слова лились из его рта, как ручей из трещины в камне. Он говорил с тем буйным напором верующего, который исключает возможность возражений.

— Христос—это лёгость!

„Лёгостью" зовется тонкая веревка, с грузом на конце; ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней.

— Не то-о!—с досадой сказал Лука.—Лёгость—легкость, понял? Христос—легкость, с ним жить легко. Насчет чалки—это подходящее,—причаливай через Христа к истинной вере. Только ты пойми!—Христос—не естество и не существо, он просто одно слово...

— Логос?

Симаков удивленно вскричал:

— Во-от!

И еще подвинулся ко мне, спрашивая:

— Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? Какова старушка-то?—уже шопотом продолжал он.—Ведь—так себе, вроде нищей. Мы—наряжаемся, хвастаем, а она—святость, неприметна. И в мухе сокрыта премудрость...

— А слово это ты никому не говори,—предупредил он меня.—Особенно, чтоб попы не слыхали,—попам оно яд. Ежели они услышат это слово—тебе будет плохо!

Потом он сообщил мне, как великую тайну, что Христос—жив, живет в Москве на Арбате.

— Это все выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся, нет,—он на земле, около людей. Слово—не убьешь! Ну-ко, убей-ко—да? Вот я тебе говорю слово—да, а ты его убей! Понял?

Часа два слушал я темные речи пожарного; уходя, он покровительственно обещал:

— Ты погоди, я тебя сведу с самой мамашей! Она тебя обучит.

О моем знакомстве с пожарным Шмит узнала раньше, чем я успел сказать ей. Беспокойно постукивая карандашиком по ногтям, она спрашивала:

— Что говорил вам этот простец Божий?

Узнав, что Лука рассказал мне о Христе, живущем в Москве, на Арбате, она еще более тревожно стала шаркать карандашом по ногтям, говоря:

— Он—не совсем разумен, он несколько раз сильно угорал на пожарах, это очень отразилось на нем.

Глаза ее потемнели и что-то суровое светилось в них, она плотно сжала губы, и маленькое личико ее огорченно сморщилось.

— Если вы серьезно интересуетесь этими вопросами,—можно поговорить, я свободна в Троицын день...

И тотчас же спросила, усмехаясь:

— Но—ведь, вы из любопытства, от скуки? Да?

Я сказал, что мне жить—не скучно и что желание знать, как думают люди, я бы не назвал простым любопытством.

— Конечно—нет, конечно!—тихонько воскликнула Шмит, и вдруг вполголоса, складно, языком привычного оратора, быстро крутя карандаш темными пальцами мумии, она заговорила о том, как люди далеки друг другу, как мало у них желания и умения проникнуть в сокровенное души ближнего.

— В мутном потоке жизни мы плаваем, немы, как рыбы. „Мир мирови твоему даруй", молимся мы, но ведь мир—гармония душ, их всеобщая связь, а—как связаться с немой, непостижимой?

Ее позвали в контору и, уходя, она ласково попросила:

— А над Лукою вы не смейтесь, это—безумец Христов, такими строится истинная вера.

В Троицын день, вечером, она пришла ко мне, одетая празднично в коричневой юбке с заплатой на подоле,—кусок юбки был, очевидно, вырван гвоздем или зубами собаки; синюю сарпинковую кофточку украшал на груди голубой бант, а на ногах блестели новые калоши, хотя погода стояла сухая и жаркая. Оказалось, что Шмит отдала ботинки чинить, но сапожник не успел сделать это, и вот она гуляет в калошах.

Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками,—я узнал, что это любимое лакомство Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая, забавная репортерша провинциальной газеты, Анна Шмит—воплощение одной из жен-Мироносиц, кажется—Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, Вечной Премудрости. На расстоянии от Марии Магдалины до Анны Шмит Вечная Премудрость воплощалась, разумеется, не однажды, одним из ее воплощений была Екатерина Сиенская, другим—Елизавета Тюрингенская, был и еще ряд воплощений, уже не помню имен их.

В начале речи Анны Шмит мне было несколько неловко слушать ее,—все, что говорила она, никак не объединялось с ежедневной курицей, резиновыми калошами и всем прочим во внешнем облике воплощения Вечной Премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами; смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах.

Но—предо мною сидел незнакомый мне человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе; голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширились и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно все

будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины. Об Анне Шмит напоминал только карандашик, неустанно и все быстрей вертевшийся в ее сухоньких, темных пальцах мумии. Она как будто немного охмелела, рисуя карандашом в воздухе капризный узор путей мысли, она подскакивала на стуле и, улыбаясь, с радостью говорила:

— Вы представьте себе безысходный ужас Дьявола...

На подбородке Анны Шмит блестела рубиновая капелька варенья.

Подняв правую руку над головою, она сказала:

— И Христос—жив есть!

Я узнал, что Христос это—Владимир Соловьев, он же—Логос; Христос непрерывно воплощается в того или иного человека и вечно среди людей. Но воплощения Софии не подвергаются воздействию разрушительных влияний суетного мира сего с той легкостью, как воплощения Логоса, особенно враждебные Дьяволу.

— Чистая духовность Логоса не претерпевает искажения, но человек, воплощающий в себе Логос, нередко затемняет ее черной мудростью Сатаны.

Она вынула из кармана юбки кожаный пакетик, а из него осторожно достала несколько писем:

— Это письма Соловьева,—вот, послушайте, как трудно ему...

Многозначительно подчеркивая отдельные слова, она прочитала несколько отрывков; я ничего не понял в них, но в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого, сказанные им на поле какой-то битвы солдатам своим, которые побежали от врага:

— „Подлецы! Разве вы хотите жить вечно?“

Слова это напомнили мне четверостишие Соловьева:

В лесу—болото,
В болоте—мох;
Родился кто-то,
Потом—издох.

Вспомнил я и эпитафию его:

Под камнем сим лежит
  Владимир Соловьев,
Сначала был пиит,
  А после—философ.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

Я спросил Шмит: что думает она об этих шутках?

Она откинулась на спинку стула, ее острый носик покраснел, зрачки стали совершенно синими и в голосе ее мне послышался гнев;

— Кто сказал вам, что это его, что это им написано? Нет, нет, это клевета! Это шутки его товарищей...

Но вскоре серенькая старушка, похожая на самку воробья, говорила о человеке шумной славы, о философе, искуснейшем диалектике и талантливом поэте тоном матери, встревоженной поведением сына.

— Вы знаете, — даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.

Эти слова она сказала как бы утешая кого-то и так вопросительно, почти умоляюще посмотрела на меня, что я счел нужным откликнуться ей:

— О, да...

— Он слишком тяготеет к людям, потому что добр. Но человек только тогда силен против соблазнов, когда умеет во всех окружениях оставаться самим собою. Христос тяготел к людям после того, как укрепил дух свой в пустыне, а Соловьев идет к ним преждевременно.

Она именовала Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, величайшим сыном века и — ребенком, который, плутая в темной чаще греха, порою забывает невесту, сестру и матерь свою—Софию, Предвечную Мудрость.

— Понимаете? Невесту и мать...

Иногда мне казалось, что в словах Анны Шмит слышу я обиду влюбленной женщины, даже сентиментальность старой девы, но это мелькало в ее речах бледненькими искрами, тотчас же заменяясь покровительным отношением к Соловьеву, как человеку, которым надо руководить на путях жизни.

Понизив голос, она рассказывала как тайну:

— Его соблазняют люди, но еще более настойчиво—черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел...

О чертях она говорила так же просто, как говорят о реальном: тараканах, комарах.

— И еще—слава; слава делает человека актером,—памятно сказала она.—Если на человека пристально смотрят, он начинает прятаться в различных выдумках, он хочет быть таким, как приятнее людям. Вы знаете это?

Я, к сожалению, это знал. И все с бо́льшим трудом верил ушам и глазам своим, наблюдая, какие верные мысли горят в душе этого незаметного человечка. Она снова заговорила о пустыне, о великом значении самосозерцания и одиночества и говорила на эту тему так много, что, помню, у меня скользнула мысль: не слишком ли одинок этот человек и не потому ли он так откровенен со мною? Как маленькая птица, отбившись от стаи, она летит над морем к далекому в ночи

огню, к маяку, на невидимый и неведомый берег. Этот маяк—Владимир Соловьев и это все, чем освещена и осмыслена ее тихая, одинокая жизнь среди здравомыслящих людей.

— Разве Христос не испытал человеческого страха перед судьбою?—вдруг спросила она и тотчас, закрыв глаза, стала читать нараспев, как псалом, чьи-то стихи:

Душа во плоть с небес сошла,
Но ей земная жизнь мила,
Душа срастается с землею
И, как усталая пчела,
Пьет сладкий яд земного зла.

Стихи были длинные, Анна Шмит читала их тихо, для себя, и только две последние строки выговорила громко, с торжественной угрозой, открыв влажные глаза и высоко взмахнув карандашем.

И вечности колокола
Души умершей не разбудят.

Поздно за полночь я пошел провожать ее. По улицам шмыгал ветер, вздымая пыль, шелестя березками; березки были привязаны к тумбам, а некоторые уже валялись на земле. Бродили пьяные, где-то неистово закричала женщина, из подворотни выскочил черный котенок· Шмит брезгливо оттолкнула его ногою:

— Точно чортик.

К нам привязался пьяный почтальон, бестолково рассказывая о какой-то обиде, нанесенной ему, он стучал кулаком в грудь свою и спрашивал, всхлипывая:

— Разве я ему—враг?

— Идемте скорее, — сказала Шмит и быстро шагая тоже пожаловалась:—Разве это—праздник? Разве так надо праздновать?

После этого, встречая в редакции Анну Шмит, я стал ощущать непобедимую неловкость; я не мог относиться к ней, как относился раньше, не мог говорить о пустяках лениво текущих будней. Она же, видимо, иначе истолковав мою сдержанность, стала говорить со мною сухо и неохотно. Ее сапфировые глаза смотрели мимо меня на карту России, засиженную мухами так, как будто на всю русскую землю выпал черный град.

Мне очень хотелось познакомиться с учениками Шмит, но она сказала:

— Едва ли это интересно для вас,— простые люди, очень простые...

А Лука Симаков, потирая череп, тревожно двигая косым глазом, сообщил мне:

— Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой.

Но минуты через две, прижимая меня, тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал:

— Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции „Петушки". Скоро все будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят в трое суток! Каюк попам! Истребление!

В нелепых словах Луки чуялось слепое озлобление сектанта и страх пред чем-то, чего он не мог выразить; неизбывный, темный страх этот сверкал в его левом глазу, все время забегавшем к виску. Из двух-трех бесед с ним я вынес впечатление почти жуткое: Христос чудился пожарному мстительным и мрачным существом,—оно враждебно присматривается к жизни людей откуда-то из темного угла и ждет минуты, чтоб выпрыгнуть оттуда.

— Церквы разрушить хочет,—шептал мне пожарный.— Он с того начал,—помнишь, в Ерусалиме? Во-от...

Все-таки он познакомил меня с одной ученицей Анны Шмит, портнихой-одиночкой, Палашей, девицей лет тридцати. Коротконогая, сутулая, без шеи, с плоским лицом и остренькими стеклянными глазками, она была фальшиво мягка на словах и, видимо, очень недоверчива к людям. Жила она в глухом переулке над оврагом, в ее двух комнатах неустанно гудели черные, большие мухи, звонко стукаясь в тусклые стекла окон. На подоконнике недвижимо сидел жирный кот, очень редкий — трех шерстей: рыжей, белой и черной; меня очень удивило отношение кота к мухам: они садились на голову его, ползали по спине, — кот неподвижно смотрел в окно и ни разу не встряхнул шерстью, чтоб согнать мух.

Нараспев, словами, неестественно и как бы нарочно искаженными, Палаша говорила, ловко пришивая пуговицы к пестрой батистовой кофточке:

— Жисть нашая, миленький мой господин, совсем безбожная и настолько грешная, что даже — ужасть! А Христос невидимо коло ходит, печалуется, сокрушается: ох, вы людие бесчастное! И на что разделил я душеньку свою промеж вас? На поругание, на глумление...

Потом она читала стихи из апокрифа „Сон Богородицы", а кончив неприятное унылое чтение, объявила мне:

— Истинное имячко Богоматери не Мария, а Енохия, родом же она от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.

Когда я спросил ее: знает ли она Анну Николаевну Шмит, Палаша, наклонив голову, перекусывая нитку, ответила вопросом:

— Шмит? Не русская, значит.

— Но ведь вы знаете ее!

— А — кому это известно? — спросила Палаша, почесывая мизинцем свой широкий нос и озабоченно разглядывая кофточку.

— Ежели это вам Симаков сказал, — вы ему веры ни в чем не давайте, он человек испорченный, вроде безумного.

Симаков говорил мне о Палаше:

— Это, брат, девица мудрая, она вроде крыла мамаше служит, она да еще один человек высоко возносят ее над людьми...

Я не сумел понять, как и что восприняла портниха от Анны Шмит; чем настойчивее расспрашивал я об этом, тем более многословно, и фальшиво Палаша говорила о Симакове, о кознях Дьявола.

— Бросает нас злой дух, как мальчишка камни с горы, катимся мы, вертимся, бьем друг друга и не видать нам спасенья...

Приглаживая ладонями рыжеватые волосы и без того гладко, туго наклеенные на череп, Палаша смотрела стеклянными глазками на меня, и взгляд ее говорил:

— Ничего ты у меня не выпытаешь!

Заходил я к ней еще раза два, она принимала меня ласково, охотно и даже сладострастно рассказывала мне жития великомучениц, я слушал и смотрел на кота.

— И секли ее злодеи-римляне по белому телу, по атласным грудям каленым прутьем железным, и лилась, кипела ее кровушка,— выпевала Палаша.

Мухи гудели. Кот равнодушен, неподвижен, в комнате пахнет кислой помадой...

Вскоре, заболев, я уехал в Крым и с той поры не встречал больше Анну Шмит, Нижегородское воплощение Софии Премудрости.

Виринея.

Л. Сейфуллина.

Повесть.

I.

На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:

— Что-й-то ты, Савелий? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Животом заскучал, что ли?.. Аль еще как занедужил? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под лохматых бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину—мученичьего ли, али преподобинского—не знаю, угодник мне явился... Стоит вот тут, будто, у стола и кличет сердито: Савелий Егоров Магара! Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос—ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал снутра, и по коже прямо пупырями дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилие этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.

— А-а-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може-то не угодник, а Стрепишихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: „Да воскреснет бог, и расточатся“...

Савелий цыкнул сердито:

— Не верещи поганым бабьим языком! Тише ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, Богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод внутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:

— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшко! Свят, свят!..

— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.

Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Кругил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая, да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано! Молитву строгую и пост должен справлять, в грех меня не вводи с расспросами.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось, не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.

В нижней Акгыровке сперва дивились, а потом почитать Магару стали. Главное дело, и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон, во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река

мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил:

— Молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.

Так и ходила нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:

— Небо трясется! Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинской, сидит на престоле, ногами о пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.

И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.

Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползалась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки по дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:

— Ай-да скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ в низине и на горе у кержаков. К старостиной избе, в нижней Акгырке, фонарей нанесли. Колыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы непривычные в летние ночи в избах. Светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.

Кержаки на горе к конторе, где жил инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:

— Германия получит достойное возмездие! Оч-чень скоро получит!

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла,—учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.

Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нàрочного кривоглазого расспрашивала:

— А с кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца толконул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Ни то к полдням, и к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подводах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летню пору, в рабочую!

— Где поспеть! В волость-то тольки-только могут к завтрему, к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!

— И с роду не видано, не слыхано: без проводин перед царской службой, без разгулки.

И завыла горьким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего—дите малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...

Страстное, короткое рыдание прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстывает. Айда-те, пеките чего там затеяли!

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай выпивку. Там сколь-то было? На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тоже не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.

Солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканной рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной

волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот бадожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:

— Поди, не на долго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с этакой спешкой не сбирали. Это так, поди, для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся!

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— На долго война! Народу хресьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.

II.

И опять по слову по Магариному вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах бабы, старики, из молодых только телом неправильные, да чужаки нанятые. Которые из богатых откупались-было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как никак старается. И не то, что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались, да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые, да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут, аль пленные, астрийцы эти хилявые. А нашинских соксликов нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялси? Ай так, на раз взялси за дело?

Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:

— На раз. С бумагой какой-то в участок пошел.

В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. Не охота покор людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин.

Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди, из-за моего из-за сына потревожились? Ах, ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в эдаку грязищу ходить и мужику-то не охота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот, вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет! Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:

— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ни, ни нишеньки, никак не проспал. И не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам, поди, обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой, глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой, неяркой краски, губы такие же неяркие, будто не целованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должен прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу нето пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айда-те, заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же... Дочь ваша, что ль?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба.

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невенчанная. Так дёржим. Антипа кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому, на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две как сюда обернули. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь может и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. От роду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что, поди, и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то ни то бежит, лётом летит.

И спохватилась:

— Айда-те, проходите, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесную низенькую избенку обвела. Прибрана, а все для господина неподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная с засаленным лоскутным одеялом кровать. Неужели та строгобровая на ней спит?.. И не одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Криво, неласково усмехнулась:

— Скамейку не просидите, поди. А нам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно к окну и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:

— Вы не здешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.

— По-кержацки зовут: Виринéя. У нас свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше и разговору у ей больше. А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой, усмешкой добавила:

— Я принесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действительно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы, или кто... Пожалуйста, уж принесите, или пришлите.

Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза волненье и обиду выдавали. Слово „муж" с запинкой выговорил. Виринéя учуяла. Бросила косой взгляд на старуху, потом сухо инженеру сказала:

— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщинку, — знамо, заплотите. Эй, погодите-ка!

В окно Василия увидела.

— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что принес.

К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:

— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде...

Инженер торопливо бумажник вынул, но Вирка ушла из избы. Старухе сунул пятнадцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.

Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-у-пился.

Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что̀ за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринéи с улыбкой принял:

— Ну, ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем, немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!

Виринéя бровью повела:

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?

Покачала головой:

— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань, да подай. А то замается ровно от заправдишной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Дадены деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала, за господскую за доброту.

— Страсть добёр! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Инженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро из избы вышел. Подумал про Виринéю:

— Видавшая виды... Корыстная...

Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным, и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. На войну возьмут. Любовные безрассудства за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Лишь теперь в эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринéей, мечту о женщине своей и неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали. В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот, и люди,—все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого, в молодом и здоровом, не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело, страсти. Той, что̀ творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринéи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринéиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринéю. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.

Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка, поди, по вёшним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совесливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку—совсем убегу.

— Ых, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама чисто сучка под ворота подбегла. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...

Виринéя смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материнском как веред живет. Никому, и себе самой, не дозволяла тронуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел, простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки, да цепочки от часов позолоченной ничего не нажил,—не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Василием путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей по деревне рассказала:

— Мокеиха-то повитуха сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!

Да уж в такой в срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на их семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:

— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринéю, — ненависть варом обдала сердце. Неправильная баба! Сразу видно, что гулена. Здорова, а спокойной полноты бабьей расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и не смякшим лицом.

Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом опять завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и по-сейчас порожняя.

Виринéя прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куды ты, Вирка? Что тебя спокой не бере-ет! Спи!

В кашле скрючился.

А она неожиданно звонко для обычно затаенного голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать не охота!

Васька кашлем, будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка!

И смолк. Виринéя с большой тоской и страстью говорила, быстро нанизывая слова:

— Ты, баушка, несладкое-то бабье пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче куриного носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла. Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, не для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу неохотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем? На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!

Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не кричи только, нехорошо. А ты, мать, не вереди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла

ıна... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну на лавку ляг! Все переоворено, перетерпи.

Кроткий молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Эн еще перед эдакой, перед охальницей пригибается! В смешной ı жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Ірибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь. Чего же глядела ıаньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ы слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, а грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.

Подступала старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, ıидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринéя не видела, но руку е поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом спокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила вое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи ейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку ıе дозволю!

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи, гнилой!.. „Пальцем тронуть не дам"! Самого-то пальем покрепче двинь, дак и дух вон. Опостылел ты мне, будет. Кончиось терпенье мое. Как сама, по своей по воле прибегла, да крепко лово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. ежи и дохни. Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!

— Виринéя!

— Што Виринéя? Двадцатый год Виринéя! Упомнила кличку-то вою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не выаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! ıт пригожих, да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за репкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как ена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай! я здоровая, — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу. Пускай ать свое роженое выхаживает. А мне уж больше не охота. Часу веэлого нету для молодости для моёй. Уйду! Пропадать мне што ль этой избе со старухой, да с гнилым мужиком! Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явиись, быстро за ней.

— Вира... Виринéюшка!

Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж метой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула уками:

— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном асе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду я. Ну-у?

Вернулась в избу. На лавке у стола, было, улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринéя поднялась. Сказала Василию раздельно строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь. А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое—убегу! Только ты меня и видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставая, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила, так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринéю забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.

Виринéя во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вёшних вод в степных логах—слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных ночных странных звуков, избы, как тени, неясны и молчаливы. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый хлюпкий по грязи топот молодых парней. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых день на день, как близнец схожих, натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостной. Не было той радости с Васькой! Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть не охота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала, на другое, значит, поворот вышел. Гуленой безгнездовой. Что ж? Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.

Повела строгими бровями, губы твердо сжала и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.

III.

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринéя глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:

„Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-анет еще канитель тянуть!“

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его обрызгивать начала. Выкликала бога и святых глухим шопотом:

— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый угодничек божий! Василий Хивейский, андел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу не доходчивые, оттого в бессильи косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринéя поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:

— Бог, бог... Давно, поди, он сдох. Сколь лет его просишь, карежишься, отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, из избы ушла. Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду окаянная.

— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!

А Виринéя простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам, и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне, послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподладливо. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спутилась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая, да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку

одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди, пустит под свою крышу хоть на два дня, а там—видно будет.

В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не побабьи, тишком сердитым или с воркотней возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на голос высокий:

Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-авадила со двора-а!..

Виринéя усмехнулась.

— Ну, и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала. Сколь раз звала, не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа откупное начальство платит, свекра со свекровушкой господь прибрал, чтоб не турчали, сноху молоду не мытарили. На дворе чужак нанятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не пить?

Смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, крепким телом налитая, ловко и весело поворачивалась. Вирка еще усмехнулась. Ясней и шире.

— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.

— Ну-у! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору, да по дому. А харчей, поди, на поденной добьешься.

— На железную дорогу, сказывают, баб берут.

— А ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла, аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Анисья тряхнула головой, пестрым платочком повязанной.

— В нонешни года развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то, чтобы с отвратом я к нему, аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди— гуляю без его. Придет—убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко и на нас светит. Ну-к подоткнись, да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Но наниматься на постройку Виринéя скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром, да с ребятами

управлялись. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время, поди, пост великий. Еще не кончился. Да и для посту он не скусный! Баба-то пробовала, да сбежала.

— А, ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок в прок солим, ай за старых вдовцов сбываем, — куды ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, похозяйствуй, поработай. Шерстью там, аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринéя поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.

Старуха закивала головой, руками взмахнула:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло—все одно найматься! Айда!

И Виринéя пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по темноте молить и просить Виринéю вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, из дверей звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? По-темну, с утайкой, а все люди видят, да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол. Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:

— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет—мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь. Ну-у?..

Ушел.

Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не глянула. Будто, ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то-и-дело мимо старухи ходила. Только когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:

— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.

Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:

— Ладаном покури, отшибет. А то и твой-от сын по-кобелячьи за мной все вяжется!

Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:

— Постой-ко! Слово сказать надо.

Виринéя приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:

— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Чернявый тот анжинер приходил, тебя спрашивал. Сказывал на стирку, на мытку, что ль. А видать, какое мытье ему нужно.

— Ну?

— Чего нукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги, аль так, задарма, по согласью?

Вирка усмехнулась:

— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя! Сын твой больно ненавистен мне стал, а из-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка.

И скрылась в сенях. У старухи сердце от злобы зашлось. Чуть из двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Господи, за что обида такая в седые остатные года?

Долго ночью плакала.

IV.

Об инженере том напрасно старуха напомнила. Не больно приглянулся, чтоб часто в голову лез. А все же где-то позади явных мыслей тайком думка о нем спряталась. Может быть, от того, что никому Вирка кроме Васьки постылого на ласковую душу не нужна...

Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Вирку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:

„Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься!“

Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, по-среднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря куски не разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Виринéя бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрительным взглядом и сказала:

— Вызволилась? Вот и хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас и отработала. Уйду.

И на другое утро опять к Анисье ушла. Анисья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, и взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили:

— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко ранетый, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.

Виринéя отозвалась сдержанно:

— А, може, прописали про тебя ему?..

— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...

— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над им...

— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди, тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченых? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там опять вместе заживем. А и убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего надругалась? Ну ты, тпру-у, стой. Чего брыкаешься? Стой, коровушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу. Пущай за Федора моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовничай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты на ее надеются. Хороша от смёртной от пули. Нашински солдаты под рубахой на сердце ту молитву в бой носют. Как у старосты старого Митрия-то убили, Терехин Васька с тела с его ту молитву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.

Виринéя вздохнула:

— Дурной народ — деревенски наши люди. Убили, дак чего же молитва-то, коль пользительная, не оборонила?

— Ты, Вирка, про богово дело не бреши. Как веру человек сменит, ни к чему становится! Из кержачек перешла, дак и клеплешь на наше православье. Не люблю таких слов. Тебя молиться не заставляю, а ты меня не замай.

— Чего ты ощерилась? Не стращай, я не пужлива. Не люби, а ведь сама говоришь: и с молитвой убили.

— Ну-к, што ж? Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду.

— А, сволочь ты, безбожница! Ну и целуйся с лешим! Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.

Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но без корысти Магара перед богом старался. Даянья у камня оставлял. Они исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской из беженок видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок, и пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Иди! Подомовничаю, некуда мне и уходить-то.

В сладостном томленьи расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобьи безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно-далеко журавлей, входили в человечье сердце радость и тоска.

Виринéя стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышину, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забирала в грудь хмельные запахи земли и ветра. Побледнело лицо, тосковали глаза, а нарушить ту хорошую легкую тоску и уйти не хотелось. Инженер к изгороди огородной подошел. Сильно вздрогнула, когда негромко окликнул:

— Виринéя...

И с промедленьем добавил:

— ...Авимовна...

Все эти недели мыслями о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, дурное в прошлом ее отобьет думу о ней.

Но только пуще распалился. Сегодня только узнал, где живет теперь она, и сегодня же сами ноги притащили к ней.

Виринéя от испуга быстро оправилась.

— Вот напугал, барин! Откуда вывернулся?

С лица еще тихость не сошла. Говорила не сердито, устало.

— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.

— Да я не знал, что вы перебрались от них.

— Ну, как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Василием как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Виринéя Авимовна...

— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите? Мне чуднó и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринéя. Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал.

„Не так... не так надо с ней говорить".

В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая..

Виринéя встретилась с ним глазами и чуть порозовела.

Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.

Виринéя засмеялась тихим грудным смехом. Покачала головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: милая. Она, глядя мимо его лица, тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать и гладить как надо господское белье, а по-долгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевше. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья, аль там кавалеры, около меня, вот как вы теперь, вьются, — сичас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерпячее, сама отфыркаюсь Вот и с места долой. Одна вот чудная больно.

Виринéя фыркнула.

— Так из себя хуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы каки-те писали и в эту, как ее? Тьфу, уж забыла городские слова... В редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, — про бедный народ .. Я брать брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Великатно, старательно. Маленько муторно с ими было, больно великатные. А ничего: пища, что сами едят и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да сё, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил, Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудеречки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая да конючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: Виринея, давайте обсудим. Ну, разное там говорила, мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь, рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она — нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я, да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидка потяжельше фырчанья!

Оба весело засмеялись. Виринéя со смехом закончила:

— Она меня, эта „обсудим“ -то и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.

— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...

— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где не жить, все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздники больше сплю.

— Книжки я вам могу прислать, если хотите, у меня интересные есть... И романы, и повести.

— Вот я раньше до рòманов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находила часочки. В летни праздники в степи пряталась.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Виринéя с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в их теперь и глядеть не хочу. Читала, читала, да вот с чахотным и спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В книжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а наши деревенские эдак не займаются. С девками словэми не канителят, а с бабой своей дак и вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут „красну-ушка, краснушенька“, аль лошадь с добавкой словом ласковым назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. И все одно — в богатстве ли, в бедности — везде к нашим бабам так то. Еще бедный-то лучше, из-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в книжках одно начитала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашинским. На улицу тайком часто бегала, охотливая в девках до веселья была, а от себя всех отваживала. Не милы. На тех, в книжках, не похожи. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской и с манерами с городскими. По-тихому, со словами ласковыми, обошел меня. И из себя чисто не деревенский, худенький, да ужимчивый. Вот и припаялась.

— А сейчас вы его не любите?

Виринéя встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я. Молчу много, а вот так накатит и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.

— Я, видите ли... Не знаете ли вы кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я за дешево не возьмусь.

И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та милая, с неуклюжей, но задушевной речью спряталась. Другая Виринéя точно. Рассчетливая деревенская баба. Нелепым для произносимых слов печальным голосом сказал:

— Ну, что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?

— Куды присылать? У вас, поди, кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник на страшной утречком приду. На этой у Анисьи отработаю. Мыло и подсинька-то у вас есть, ай купить?

Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась притти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане, за двором целый день одна будет. Возможно, что и для нее стирка предлог. Тянет к нему, только не хочет сказать открыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит или нет?

Видела, что лишку дает. Но сказала спокойно:

— Пожалуй, что и хватит.

Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.

V.

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы помощь. И в моленьи своем хорошо, было, утвердился Магара. Сердце отмякло, дых легче стал.

Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зятевом хозяйствованьи. Одну ночь сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру, стоя на коленях на камне, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела. Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого! Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не выстою. Хоосподи!

Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И, будто, на крик тот в мутном мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичек. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть—все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданьи. А старичек не прежним зыч ным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смёртного.

К похолодавшему в ночи камню, в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:

— Милостивец. Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из мене?

Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день, неожиданно, в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не похож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:

— Може в баньке попариться, тело занудилось. Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:

— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундуку. На дворе повесь.

И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А она говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, — какая в нем святость? Так

мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала. Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщевые порты и рубаху, Мокеиха пришла.

— Здравствуй-ко, Григорьевна. Помирать хочет?

— Не знаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице был. Открыто ему будет в какой день. Я и пришла, чтоб меня тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатной обряде дух земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.

Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михайла!

Зять голос узнал. Подивился:

— Ай, к нам перебираешься?

Но Магара, отмолившись в угол, сказал:

— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-от сготовил.

Зять поскреб голову и грудь. Спросил:

— А где помирать-то лягешь? Там у себя в землянке, ай на камне?

— Тут в избе. По-христианскому. На этом месте родился, на том же и помру.

Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:

— А ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил? Я маненько еще посплю? а? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.

— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.

Когда ушел, зять старуху окликнул:

— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить, аль нет?

— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом одим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, правда час помирать пришел. Потрудимся, проводим, ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?

— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди, не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть послободней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной разноцветной, веселой для глаза волной. На улице около избы, во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.

Солнышко, по вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба - хлест, игривая в молодых руках—будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.

Виринéя и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно хлипкие желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обструганные доски еще хранили свежий запах древесный.

На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщевых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черных старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.

Бубнил Егор:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.

Народ ходил, выходил, двигался, смеялся. Живое его движение тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:

— Ныне отпущаешь...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.

Магара снова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, по душу мою!

Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно-усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидел, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился страстней и живей:

— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...

Виринéя дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.

Та повела сердито плечом, но охотно за ней вышла. Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце далеко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге головой по подушке На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:

— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью, ай нет? Словно, как быть не на смерть, а по живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему нутру, скоро, аль долго еще?

Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывное чтение. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:

— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то не зялься. Думай об своем и дых крепче внутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!

Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:

— Живой-то дух, небось, не удёржишь! Не ротом, дак другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:

— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в страданьи перед богом не дадут.

Загнусил живей:

— ...Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся...

Но скоро опять к Магаре повернулся:

— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Что й-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.

Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез, да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.

— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.

— Рассердись, да помри, Магара! Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколгошила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:

— Васька-а! Он се не помират! Айда, еще в чушки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

— Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул. Что-й-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?

И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал.

Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? а? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам, ... мать, не помру!..

Изрыгнул крепко забористую матершину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто взбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответным забористым словом. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.

Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов ревел Магара:

— К чортовой матери! . . . . бога! . . . . богородицу!..

Сдернул со скамей холщевый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи. На дворе еще шумел народ:

— Чистò матерится, старый хрен!

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида. Лег бы тишком, да попробовал, помрет, ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для ради Христа. Лучше завтра придите нас срамить. Нынче не в себе он. Вам-то что, отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходи-ить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...

— Только, гляди, больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!

Как наш Магара, чортов зять,
Собирался помирать,
К вечеру отдумал
И зачал свою мать
Крепким словом поминать...

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-ю... Уходите, сволочи... Ну-у?

Втянув голову в плечи, готовый к яростному прыжку, взмахнул руками. Выставил в окно из-синя багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась.

На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью

меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно. С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:

— Дай мне другу-ую одежу... И... посто-ой! Вели Дашке само-ва-ар наставить.

Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабами?

— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли Боятся в избу...

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелий, как?—Оробела и чуть слышно закончила:— За село-о к себе не пойдешь?

Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:

— Ложись со мной.

И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои года, без слов, жесткой звериной лаской всю ночь ласкал и тревожил развяленное старостью женино тело.

А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем:

— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и стал среди избы большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе доживать буду! В блуде, пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе! Не допустил в великой праведности к ему притти, грешником великим явлюсь! На страшном суде не убоюсь, корить его буду!..

И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.

VI.

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. Езда по той дороге еще три года не то будет, не то нет.

Постройщики господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо сколоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставили. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фаддеев не зря теперь кряхтит:

— Станции, да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны, оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров,—все постройщики повыше десятников под одним названием инженеров в округе ходили,—так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.

На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по городскому приперченой, в новинку для мужика приманчивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу такую же приперченую позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга—вот на это и тянет. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строющих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Постройщики с усладой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обряду свою на городскую, короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Инженеры у докторов своих подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Не даром в виденье Магара подводы видал. Чудой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотный из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках, да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война крушит, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как и к войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.

И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те мысли ночные, тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Не хорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:

— Я этой стирки твоей как праздника ждал. Люблю, хочу тебя, Виринéя. Слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:

— Ну-у? . Не лезь!

И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!

И дверь в передбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели и весь разговор его с Виринéей слышали. Покраснел жгущим щеки румянцем. Сердито рявкнул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

И с ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку Виринée через хозяйку квартирную передал.

Но на пасхе, когда кружился во хмелю от кислушки, случайно на улице встретил Виринéю. Хотел мимо пройти, сама окликнула:

— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза,—будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.

— Виринéя... Вира-а!

— Ну, айда, айда, на молоду зелену травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..

Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненьи, говорила:

— Я нынче бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного,

от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходют, и сердце шибко бьет. Э-эх, ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь что?

— Виринéя... Вирка моя милая! Красавица! Право ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?

— Ну да, пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю! Зря брехать не люблю, а ты мне не муж, не отец, чего мне тебя стыдиться? Кровь во мне сёдня пьяная. Нет больше никого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.

— Милая!

Были уже за селом. Апрель дышал зеленой радостно молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого не душного неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.

— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать, величать тебя сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!

— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...

— Сядь, я на коленях у тебя полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают где сладость. Пусти-и!..

— Вира, Вира... Ну, почему? Виринéя... одну минуту... Ну-у? Зачем ты... Ведь, и тебе, тебе я не противен? Ну, дорогая моя, сладкая моя, м...милая...

— Не трожь, говорю!.. Осло-обони!.. Все одно... все одно... согласна я... Сёдни люб ты мне. Не-ет. Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть не в мочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. По-огоди, не це-елуй!..

И вдруг чужой третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:

— Вирка-а! Паскуда!

Сразу расцепились, поднялись. Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой на бок старенькой фуражкой на голове.

— С барином! Паскуда, б...., ты, скверпавка! Средь бела дня, как сука!

— Постой-ко, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчанная тебе, а гулёна. Отгуляла и ушла. Пошто вяжешься?—побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.

— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг...

— Помолчи, Иван Павлович!

И улыбнулась бледной короткой улыбкой.

— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ко домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...

— Сама поговорю, слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.

— Не об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!..

— Ну, коль сила, да охота будет и пришибешь. Уйди, барин. Гляди, не послушаешь в этом, я совсем по другому поверну. Как с Васькой.

— Я не могу тебя одну с ним оставить.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.

— Виринéя, но это же не нужно, ты сама не знаешь...

— Уйдешь, барин, или нет?

— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходи! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.

Пошел вперед, оглядываясь.

— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:

— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.

Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз опустился покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мной роженый. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.

— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блу-удишь с другими?

— Ишь ты как из-за меня маешься. Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, что в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.

— С барином в сладком житье баловаться захотела? А? С того с самого...

— Барин—этот так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого яхотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью роже-

ных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...

— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?..

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так в бабий час барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею, ну, а к телу подпущать тебя не охота. Не серчай, невольна я в этом деле.

— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя, с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело.

— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, что и совсем без него можно.

— Вирка, вернись к нам, в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну!

— Нет, не в мочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала, понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце на тебя полегчало. От лога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?

— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь сушиться? Я тебе покажу-у!..

— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не ссилишь Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему по-старому маяться будем.

Встала и пошла.

Взмолился:

— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная.

— Не канючь. Чего надо тебе—нету у меня для тебя. Жалости моей не примаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к себе быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом об земь ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.

Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпении вышагивал. Сказала ему сухо:

— Иди домой, Иван Павлович. Не охота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.

И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.

— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне.

— Пообещала в дурной нерассудливый час. Еще такой накатит, может, и приду. А, все-таки, не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал. Деревенская баба и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К чорту, к чорту ее!

Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка и с учительницей молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной тоскливой любовью к Вирке.

А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру, апрельская земля. Но встать трудно. На теле как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил густой хриплый пьяный голос:

— Это што ж за п...падаль валяется? А... живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.

— „Я... я"! Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым, узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.

Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське:

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую,—убью-ю! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..

Васька вернулся, с тоской сказал:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида. Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Серёдь бела дня проклажаются всем людям на показ. Э-эх?

— Взгомозился как? Чужой силой отбиваться охочи. Ну, и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Не охота мне тебя бить! Не охота... Тебя ногтем надо давить... Ну?! Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!

Василий бежал заплетающимися слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущенье тоски. Не думал о Виринée, ниском,

ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически груз какой-то на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.

„Заболел я, что ли? Или с ума схожу... А-ах дышать трудно..."

Объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому сгасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. В гостях не отпустило томительное ощущение. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.

Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла, но на ноги встал быстро и легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.

— Стой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом сам и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним. Будто внезапно родился из темноты.

— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить сюда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человечий голос инженер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.

— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?..

— Пусти... Пусти-и руку, пьяный чорт! Ну-у?!

Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал!

Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул и силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.

— Сильный... ч-чорт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце, что рука... н-на! Получи!.. У меня чижолые! А н-ну... р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.

— А, готов! Убил первенького... Еще убью-у! Не с того, что силой тот просил... Д-да...

Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, бросил с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.

VII.

В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительно тяжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество сиянья белых снегов и тишины, — деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармошки, песен, женских криков и вдохновенно яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.

Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставен, крючок у двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозрение высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклёпе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завинённым.

Акгыровцы про Магару и верили, и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли вопросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали, как беспаспортную, под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документ есть у

нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными и с рабочими грешит. Господ, на диво всем, не допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать стали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать, было, не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшиеся волосы и сказала:

— Ты начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при троих мужиках, да при уряднике. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дернул...

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, ты нуждаешься в работе.

— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст колесить не надо. Под боком найдутся, на слушок сами издаля спину свою притащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе не на работу, а на усладу...

— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так: будто сама с собой говорила в раздумьи:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу...

В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... Моим требованиям, кажется,

удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.

— Это уж как есть. Видала господ-то,—чую, что вам надо.

— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...

— А семейство ваше, сколько человек?

— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке сколь платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь—я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх, ты, лафа бабам! Ну, я погляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...

— То-есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх, вы, господа! И в пакости чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю! На век отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен! Не крича-ать! Эй, бабы, айда-те в эту горницу! Скорее айда-те, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, навоняешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.

Господин после рассказывал, как он от сумасшедшей спасался. С придыханием, сразу теряя важеватую манеру свою:

— Это удивительно! Положительно буйное сумасшествие! И притом эротомания... Удивительно—в простой среде такая изощренная... эротомания.

В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.

В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.

Пустыми, без окон еще глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а поодаль бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:

— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?

Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из платка остренькое лицо выставила и засмеялась:

— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.

Но Анисья зоркими глазами уже видала далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздинка меж бровей резко обозначалась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:

— А, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало? Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть, да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной. Видно, девка, не сладко тебе и тут. Что-й-то ты обряду-то себе хуть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.

— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе домотки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу—плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, чтоб не точила. Вот как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу в достатке и в своем угле. Без слезы, без хворобы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, наш брат не живет, ну-к што ж? Я хорошо живу.

— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе

много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь, как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак по крайности гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька так-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Что тебе обувка, что одежа,—завидки берут глядеть... А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошла, дак по крайности с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты что же со своим астрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь пою и плясать пляшу, и на гумно лежать с разными не хожу. Астриец, что ж? Грех мой один. А так, я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабенка, а шлюхой не назовет.

— Зовут. Я слышала, да ты и сама слыхала.

— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет,—еще бабушка на-двое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама что болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги да одежу да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем б...., а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет. Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.

— Еще не все выболтала. Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смёкну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?

Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Чорт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:

— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?

Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась, да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала — кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит, да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Вирка вздохнула и сказала устало в растяжку слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хоромы, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня налету слова:

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...

И другим живым своим голосом спросила:

— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..

Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки поменьше вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуть плечом, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про „Золотую зыбочку“ сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи...

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим хорошим голосом сказку сказывала:

— ... и скучно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком ую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В этот праздник Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.

VIII.

Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.

Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.

В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице зтревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять, поди, опять в сборню народ надо. Эх, ты, зачастили, прямо роздыху не дают.

И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!

— На схо-од, в школу-у...

— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..

Даже к Мокеихе вострoглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать? И старух зову-у.

— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Ниште опять наехал кто?

— А ну да... Чать про войну-у высказывать будет. Може, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки, да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльнику горячего, нужен ты мне с оповещеньем с твоим.

Но оделась и пошла. И все, с ворчаньем, будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринéя протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядываясь.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшего. Но ругань вялая выходила, без горячности. Привыкать стали уж к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются— и в такие деревни, как Актыровка, наезжали уж не раз.

Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хуть крутой, да не долгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы воспу ездиют ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Что ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать—опять отдельные начальники. Не вздохнешь, ни ... без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.

И, покачав головой, на батожек свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше не тревожливом, погрузился. Старые глаза тихо живут. Притушенные усталостью новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесками низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастый, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником, старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. И даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость „темную" (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак, и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье, для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным, отмечал обиду сердца своего. Но без этого нельзя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уж привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и началь-

ников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься. Что ж? Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает. Сербия, да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи, батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости кто убит, кто от раненья преставился, кто без вести, в храбрых несосчитанный, кончился, длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди, храбриться тоже надоело. Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил бы там за замиренье. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!

И как бы в ответ на стариковы думы, злой женский голос лектора прервал:

— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять ничем ничего?

Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:

— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал?.. Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:

— Бабенка-то энта глупàя в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток, али баба, а оно в час и нужным-то глупое слово выдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:

— Может, раздышку хуть какую объявят?

— У мене старшого Митьку-то убили, а сичас опять в письме— Васька шибко подстрелен. Чижало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как назвать-то не знаю, скажи-ко, голубь, и где хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшиблен-

ный у меня. На войне, то-есть, завалило его! Руками, ногами не владает.

Худая, желтолицая баба, с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:

— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмого полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Все, все розыски писала. И где теперь искать? А?

Загудели тревожным озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ... мир!

— ... на счет способья!..

— ... ерманский город, не сказать мне, как его...

— ... посылку в плен надписать...

— ... сухари Ваньке посылали, не получил...

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию на Митриев, Ивàнов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя,—война, армия, победы, отступленья. А у них—Ванькина смерть, Петрухины раны, и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны, и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроение! Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь тупо галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Чорт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стонет под тяжестью войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться.

В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:

— Эх, кабы цари один на один дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.

Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста? Надо успокоить сход...

Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:

— Потише, старики! Чего разбазлались? Диво бы одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налезает. Дайте господину про дело рассказ кончить.

Привычная сдавать перед властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом!

— А ну постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...

— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы—народ темный.

И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.

Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:

— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться, да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир, да скоро ль отвоюют? Когда будет конец—объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать, да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря галдеть совсем нехорошо.

И приободренный им лектор, уже в покорной тишине, закончил:

— Велики страданья наших солдат, но неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.

Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила, на ходу, беженкам из бараков:

— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут, да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось, сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.

Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом оглянуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с незлой насмешкой:

— А ты лежала в окопах? Почем знаешь,—может, там сладко лежать-то?

— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже не лежал. Рожа-то гладкая. Видно, в городу в каких-нибудь сапожных, аль в услужении спасался. Чего-то и харю-то твою противную впервой вижу. Видно, не из нашей деревни. Пошел своей дорогой! Чего в наш разговор влезаешь?

— Уж очень ты спесива, да задорлива! Да только без толку. Я на тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.

— А не он, дак пущай и не вередит. Чего ездиют, народ тревожат, над мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...

— Ты бы сама тогда царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти бабы-то, видать, не нашинские, а ты ровно здешняя, а не припомню тебя.

— Вот привязался! липучий чорт! Иди своей дорогой! да за мной, гляди, не вяжись! Я эдаких вальяжных не люблю. Другие солдаты на войне маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.

Солдат засмеялся и в переулок свернул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Беженки, понурясь, необычно молчаливо шли. Их своя забота долила. Скоро ли отправка на родину начнется?

Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузнецом акгыровским, плохой славы мужиком, плясала и обнималась. Он поглядел и ушел. А Вирке сразу скучно сделалось. Оттолкнула кузнеца:

— А, ну тебя, рыжий чорт! Надоел... Одно, лапает! Жена хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошень набить. Чего к другим бабам вяжешься?

Тот еще больше глаза выпучил:

— Да ты же, Вирка, сама с охотой!

— А была охота, да пропала. Много вас старателей под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, краснорожий! Другую игральщицу себе ищи.

Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы и лицо вытянулось.

— А я, было, за тобой на улку итти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть, ну замешкалась, подождала...

Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненый, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.

— В каком городу? Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили и ничем ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Спирька чуть дышит, сказывает. Отпустили домой,—все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилася! Може, только глаза закрыть и доведется мне.

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила тороплило и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! А корова одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой, айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.

— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать,

не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.

— Да то и я слыхала! Так, сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда.

— В чайную на участок прислуживать зовут...

— Ну, уж ты для ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь как сказать, и в горе, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!

— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.

— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело, корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.

Вирка усмехнулась.

— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.

— Да ты нынче айда со мной. С тем и шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегём, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда, собирайся скорей!

— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне... Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.

За два дома от своей избы, Анисья в чужой двор свернула.

— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.

Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы, да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:

„А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненый был. Шибко вальяжный“.

IX.

Неделя к концу доходила, Анисья из города все не возвращалась. Виринéя и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги и ныла спина. Но засыпала с горькой усладой:

хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парни около двора охальничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал, да с девками занимался, а мы с Силантьем кажный день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу, ловите на улице, а тут не срамите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.

Парни, отругиваясь длинными матерными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночь у избы Анисьиной пошумел, а на утро она в кузницу к нему пришла. При людях не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь, да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники, да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать! Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями иснахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так мужика. В большом и сильном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражилась только над слабыми, а от грозного напора сжималась. Сплюнул и сказал сумрачно:

— А на кой ты мне нужна!.. Без стыду сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помни.

— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был какой грех с тобой, дак я об этом и думать забыл. Н-ну, проваливай!

Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:

— Воротить ее, стерву!

— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!

— По старому обычаю, как с такими ране расправлялись. Избить до осташнего дыханью, заголить подол, да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей страмоте.

— Ну, и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы по всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.

С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.

— Стой-ко, спросить я тебя хочу.

Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:

— Ну? Чего надо?

В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.

— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?

— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить притти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.

— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.

— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год, аль боле? С ней управишься. Эдакая уж вполне хозяйствует.

— К тетке в город отправляю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.

— Ишь ты, тароватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.

— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори, не охота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко, я баба бывалая, знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. И ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять гуляю, когда захочу, а за кусок, аль за подарки на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну, чего еще? Говорю, не охота.

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:

— Зря ты, баба, все на зло себе делаешь. Где лучше—не надо, я, мол, возьму, да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много не охота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю тем, что и себе поесть добуду. Насчет приставанья, ночного дела, не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как, чать, не распалиться? Но только говорю тебе, не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.

— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.

— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь, уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:

— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.

— А с того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу, да думаю, что об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Много трепалась-то?

— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом, вот, правда. Только много я охальничала: пьяная на улице валялась и перед народом... нехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меня чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловьем с каким. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались, окаянный, хуже всех стервецов ты стервец!

Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.

И ночью плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:

— А и, деточки, сиротинушки, да и на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный, Силантий Пахомович! Ой-й-ой-ошеньки, не ждала, не гадала, отколь и когда напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а к тебе не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом, не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и немило глядеть на божий свет! Закрутите и мне в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березынька в поле одинешенька трясется, качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, о земь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал на век, упокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.

Виринéя во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой:

„Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтра вот я..."

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое теплое тело. Черным холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь, и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле.

Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор, быстро выбежала. Дышала так жадно, будто, правда, от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:

„И скот, и люди, и трава,—всё на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего

старается, что крепко, да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим".

Утром рано постучала в окно Павловой избы.

X.

Павел вошел в избу, как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза, как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала бок-о-бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, что ли, у кого?

— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..

— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью.

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть—посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...

И вдруг добавил, будто, невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там в городе еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням, поди, воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть лучше, не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашенское-то начальство прежнее будет?

— Да нет! Становой-то сбежал, а урядников в подполе сгребли.

— Вре-ешь?!. Ну, вот это диво. Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волнения голосом читала:

—„ ... признали мы за благо отречься от престола государства Российского..."

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мужшине отдай!

И в толпе подхватили:

— Пускай мужшина грамотный какой прочитает.

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ятно, громко где ей выговорить!

— Да кабы еще деревенская. А у этой „ти-ти"...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты, они разберут!..

— Да и то впереде. Где им теперь стоять, впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! И где Суслов-то?

— Айда, вычитывай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряжанная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье нижний чин отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Э-эх, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича, сын в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: „Степа, дай закурить". А он мне: „Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь". При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин, ... твою мать, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин да весь кончился.

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собирались.

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла, аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз, как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.

Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким не детским ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу, как самое больное, как кару за грех своей жизни, в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток

Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Оборвал одну, другую бабу, и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто по-долгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни подай, редкий, редкий раз взрадуется. А то все не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: „Милка ты моя!". А все же как-то, как с женой прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой залапанной. Вирка и обрадовалась и смутилась как-то. Смущенье радость съело. И с того самого дня, как виноватая. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла, напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:

— Чего ты себя перед всеми, как царь, носишь? Думаешь, я не вижу. Думаешь, больно я уж обрадела, что при себе держишь? Противна мне харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.

Он спокойно расстегнул ремень и погрозил ей:

— Замолчи, а то выдеру, как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложись на печку и больше не верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоню.

Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. На утро долго маялась, собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, о чем дело говорить выходило. И ночью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала.

— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть, да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.

Он отозвался тихо:

— Не мудри, да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!

Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков, а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена—на срок взятая хозяйка! Пусть, как хочет. Опять друг от друга, будто, подальше подались.

XI.

До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали „митингами“ называть, а мир „товарищами“, а то „граждане“. Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции, Учредительное Собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы, да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-по-малу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и дорогà соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы кажный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни по-часту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то, да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда, слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!

И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты замиренья требовать к разъяснителям из города, которых „ораторами“ звать стали,—на короткий час приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и ниж-

ней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем ничего! Земского начальника хутор, и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал, и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.

И когда собралось, хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:

— Вот вам, мир честной, товарищи, граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был, и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.

И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:

— У нас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякнул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни, гляди, не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласники твои здесь хоронятся. Знаю, многим срок отпуску кончился, а который и совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты над нами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно.

— Мы проливали кровь. Хватит с нас!

— Коль навредишь, гляди, мы тоже острастку найдем.

Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:

— Разделался с одним мирским делом, за другое примусь.

Виринéя засмеялась:

— Не терпит печенка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, дак думаю какая тò свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не

удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять.

— Ну? Он чего?

— Выругался нехорошо, и глазами, как волк. А тронуть не посмел. Тут я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все ж время не то. Ране бы сгреб, дак, гляди, и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.

Оба засмеялись... Павел ласково, по-новому как-то, Вирке в глаза заглянул. Сказал:

— А ты мне, пожалуй, что не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное Собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили:

— Ни хрена не поймешь. Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.

Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собирался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринéя. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла, как личную Павлу обиду. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью сильным голосом стыдить начала:

— Куды лезете? Воевать не надоело? Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено! Вояку-то главного Николашку сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же другой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расщеперились, а сами на смерть лезете.

За больное зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам про общественные дела разъясняющим, привыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, даже еще с зазорной жизнью недалеко за плечами, учить пришла...

— Ах, ты стерва... Чего еще разбирать-то могёшь?

— У большевиков все общее, бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!

— Чего с ней больно растабарывать. Сгребай? поучи!

Трое наскочили бить. В ярости с необычной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом и с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченная вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.

Павел ругал Виринéю, плевался, а потом смеяться начал:

— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием...

Долго на деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, что толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то да это, а никак не живет в лад с правильными людьми.

Виринéя засмеялась.

В скорости после разговора с Виринéей, новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция та ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волнение пошло.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаломутились снова. Про выборы в Учредительное Собранье шибко загалдели. Павел на-долго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные попал. Листки принимать для Учредительного Собранья, в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе печаль. Снимали хлеба. В осенней стражке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой ходила деревня. Ак-гыр—белая лошадь.

Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончилась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну и про землю, мол, решит Учредительное Собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать какой к чему. Один только можно опустить, выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъясняла, какой листок опускать:

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куды бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а что к чему—не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи.

— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, нам номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большековский-то. Я его тишком суну.

— Пятый, тетка, суй пятый. Против вашего брата он, а все одно— суй. На конец войны он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак ни то листка— ножа вострого не побоится. Пущай, что хочут делают, только бы живой воротился.

Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.

— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот и где-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость, деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашенный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья сохранять спокойный и важный вид лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик, и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:

— Раньше надо было на собраньи хорошенько слушать.

Павел красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчаньи. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?

Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый...

Учитель сердито крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.

— Чего-й-то. Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими неподвижными тускло-синими глазами, спросила:

— Где икона-то? Что-й-то сбилась я в углах с перепугу-то.

Покрестилась истово и громко торжественно сказала:

— Помоги, господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело.

Поклонилась поясным поклоном и позвала:

— Ну-к, Марька, веди где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завозился на стуле и крикнул:

— Нельзя, нельзя. По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...

Старуха властно оборвала:

— А ты что за человек и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя. Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!

— Но я не имею права. В законе ясно сказано...

И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:

— Пусть опускает! Для бедного народу, будто бы, старается, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами семьями приехали. Чать не виновата, что ослепла?

— Опускай, бабушка, не слушай! Теперь слобода, а они все с издевкой.

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то, эй, востроносая, покажи, говорю!

— Энтот там расселся посередке-то. И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.

Суслов привстал и громко утвердил:

— Опускай, бабушка. Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги.

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирскай листка номр втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда отбырай пыжалыста скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листов и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы. Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Это краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый—самая прохвостня. Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.

— Прошу без агитации. Где милиционер?

Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:

— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено.

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чортова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданьем, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу—все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тянет сообщать?

— Да ведь я же обязан.

— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.

И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:

— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.

— Дак и ты против солдат?

— Говорю, не скандаль. Уходи!

Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.

А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужиченка совал председателю штук шесть листков.

— Который тут третий? А? Я заспешил, да спутал. Ровно отдельно клал, а на же поди, сбилси. Ну-к, покажи.

— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.

— А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А который лучше-то?

Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:

— Совершенно невозможно. Разъясняли, все деревни изъездили. Да что же теперь делать?

Суслов засмеялся, встал, взял мужиченку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.

Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:

— Мокрушкин со своего хутору! целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед Мокрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым отшучивался:

— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.

И кривоногий мужиченка поддержал:

— Погоди, дай срок, все на-чистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.

Но Мокрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и по одиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданий... А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки уда-

лось закончить. Ящик провожали доброхотцы конные разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота и с постройки рабочие требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться, да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся, выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, и к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только, родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а, знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей башкир под свою руку сбили, обещаний всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.

Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринéей тихо и долго говорили. Встала с постели она с прожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И даже тогда не пропала, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:

— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит правда.

Он посмотрел на большие тревожные глаза ее, молящее лицо и усмехнулся:

— Ну, рожай. Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери чего кусать мне даешь. Ехать надо.

Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пуглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу:

— Айда, забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?

Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.

— А тебе чего в нашем войске, божий старатель, делать? Айда, зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.

Вирка дрогнувшим голосом спросила:

— За этого... за инженера отсиживал?

Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал. Но ответил ей:

— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован—схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...

И добавил глухо:

— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.

Павел вздохнул:

— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну, что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе с Магарой.

Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это. Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то; видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю—час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.

Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:

— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:

— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким редким, редким для слеповатых человечьих глаз, светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она ее еще не видела. Как жили вместе—часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но

ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит и ей не 'догнать его и, может, быть свидеться больше им не дано, ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть — дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день, как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..

XII.

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:

— Ничего не знаю. Не венчанная, ведь, жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где, нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно, он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:

— Врешь, б...., потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное, чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила по неровной снежной дороге. Но дотащила, и концы чисто схоронила.

Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая тайная жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встречах:

— Хоть мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.

Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен, и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:

— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного большевистского толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась:

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ко ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась:

— И щупать нечего. Так видать, не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго, раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подсобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами, подтвердил:

— И думать нечего! Как блох переловят.

— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А дак чего же?

— Больше ничего нельзя?

— Дело не выйдет.

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.

— Ах, вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой, дурной бабе, учить вас? Али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы, вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего. До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде, да в побоях жить, живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.

Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила итти, а не на трудное дело. Седоватый стриженный сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала.

А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой:

— Айда, скорей. Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи, легче будет. Первый раз эдакую каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала порывисто:

— Пускай с радостью-ю на све-ет выходи-ит. Шибко долго я его ждала-а... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала надиво звонкий крик рожденного.

— Ишь, ты какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела.

— Не-ет. Покажи... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь, ты дошлая. Ну-к, пущай полежит, потружусь около тебя.

Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шопотом:

— Кто?

Бабий напуганный голос сказал:

— Открой скорейча, впусти.

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда, беги не медля. Через огород туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Да ты что? Ребенка-то я как...

— Ребенка, а коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?

— Дак чего ты сразу...

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхал. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда, беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки:

— Баушка, баушка!.. Нако-сь.

— Ну, чего ты взгомозилась? На печку его, ко мне? Ну, давай.

Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов, быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а! Вирка, ты куда? Что это, осподи, попритчилось что, ли, с ней что?..

Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку:

— Ну-у, ну-у, распелся на ночь глядя. Ш-ш-ш!

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала, мне на што? Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.

Рыжеусый казак шашкой погрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах.

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти,—чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой сторожкой поступью зверя. Как волчица к волченку своему пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом,—запахом крови, из ее жил взятым,—шла кормить или выручать детеныша своего.

У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:

— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье.

Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой... Стой! увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, заступил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетаньи и погасли...

Атава.

Дм. Четвериков.

Повесть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(Продолжение).

Глава первая.

Подрагивал поезд от нетерпения, прибавлял ходу. Взмахивал дымным рукавом, как человек, который торопится. Через стрелки, мостики, стыки грохал кованым сапогом.

— Рах-тах-та. Рах-тах-та.

— Это что? — спрашивала Варя взволнованно. — Это и есть Питер? А видно отсюда Невский? Это какая труба?

Гаврила торопливо увязывал чемоданы. Все сдвинулись с мест, сгрудились в проходах, стаскивали с верхних полок тюки, постели, корзины, осыпая сидевших внизу мусором и пылью... Маневровики-непоседы расталкивают неповоротливые стада вагонов по тупикам. Промасленный смачный песок. Накатанные рельсы. Закоптелые балки. Дым. Потемнело. Въехали под крышу.

— Тише! Не напирайте! Успеем!

Взворошилась платформа. Узлы, чемоданы... головы, головы... покатились к выходу, рассыпались по площади. Сорвалась Варя с места:

— Только бы не отстать от Гаврилы.

Толкнулись на трамвайную площадку, в вагон. Замелькал торопливый Питер. Побежал гранит и кирпич. Ехали долго, и все тянулись обколупанные дома. Надписи по стенкам трамвая: „Буржуй, читай и смотри, как рабочие без тебя умеют строить свое хозяйство. Вагон № 1279 сверх нормы".

Простучали Литейный мост. Клиники.

— Станция желтым билетам!

Из улицы в улицу бежали. Гаврила нес постель и опустевший за дорогу чемодан с провизией. Остановились в одном из шестиэтаж-

ных питерских домин, угрюмых, похожих на старых облезлых псов. В каждом таком доме жирная домкомша с седой бородавкой на шее, монументальный дворник и сотни квартир и грязные лестницы с серым от пыли лифтом. Варя озиралась в ободранной горбатой комнате. Пятна по стенам, как залеженная щека после сна. Глянула в узкое окно:

— Ух, какой двор! Дымовая труба!

Квартирная хозяйка похожа на сковороду. Круглая, масленистая. Не голос, а шип:

— Все дорого, все дорого, как жить, как жить. Квартира—тыщи, пища—тыщи. В четверг по нашей лестнице двадцатый номер очистили налетчики... Так ничего, вреда не сделали, а добра да деньжищ — вагон унесли... Домкомша, Ксения Ильинишна, в суд подала на жиличку Чуклину. Чего ведь удумала: пол паркетный, а она возьми да насыпь по полу четверть аршина земли, да посади лук. Только лук у ней перо пустил — домкомша шасть в квартиру — буча...

— Самограйчик бы, хозяюшка, — ввернул между шипом и треском хозяйского языка Гаврила.

— Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, — заходили широкие брови.

Варя сама не замечала, что у нее слипаются глаза, и в ушах грохот поезда, звонки трамваев.

— Ну, конечно, дело в народный суд. Вот тебе и лук... Клавдия в „Лотосе“ была (киношка у нас на Выборгской): Господи, говорит, чего, говорит, народу-те, народу-те! (Хозяйка всей округлостью своею обернулась к Варе.) Вы, конечно, не знакомы с Клавдией, дочка старшая, младшая Зина. На заводе „Светлана“ служат...

Варя спала. Слышала сквозь сон — звякали посудой, звали пить чай. Она что-то ответила и заснула еще крепче.

— Ишь притулилась, сердешная. Что мутовка в квашне!

— Устала, — баском ответил Гаврила, и ему показалось, что он муж Вари, — такой заботливый у него голос, так хорошо знает он лицо Варино, спокойное во сне.

Варя уронила с колена руку. Даже как-то всхрапнула носиком. Гаврила почувствовал к ней нежность, спокойную, без примеси желания. Он взял ее на руки, отнес в постель. Приоткрыла глаза, неосмысленно посмотрела, сказала, силясь улыбнуться сквозь сон:

— Гаврила.

Уснула снова на подушке. Юбка неловко сосборилась. Осторожно поправил, стараясь прикасаться к материи. Но и краешек девичьего платья обжег его, заставил помутиться в глазах.

— Раздеткой-то лучше бы... разденьтесь...

— М-м...

— Хотя разуть, что ли. Ноги, поди, затерпли.

Неумело, неловко дернул шнурок. Запутал петлю... Наклонился.. Наконец-то. Высвободившаяся из высокого ботинка девичья тонкая нога в черном чулке шевельнула пальчиками.

— Эх! — бросил ботинок, закрыл лицо руками, выбежал из комнаты.

Подмигнула хозяйка:

— Записана, али так?

— Знакомая.

— Ну, ну, знакомьтесь, знакомьтесь, перины у меня мягкие, для знакомства вольготные.

Гаврила жмется. Почему-то стало стыдно сказать, что с Варей не близок, что не знает ее, вдруг ухмыльнулся глупо, промямлил, глотая слюну:

— А не плоха?

— Сочная.

— У вас в Питере таких нет? Сметана!

— Всякие у нас есть.

Гаврила засучил рукава, расстегнул ворот на волосатой груди. Под холодной, сверлом стеклянным, струей горело лицо. Перед глазами шевелились пальчики под чулком, заголялась тонкая девичья нога.

— Фырр... Фырр...

— Да-а, выручил бы зять, да зятя негде взять... Нонче вы, мужчины, норовите так ухватить, рывком да с налету. Налетчики вы... Вам что?—козырь козырем... Масло привез, али мед? Ну, оно и опять зашуршит. Деньга она — советская деньга, а смотри-ка, парень, и в ей сила... Ну, а коли шуршит — обут и обшит. Были бы денежки, будут и девушки...

Гаврила досадует:

— Дались ей сегодня девушки.

— Отдыхайте с устатку, молодая парочка.

Щелкнул крючок. Дверь оглядел: скважина. Оторвал от газеты клочек, заткнул отверстие. Покосился на Варину кровать. Одна нога обутая, другая в чулке. Спит, как спала — не шелохнулась. Помялся.

— Лягу рядом. Чего особенного? В дороге спали же.

Ему даже показалось, что это отвоеванное право — спать рядом с ней... Накурился, торопливо затягиваясь. Прикурнул, сбросив пиджак и сапоги. Потянулся робко, погладил крепкую ногу. Варя зашевелилась во сне... Отдернул руку и задремал, стараясь забыть боль в теле от неосуществленных желаний.

Глава вторая.

Утром Гаврила убежал из дому, когда Варя еще спала. Рыскал по городу. Беседовал весело, за-панибрата с какими-то дядями в кепках. Торговался весело, беззлобно. И охотно сговаривались с этим веселым малым. Умел он им веско, внушительно завернуть словцо, умел щегольнуть ученостью и закрутить сибирский крепкий говорок. Дяди в кепках зашелестели новенькими дензнаками, отлепляя мясистым перстом одну бумажку от другой. Лавочник потер скоромные руки,

сколупал масло с толстого золотого перстня, бухнул пудовик на весы и продолжал прерванный приходом Гаврилы разговор:

— От-то были времена — любую бабу за ломоть хлеба бери.

Пальцем мазнул масло о край боченка, зацветший, что сыр. Малый в шинелке, засунув в купленный у Гаврилы брус масла железный щуп, прокряхтел:

— На хронтах этого добра даром сколь хошь.

— Даром, даром, — загремел гирями лавочник, — вы охальничали, а тут доброволками, по взаимному соглашению. Чего — жила тут одна насупротив блондиночка. Муж у ней был, все честь честью. Спервоначалу-то вещи они продавали. Ну, ничего, я же покупал. Вот перстень, к примеру, ихний у меня. Муж у ней в рыхлом состоянии был. Тиф. Смотрю вещевое дело к концу оборачивается. Ша. Стали барахлишко да рухлядишку последнюю выносить. Проси меня поднять на земле такое — не восчувствую. Приходит она. Кудерки на уши — мода такая, видно, была, косыночка черная добротная, а тухлишки дрянь — дыра на дыре.

„ — Здравствуйте, — грит, — Анисим Гурьич.

„ — Здравствуйте, здравствуйте, как, — говорю, — по старому и по новому стилю поживаете?

„ — Спасибо, — говорит. — Вот мужу очень не хорошо.

„ — Кому, — говорю, — хорошо: всем эресфесер.

„ — Вещичку припасла вам. Сухариков, — грит, — выдадите, может, за вещичку? Коле ничего кушать нельзя, кроме сухариков. Последнее дареное принесла... (И глаза этак на мокром месте. Меня даже задушевность проняла.)

„ — Бедная барынька, — говорю, — зря себя изводить изволите. Ну, что вам дадут за энту штуковинку, если она и цепочка красивенькая, но без пробы и форменно позолоченная?

„Дамочка руки ломать, то, се, пятое, десятое. Я ее в столовую провел, а там у меня благовар на всех парах, сахар-рафинад и пирог с курегой сладкий. Глаза в сторону, а у самой, как у волчихи, зубы ляскают.

„Ну, — думаю, — Митюй, — не будь фитюй, не проводи мимо носа...

„ — Идемте, — говорю, — логово свое покажу, как мы суседи, — для знакомства, значит. Вот, видите, перинки, а вона киот, и лампадного маслишка приберег и бога не забываю, а вот азбука коммунии — сочинения тов. Бухарина, тоже на досугах читаю. Не чураюсь ничего, познаю. А вы что? Растерялись, замуторились, аки войско фараоново между стен водяных разверстого Чермного моря?

„Рассказываю это я ей, святые места из текста привожу, а она ноздрями пар самоварный ловит. Пахнет поджаристым урючным пирогом.

„ — Вот что, дамочка, — говорю, — хотите мужа своего от сыпняка вылечить?

„ — Хочу,— говорит,— помогите мне, Анисим Гурьевич. Нужно,— говорит,— для эфтого усиленное питание.

„ — А вы меня за это вниманием подарите, удостойте мужичишку, спекулянтишку серого...

„ Вот этакие на меня глаза.

„ — Как вниманием?

„ — Не понимаете,—говорю,—разве? Ну, словом, поспите со мной. Сухари будут, молочко будет. Все, что понадобится насчет лечебной диеты и дизенфекции. Без этой всей музыки вы все одно, что вдова. Не выживет ваш Коля,—верно говорю. Не убивайте,—говорю,—вашего Колю, будьте христианкой,—говорю,—и доброй женой. А если вам деликатность не позволяет, так, по-простецки,— пожалуйте в соседнюю комнату, там и разоблокитесь, а я пока обожду здеся...

— Ну?

— Ну, и ничего. Ходила. По два раза в неделю договорились, а я харчил ее Колю. Рассказывала, как ее Коля сухарикам рад. Смеется,— грит,—как ребенок махонький, глупенький такой. Тиф, она такая есть болезнь, что на мозговые способности ударяет.

Лавочник ухмыльнулся, подкидывая еще фунтовку на весы.

— Два пудика без шести фунтов будет...

— Ну и как?—лениво спросил Гаврила.

— Чего как? Разве не знаешь, как с бабами спят?

— Как, говорю, кончилось?

— Поправился ее Коля, стал жиреть, что боров. Потом приняли его на паек военный, ну и перестала она ко мне ходить. На улице встретил.

„ — Когда,—говорю,—милая, за сухариками придете?

„Отвернулась, молчком в ворота норовит проскочить. Через неделю— забирай шарабору и ходу на новую квартиру, на Васильевский остров...

Гаврила беззаботно сунул пачку денег в карман своего кожуха. Завернул в кондитерскую, купил торт, украшенный ворохом засахаренных фруктов. Пирожных, позамысловатее и покрупнее на вид, выбрал. Бежал по улицам, наталкиваясь на прохожих, шептал:

— Сухарики, сухарики нужны...

Забежал еще в одну кондитерскую: очень уж шикарным показалось название.

— Заверните-ка вон эту штуковину.

— Торт?

— Да, да, шоколадный вон.

— Это микадо.

— Ну, и чорт с ним. Нехай микадо.

Крикнул извозчика. Молодцевато хлопнул себя по заплатанному колену.

— А ну, не торопясь, да поскорее.

Извозчик хлестнул равнодушно лошадь: „Видали, мол, таких". Всю дорогу торчала перед Гаврилой равнодушная спина, а по краям спины

остальное: небо, дома, улицы. Встречая хорошие санки, извозчик лихо подгикивал и крутил вожжей. Пешеходам кричал презрительно:

— Э-о!

А трамвайных людей рассматривал со злобой. Нарочно старался прошмыгнуть перед самым носом девятки, чтобы заставить вагоновожатого заверещать отчаянно и затормозить вагон...

Варя проснулась поздно, увидела одну разутую ногу, смеялась:

— Как это я заснула?

Наскоро закрутила космы, наскоро расправила примятое платье. Пили чай.

— Айда-те вместе в лавочку сбегаем,— предложила Зина.

И отсчитывали вместе ступеньки шести этажей и вместе стучали по тротуару.

— Лавочка-то, как у нас,—удивилась Варя.— А вот все вообще не похоже.

— Дымят? — показала она на трубы заводов.

— Дымят.

Во время хождения в лавочку за ситным была заключена дружба Зины и Вари. Неизвестно, на каком именно слове Клавдия и Зина стали говорить Варе—ты.

„На кого это походит она?— рассматривала Варя Зину:— Наташа Осина. Только резче и крупнее лицо".

Примчался Гаврила. Вывалил на стол ворох покупок.

— Кто со мной? Пять билетов купил в „Пассаж"!

Согласились итти Зина и Варя.

— Два билета куда же денете?

— Продадим у входа! Со скидкой.

Гаврила распаковал торты.

— Хорошая штука—торты,—причмокнул языком:—это мы прибыли вспрыскиваем с Варей.

— Я-то при чем?

— Вместе заварили, вместе и расхлебывать. Я не люблю иначе. Седни лавочник один поэму целую рассказал, как в голодное время за сухарики женщин покупал. Я это не признаю. По-моему, должно быть полное равноправие.

— Ну?

— Ну, значит, и прибыли и убытки пополам.

„Вот уж некстати про лавочника",— подумала Варя, но ничего не сказала.

Под вечер пришли комсомольцы. Зина стала еще звонче раскатываться смехом.

— Знакомьтесь, чего же вы не знакомитесь?

Минаев раскланялся немного вбок. Кудиенко сгреб Варину руку громадной пятерней. Варя вскрикнула от боли. Кудиенко конфузливо покосился на приятеля.

— Полегче надо, — укоризненно сказал Минаев.

Кудиенко рассматривал, огорченный, свою лапищу.

— Поди ж ты... Ровно и не нажимал...

— Рука нежная...

Минаев остановил ласкающий взгляд на Зине:

— Ваша рука выдержит?

— Выдержит.

— И не дрогнет?

— И не дрогнет.

— И поддержит по-товарищески в нужную минуту?

Кудиенко все еще конфузился за свою неловкость.

Варя сказала:

— Идемте с нами в театр, у нас два билета лишних.

Гаврила поморщился. Зина подхватила:

— Верно! Верно! Пошли...

Десять ног затопотали в разбивку по лестнице. Гаврила все заводил деловые разговоры дорогой:

— Завтра вместе пойдем закупать товары. Вы в мануфактуре понимаете?

Варе было почему-то неловко при Минаеве и Кудиенке говорить о торговле. Невольно образовались две кучки. Около Вари Гаврила; около Зины комсомольцы. И Варя сама не понимала, откуда у нее поднималось раздражение.

— Бросьте вы притворяться, что мы вместе зарабатываем деньги. Я лишний груз и отлично это сознаю.

— Неправда,—горячился Гаврила.—Вдвоем мы вдвое больше провезем и вдвое больше увезем отсюда.

— Куда вы? Налево!—крикнула им издали развеселая тройка.

В театре уже начался съезд. Швейцары в позументах выкатывали глаза, стаскивая шелковое манто и всовывая калоши в калоши. Дамы охорашивались, вылезая из пальто, расправляли складки и локоны. Пахло пудрой, духами и почему-то нафталином.

— Не нравится что-то мне,—покрутил носом Минаев.

— Чего так?

— Воопче...

Поднимались по широкой блестящей лестнице, жались кучкой. Кругом белели голые шеи, голые руки. Чинно рокотала толпа.

— Шпана,—брезгливо сторонился Минаев.

Варе тоже не по вкусу. Со стены из рамки улыбалась благосклонно маститая артистка. Оркестр на балконе зажаривал „Сильву".

Красотки, красотки,
Красотки кабарэ...

За прилавком „беспроигрышной лотереи" топтались две барышни, похожие на восковые фигуры бельевого магазина. Гаврила потащил

всех в буфет. Пили какао. От того, что испытывали неловкость в своих обтрепанных костюмах, держались вызывающе, шумели и хохотали до упаду. Кудиенко пролил какао. Зина взвизгнула. Подошел к столику величественный заведующий.

— Здесь нельзя, господа, шуметь, так что вам придется выйти из залы.

— На-ам? — по волчьи лязгнул зубом Минаев. Но потом усмехнулся: — Кудиенко, иди объяснись.

Все с интересом наблюдали, как тощий заведующий прыгал вокруг чугунной громадины—Кудиенки, что-то ему доказывая. Они удалились в сторонку, к портьере. Наконец, заведующий беспомощно махнул рукой, а Кудиенко, расплывшись в улыбку, зашагал к притихшей компании.

— Ну, как? Что?

— Он меня трехъэтажным...

— Ну-у?..

— А ты его?

— А я хватил этажем повыше...

Это приключение развеселило всех, и теперь Зина, Минаев и Варя толкались повсюду, придумывая смешные сравнения расфуфыренным дамам. Минаев остановился у зеркала и командовал на ухо Варе и Зине:

— Смирно, равнение направо!

Действительно, все проходившие дамы, как по команде, поворачивали головы к зеркалу и чинно проходили дальше. Гаврила и Кудиенко плелись позади. Кудиенке одна забота: не наступить кому-нибудь на ногу, не притиснуть ненароком к стене. Звонки. Удар в гонг. На сцене двуспальная кровать. Муж и жена, вернувшиеся с бала. Они ссорятся. Она не хочет ложиться в кровать. Муж взволнован. Она взволнована. Решают обратиться к адвокату за разводом.

— Ну и пьеска,—вздыхает Минаев после первого действия.

— Для шалых бабенок подходяще, а нам это все ни к чему,—решает Зина.

Гаврила жмурится и мечтает о том, как хорошо будет, когда он разбогатеет, женится на Варе, и у нее будут такие же роскошные платья, как у Грановской. И, распалившись двусмысленностями, бросаемыми со сцены, смотрит помутневшими глазами на Варину щеку, на шею.

„Сегодня ночью",—шепчут его губы.

И оглядывается: никто не слышал? Будто сказал что-нибудь неприличное. На обратном пути, когда Варя озиралась на каменные громадины по Фонтанке и по Французской набережной, Гаврила дрожал весь и думал: „Сегодня ночью"...

Удивлялся, как он был робок и глуп.

И опять перед глазами рисовалась девичья нога в чулке... сособравшаяся юбка... Он сжимал руку Вари и торопился:

— Идемте, а то не достучаться...

Открыла Клавдия. У нее было заспанное лицо и отлежанная щека полыхала румянцем. Гаврила никого и ничего не видел.

„Сейчас... сейчас..."

Жадно оглядывал, угадывал под одеждой Варино тело. Помогал ей снимать пальто.

„Скорей... Скорей..."

А Зина своим огнем опалена. Еще чувствует на своей руке сильную руку Минаева. И поэтому кажется ей жизнь особенно прекрасной, а люди добрыми и внимательными к ней. Вот и Варя—такая славная, простая... Предлагает Зина ей, как подружке...

— Идем спать со мною. Там, поди, неудобно вам, тесно.

— Идем,—просто соглашается Варя.

Клавдия запнулась:

— А разве Гаврила Павлыч не рассердятся?

— То-есть как? Ему-то какое дело?

Девицы прикусили языки. А Гаврила побелел даже от злости и сразу возненавидел и Зину, и Минаева, и Кудиенко.

— Тоже... с суконным рылом... сволочи!

Ночью ворочался на кривобокой кровати. Вздыхая, прислушивался к бунчанью за стеной. Вызванивала тонкоголосо Зина. Гудела Клавдия. Иногда взрывался смех. Нескончаемы девичьи разговоры. О чем ни переговорят только, забравшись под одеяло, после театра, после дневных впечатлений и встреч. Утром решено было ехать Клавдии с Варей на завод—письма Дворжецкого отвезти.

— Караваеву? Знаем Караваева! Кто ж его не знает. Можно сказать—личность.

Пошли россказни про инженера, про завод „Светлану" после длинных воспоминаний и обсуждения виденной пьесы. Гаврила уснул на свету. Во сне видел Варю. И будто целовал он ее, прижимался к ней близко... Утром проснулся злой.

— Варвара Антоновна встала? Мы условились ехать кое-что закупить...

— Ее и дома нету. С Клавдией на завод поехала... С час уж никак...

Глава третья.

Долго вилял трамвай около охрой обмазанных заборов, мимо развалин и пустырей. Долго нырял под мосты и вызванивал вдоль переулков да улок.

С каждой остановкой воздух становился другим. Другие размазывались краски, другие люди наполняли торопливый трамвай.

Трубы.

Словно гигантская столбовая дорога. Толпы рабочих. Рассудительный, кряжистый народ. Варя во все глаза на них:

— „Вот они какие, питерские рабочие!"

Множество женщин. Весело спорят, смеются, шутят...

— Отчаянные,—сказала Варя.

— Сами себе голова,—отозвалась Клавдия,—не на мужниной шее сидят, сами семью кормят.

Варя вслушивалась в их разговоры. Повседневное, незначимое казалось ей важным, значительным.

— Корнева! Завтра на собрание идешь?

— А ну их к лешаку.

— Я пойду... Что же наши дела без нас решать будут...

Клавдия встала.

— Нам на следующей остановке.

— Они на мужчин походят,—заметила Варя, выходя из вагона.

Прошли под деревьями мимо узкоколейки. Сквозь плетение сучьев— каменная коробка. Ворота, как разинутый в крике зев. Просторный двор. Уже здесь выжимается и бежит дрожа на простор подземный гул, жужжание и говор. Проходная. Коридоры. Стена в объявлениях. „Дрова", „Запись на билеты", „Выдача талонов на воду", „Лекция", „Клуб"... На двери коротко: Завком... Ближе, ближе. Задрожало, зазвенело, заходило. Лязг, звень, звон. Запах бензина, краски и масла... Шуршат поршни. Разрозненно взвизгивают станки. Стеклянный звон медленно тает и переходит в скрежещущий свист. Женщины, женщины, женщины. Изредка пробежит инженер. Все в движении. Но кажется: только руки, тысячи рук проделывают быстрые однообразные движения. Вот ножницами зубастый рот выплющивает крючки. Вот длинные стеклянные стержни раскусываются на ровные стерженьки. Вот пламя лижет, подползая, стекло. Быстрые руки выплющивают из размягченного стекла будущую ножку.

— Получай!

— Легче!

— Сколько дюжин?

Утонули голоса. Только распластывается: Жжж... ззззз... жжжжж... И потом: Зумм... зум... зум... Фабрика-женщина. Тонкие движения, быстрые пальцы, пронзительный визг, хрупкое стекло...

— Бабье царство,—кричит через грохот Клавдия.

Варя почему-то боится подать голос и только кивает головой.

— Здеся мужику вожжи не по рылу. Дело тонкое, аккуратное,— не жаровню раздувать, не чугуном плюхать.

Прошли еще зал, еще.

— Вона эти кучерявые—ученицы. Обвыкают. А там насосная. А тут сколь свечей, силу определают.

„Вот эту работницу я видела где-то в другом этаже"—подумала Варя.

И тут же поняла, что это другая. В мелькании у всех одно лицо, одно тело. Жесткие глаза, острые губы.

Танцующие поршни локтей. Из отделения в отделение плыли стекло и проволока, превращаясь понемногу в электрическую лампочку. Проволочки втыкались в размягченное стекло, как в масло. Чавкая, автомат накусывал эти проволочки и выплевывал в подставленную коробку. Ножка росла, обрастала, обматывалась нитями, высасывался из лампочки воздух, запаивалось отверстие, само вытягиваясь в кончик, словно сосулька.

— Крепче, крепче,—совсем близко раздался сочный веселый голос.

Варя оглянулась: никого не было. Но вот за насосом колыхнулось что-то коричневое. Две работницы. Техник с почтительным лицом. Глаза всех устремлены куда-то вниз. Вот вылез откуда-то из-под машины черноволосый рослый человек.

— Пропускает, говорите?

— Шипит, старый чорт.

— А вы ему по гайке!

— Мужа так не бью, Аркадий Николаевич, как яво. Пользы никакой...

Клавдия, подталкивая:

— Это он, Караваев, иди!

Варя ощупывала письмо в кармане и топталась на месте. Теперь инженер стоял к ним спиной и что-то говорил под веселый хохот работниц.

На кого хочешь, только не на инженера походит. Холщевая широченая рубаха, черные жирные космы волос...

Теперь Варя понимала, почему Дворжецкий называл его приятелем. Да такой, может, ясное дело, дружить со студентами и рабочими и быть в то же время их профессором и начальством. Караваев неожиданно повернулся круто к Варе и Клавдии. Зорко взглянул на Варю.

— Новенькая?

— Нет... это письмецо,—шагнула к нему Клавдия.

— Письмецо? Гоните сюда письмецо!

Варя запуталась в кармане, вытащила платок, сдачу от трамвая, конфетку, недоеденную утром... Вот оно. Наконец-то.

— А-а! Дворжецкий. Так-так-так... Засиделся он возле маменек, работу запустил. Что такое?—воткнулся в письмо.—Кружок? Какой кружок? Идиотство! Парня волокут в море, а он: пусти, дяденька, в луже побултыхаться.

— Надо кому-то замечать и лужи,—рискнула вставить Варя.

Еще один внимательный взгляд. Выпада не ожидал.

— Лужи?

Встряхнул головой.

— Как вы думаете, может остаться в гавани труба парохода, если сам пароход выплыл в море? Если по плечу таскать пятериками груз, на кой разбивать его фунтишками?

Варя, сама краснея от своей выходки, задорно ответила:

— Мне говорили, что вы на какой-то громадной постройке воротила, а сейчас я видела—вы насос чинили...

Караваев озадаченно почесал ухо. Загоготал весело. В глазах его мелькнуло мальчишеское что-то. Словно его поймали с папиросой...

— Здорово!.. Сдаюсь! Ваша макушка.

— Понравилось?—спрашивала Клавдия, когда вышли.

— Все кру́гом идет. Карусель.

— Работа.

— Да-а. Пятериками, говорит.

— А ловко ты ему про Волкострой задудонила. Простецкий парень. А?

Они шли к трамвайной остановке. Клавдия, ожившая в привычной обстановке—(Скучаю я в отпуску,—говорила она). Варя, ошеломленная гулом, звоном и мельканьем.

В это время Караваев успел два раза пробежать письмо Дворжецкого, дать наказы технику, перекинуться шуткой с работницей. Сунул письмо в карман.

— После еще зайду. Чтобы у меня не баловал.

Погрозил насосу, кивнул и, выслушивая на ходу председателя завкома, побежал в кабинет, находившийся тут же в стеклянном колпаке.

— Группа А. Группа А...

Отдал какие-то распоряжения, кому-то крикнул по телефону:

— Никаких препроводительных. Мне машину надо, а не бумажку с номером.

Сердито нажал кнопку.

— Институт!

И наконец позвонил домой.

Теперь лицо его не горело, он полузакрыл глаза, опустил вниз углы губ.

— Здравствуй, Машук. Что? Обедать? Да. Иду. Вечер? Вечер в институте. Завтра—на постройку. Ну, дома поговорим. Лампочка? Ах, да,—досадливо поморщился.—Товарищ Бахарев, запишите на мой счет четыре лампочки по 25 свечей...

Снова в трубку:

— Ты слушаешь? Лампочки принесу... Что? Конечно, бесплатно, просто возьму, и все тут. А? Я и не церемонюсь... Ну, пока.

Глава четвертая.

Варя была в том возрасте, когда растут заметно, как зелень в дождливый май. Проснулась—и вдруг пронизало всю: была в каком-то скучном городе скучная Варя Колотова, провинциальная барышня, тихоня. Привстала и спросила тихо, настойчиво:

— Это была я?

Потолок. Туфли у кровати. Напротив сверток одеяла—это Клавдия спит. Все старое, все осталось там, где было вчера вечером. Обвела все глазами, как проснувшаяся от обморока, летаргического сна.

Все другое. Вещи другие, жизнь наощупь другая — новая. И она—она сама—новая, другая.

Пораженная, застыла так, как потягивалась с просонья. Прислушивалась, как по-новому ходит кровь внутри, в теле. Потом для чего-то сказала низким чужим голосом:

— Питер. Для росту тут вольгота.

Снова стала разглядывать прежнюю Варю. Так, поймав на лопухе, мальчишка держит за лапу, рассматривая, жука. Дневники писала вот: 7 апреля... 7 часов вечера... год, число, час... и записывала событие под датой: была на именинах у тети. А вот еще: у контр-революционера Гольцова спрашивала—научите, как жить, как не быть в стороне от революции. Какой он дурой считал ее!.. Опять сказала вслух, со смаком выругалась:

— Дурища-то! Балда-то!

Стеклышки смеха рассыпала. И увидала в эту минуту вытаращенные глаза из-под одеяла: Клавдия.

— Ты чего, сумасшедшая. Испугала даже. Сидит одна в постели, косматая,—и разговаривает сама с собой, хохочет. Чудо-юдо рыба-кит. Лунатик окаянный.

И потом по пояс откинув одеяло:

— Пойдешь шиманаться по улицам-то? Первое седни мая—праздничёк совецкой.

— Пойду шиманаться. Через весь город пойду. С комсомольцами. С музыкой.

— У меня седни тоже праздник,—вздохнула Клавдия.

Лежала она на спине, руки подложив под голову.

— Тридцать лет стукнуло—вот какой праздник.

Повернулась на бок, обрисовывая под одеялом не женскую плоскую фигуру, оперлась на локоть острый.

— Варька, от души говорю, потому сдружилась с тобой за эти дни: без мужика не думай быть. Нехорошо это.

Варя рассматривала серое Клавдино лицо, глаза, начинавшие жухнуть, а сама все еще не могла отряхнуть впечатления—будто она, как змея весной из кожи обношенной, вылезла, как кошка, вылиняла и старую шерсть по клочкам растрясла.

— Смотри на меня, как упустила я золотое времячко,—тянула Клавдия:—снимай дыню до росы, а помидор до холоду... Эх! А ведь был у меня один очень прекрасный молодой человек. Не сумела счастье взять... (Полежала молча.)

„—Что,—говорю ему,—короводиться хошь, баловать? Шлюха я тебе какая? Дай кольцо, тоды цалуй в лицо.

„А он этак серьезно про кольцо стал мне толковать — дескать, это условность одна.

„Чепушишь,—думаю,—любезный, меня на учености-то этой не поймать".

„А дельный был. Рослый такой, здоровяк. Из комиссаров, не какой-нибудь. К нам захаживает, разговоры заводит, всякие, ну и так, покуралесить умел. Весельчак.

„Образа увидал.

„ — К чему,—говорит,—этот дурман и идолопоклонство разводите?

„Мамаша так и присела:

„ — Ах ты, совецка чухлома!

„А он дальше:

„ — Чего,—говорит,—мы друг ко дружке выхаживаем, духовное сродство имея и влечение полов? Идем ко мне, Клавденька, жить. (Это при матери-то.)

„ — Как так жить?—опрокинулись мы на него.

„ — Чего подшипники-то растворили? Я не так жить—как следует, запишемся пойдем.

„Теперь-то все пишутся, а тоды это зазорно было. Я в слезы, как сделал мне оскорбление личности. Мамаша в анбицию. Так из-за несходства убеждений ничего у нас и не вышло...

Клавдия замолчала. Варя хотела рассмеяться. Да заметила: две слезинки вспахали борозды по Клавдиной щеке.

Ну тормошить ее, уговаривать. Отошла девка.

— Все-таки, решила, куплю семячек да ирисок, будем день рожденья праздновать.

— Знаешь, — задумчиво сказала Варя, — я ведь тоже сегодня родилась...

— Половина одиннадцатого, — крикнула уж который раз Анна Степановна.

— Значит десять, — улыбнулась Клавдия, — мама всегда полчаса накидывает, чтобы поднять с постели.

Зашуршали девичьи юбки. Одевались вперегонки. Наскоро пили теплый кофе без молока. Кофе, заместо чаю, заваривала Анна Степановна. А как вышли из затхлого подъезда на улицу, полыхнуло на них летним теплом, ослепило солнцем, обласкало испариной дня. Ноздри жадно вобрали запах луж, навоза, тепла.

— Не иначе, как коммунисты заказали погоду, — крикнула Клавдия.

Синий ветер блузу распахнул над городом. Синим рукавом Невы обхватил Питер: мой. Заводские трубы еще торжественней высились— столбовая дорога, ведущая от окраин к центру: иди. Мосты, панели, набережная набиты туго народом.

Сразу отыскали светлановцев—бабам к празднику платки выдали ярко пунцовые. Выделяется в толпе яркое пятно.

— Ряды держи!.. Иди серединой!..

За „Светланою" — „Ткач". А дальше шоколадники, литейщики, конфетницы. Все пело, кричало, дуло в трубы, било в барабан, размахивало красным ситцем, бежало. Комсомольцы надрывали глотки, раскачивая чучело буржуя на штыке:

Мы буржуя в котелке
Батюшки!
Посадили на штыке
Матушки!..

Рядом сбились кучкой крепкошеие, плечистые молотобойцы и крыли густыми шматьями:

Смело, товарищи, в но-о-гу...

Где-то в это время заканчивали:

С Интер-на-цьо-на-а-лом
Воспрянет род людской...

И через все человеческие голоса перекатывался военный марш. Старушка в капоре, со стеклярусом на оборке, торжественная, как аллилуия. Затерли старушку на тротуаре. Ридикюль. Белая бородка завитком под старушечьей губой. Проклятье смешала с молитвами, как вино с просфорой:

— Господи! Арапия! Башибузуки!

Качнулась толпа—и исчезла старушка. Пробухал грузовик, набитый конфетными цветами, флагами и ребятишками „Детдом имени первого мая". Фыркнул, снижаясь, аэроплан и снова врезался в синь. Ухали пушки, заставляя сердце радостно вспрыгнуть. Хорошо как!

Клавдия идет чинно, старательно держит ряд. Зина промелькнула в толпе и снова умчалась, размахивая руками, рассыпая смех. Снова пальба на Петропавловской крепости:

— Б-бух! Ббу-бух!

Веселость разгоняет кровь. Ревут трубы.

Варя вдруг набрала воздуху в грудь и запела, вместе с тысячами голосов. Так шли и пели. Улыбался старый обколупанный город, поглядывая на грудь свою,—всю в молодых флагах и в молодой толпе. И таким запомнился Варе Питер: молодые флаги—и Екатерининский фасад. Молодые комсомольцы—и старушечье аллилуия.

Так и погода в Питере: утром веником солнце обметет седые тенета. А рвануло со взморья—раскачает у Тучкова моста полоротую баржу. Тучей шаркнет по крышам, торцам—и полезла сырость с боков, сверху и снизу. Пешеходы жмутся, нахохлясь, в подъезды, тарахтит извозец, нахлобучив фаэтонный верх... Ночью, может быть, подморозит (лед, видно, пошел по Неве с Ладожского озера),—а потом снова весна, снова блещет начищенным асфальтом, словно только что сдернул

щеголь гранитную ногу с подставки на углу Семеновской и Литейного у чистильщика сапог.

Впереди выборжцев тяжелое золотом шитое знамя. Согнулся под тяжестью знамени вцепившийся в древко лохмач. Несет знамя высоко, не склоняя, старается, чтобы надпись не затерялась в складках:

„Первое мая—смотр сил Октябрьской революции".

— Иван Никанорыч, дайте понесу!

— Товарищ Елтышев, сменимся! Смотрите, взмокли вы, несши!

— Нет, не сменюсь. Здесь мое место,—упрямо отмахивается лохмач и снова несет, не склоняя, тяжелое вышитое знамя.

— Елтышев,—шепнула Клавдия Варе, поймав ее любопытный взгляд,—завклуб.

И когда чуть не насильно оттеснила молодежь Елтышева от знамени и он очутился рядом с Варей, она взглянула на него светло:

— Должно быть, это очень радостно—нести через весь город громадное знамя?

— Они всегда ототрут,—пожаловался Елтышев,—зарядили одно: устал, а чего спрашивается устал? Дрова колол или молол пшеницу?

Отер пот на шишковатом лбу и, шагая в ногу с Варей, запел громко и прочувственно Интернационал.

„Наверно, был военным",—подумала Варя, рассматривая его жесткое лицо и отчетливый, сильный шаг...

И робость... больше—почти благоговение—почувствовала к этому мужчине, выполнявшему торжественно церемониал.

„Вот настоящий",—думала она и гордилась, что идет с ним рядом и с тысячами других, может быть, таких же твердых, непоколебимых борцов...

— Разве сами мы знаем, какие страсти блуждают в существе нашем неоплодотворенным яйцом?..

...Елтышев нашел себя на фронте. Первый бросался к пасти рыгающего пулемета, голыми руками брал окопы, запутанные проволочной щетиной.

— Сквозь дым летучий хранцузы двинулись, как тучи,—кричал он, вращая глазами.

Однажды лежали красногвардейцы под обстрелом белых. Белые укрепились на околице деревни, защищаясь избами, банями, прячась за стога. На костяшках счет выщелкивал числа пулемет. Елтышев захотел курить. Встал во весь рост и направился к соседу в цепи.

— Махорка, братишко, есь?

Выстрелы участились. Брали под прицел рослую фигуру, разгуливавшую спокойно на виду у всех.

— Спрячься, спрячься, товарищ. Ты на меня смерть наводишь. Ложись!

Лег.

— А что, братишка,—подполз вплотную красногвардеец—безусый паренек,—талисмант у те, али чо? Пули не боисся...

Елтышев с того раза задумался: „В самом деле, надо талисман“...

Гнались они по вспаханному полю. Стреляли по убегавшим белым. Запнулся Елтышев за тело разодранное, упал в кровавую слизь. Прямо перед лицом—труп. Осколками выдернуло челюсть мертвецу. Зубы во рту, что каша. Схватил Елтышев окровавленный зуб мертвеца, спрятал в походную сумку.

„Будет талисманом, охранит от пули, от удара, от малой царапины“.

И дрался Елтышев отменно. Скулу татарскую скосит, зубы сожмет и лапищами волосатыми наган ворочает.

— Бе-ей!

Образовался отряд у Елтышева. Молодец к молодцу. Красномордые, литые, крепкокостые. Один возлюбили прием елтышевцы: зайти противнику в тыл. Петлей охватить расположение. На семьдесят, на восемьдесят, на сто верст делали заход. А потом, как попрут, как начнут кромсать,—кровью пахнет по всей округе. Дерзостью брали. Вдесятеро больше противник, а они на ура. Верили дерзости их. Дрогнет, качнется цепь—и полетело, завертело,—стон, крик, дым.

Загорел, прокоптился в пороховом дыму Елтышев. Костью стал шире: горбыль. Шаг тяжелей в землю вбивает. Поди узнай в нем тихого жильца комнатного, артельщика, выпивоху. Пропах конским потом, махоркой. Глаза стали смелые, почти наглые. Раз только испугался смерти Елтышев. Никогда не хворал он. Ни тиф, ни цынга не брала. А тут затрясло вдруг, залихорадило, в жар бросило. Вызвал адъютанта своего, он же Ванька Лихотин.

— Помираю,—говорит.

— Как так—помираю, этово, например, совсем нельзя думать. А мы как же?—обиделся почему-то адъютант.

— Лихоманка, а не то тиф,—прогудел Елтышев.

Стояли они на отдыхе в деревушке. Фронт в пятидесяти верстах. Ближайший город в двадцати. Где тут за доктором скакать? Корежило Елтышева, плевался от хины, которую санитар при отряде дал.

— Врешь,—лязгнул зубами Елтышев,—не хочу помирать.

Вскочил в седло, врос словно. Вскачь до города, духом.

— Дохтура!—гаркнул зычно, влетая в первый домишко с вывеской советской, с серпом и молотом, намалеванным суриком.

— Товарищ, здесь Отсобес.

— Доктора, ястри вас! Сидите в тылу, зажрались, сволочи!

Приволокли ему доктора.

— Стучи!—взревел Елтышев.

Снял рубашку при барышнях канцелярских, при машинистках и делопроизводительшах.

— Стучи, говорю, расстрелять вас тут всех к ядреной бабушке.

Доктор, старичок седенький, вынул молоточки, постучал, язык посмотрел.

— Малярия,— говорит,— и переутомление нервов.

— Чем лечить?—лезет на него Елтышев, наганом поигрывает.

Перепугался доктор.

— Товарищ... успокойтесь... я рецепт напишу... усиленное питание... диэта... абсолютный покой...

Сорвался с места Елтышев, на крыльцо выскочил,—в седло. Видели барышни канцелярские, как дрыгнула ногой лошадь мимо окна, унося всадника. С бумажкой докторской полетел по городу, по упродкомам, райсоюзам, по продовольственным лавкам.

Машет наганом:

— Даешь какалы, даешь масла. Лечи фронтовиков, так вашу, так.

— Дайте хоть ордер написать, стонет упродкомиссар.

— Никаких ордеров! Сказано, немедля. С вашими ордерами сдохнешь, очень просто.

Никак неделю по ложечке какао сыпал в кипяток. Осторожно, словно яд какой принимал, горькую отраву. Сам размешивал, сам на примусе варил, матом покрывая всех докторов и всех канцелярских саботажников.

Сгущенное молоко, масло, яйца,—все это у него принималось размеренно, деловито. Через неделю надоело. Банку с какао выбросил за форточку, масло отдал квартирной хозяйке, гикнул—и полетел назад в отряд.

— Довольно отдыха. Поперли, братва, на фронт. Будя девок деревенских щупать. Скушно здесь.

Знал отряд две песни: „Интернационал" и еще „Смело мы в бой пойдем за власть советов". Запели елтышевцы и двинулись. Прощайте не сказали. Мужиков в отряде ненавидели, презирали.

— Ну, вы, мелкая буржуазея! Вылазь из норы. При овса для коней. Поди по батюшке-царе, да уряднике-богатыре стосковались. У, бороды вшивые!

Отряд знал одно:

— Бей белых! Нужно пройти насквозь все земли и государства, выбить всех буржуев, прихвостней, соглашателей и всю белогвардейскую шпану.

А там не их дело. Наладят коммуну. Словом, будет все честь-честью. Еще знали—с Елтышевым не пропадешь. В какой переплет ни попадали, всегда выпутывались. И стал знаменитым Елтышевский отряд. В дивизию разросся. Гроза. В самые опасные места посылали бойцов отменных. Перебрасывали туда и сюда. Грузились в теплушки, орали песни, поили на станциях коней и снова перли в огонь навстречу пулям:

— Урра-а!

Зато не было елтышевцам ни в чем отказу: ни в обмундировании, ни в фураже. Разбили Колчака. До самого Иркутска перли. Надоело.

— Што мы—санитары, тифозную падаль подбирать?

Ездил Елтышев, ругался, просил, хлопотал. Перебросили на южный фронт. Пощупали врангелевцев, половили дядьку Махно... Не помнит Елтышев, как он очутился в Питере, и как это случилось, что не стало ни одного фронта... и отряд Елтышевский расформировали... И стал Елтышев бродить по Питеру, не зная куда себя девать. Пошел в театр— и там случилась эта история, про которую после в газетах писали: Елтышев сидел в первых рядах, смотрел на сцену и смачно похрустывал семечками. На сцене пели, плясали, грохал оркестр, и Елтышев думал:

„Что же это они революцию не показывают? Раньше были голые бабы и опять голые бабы? Тьфу!"

В это время кто-то тронул его за плечо:

— Перестаньте грызть семечки,—прошипел над его ухом голос.

— Иди к чорту,—буркнул Елтышев, загребая из кармана новую горсть.

— А я вам говорю перестаньте! Здесь не сортир и не советский клуб...

Елтышев оглянулся. Свет со сцены освещал жирное безволосое лицо, узкие глазки, шлепающий рот.

— Будет, пощелкали, теперь вам не восемнадцатый год,—шипел этот рот.

Елтышев задрожал от злобы, дрожащей рукой нащупал наган. По сцене продолжали прыгать балерины, задирая ноги и перегибаясь в три погибели. Елтышев сопел носом и ворочался, как раздразненный кабан. Будь свет,—все испугались бы его лица с передернутой татарской скулой. Но было темно. Зрительный зал дышал и впивался глазами в яркий квадрат сцены. Елтышев оглянулся: сбоку сидела дама с перьями, с огромными грудями, выпиравшими из корсета. Дальше сидел тощий человек с галстучком.

— А-а вот как! Не вос-семнадцатый!—задыхался Елтышев.

— Стой!—крикнул он балерине,—дайте свет!

Соседи испуганно оглянулись. Труба в оркестре потеряла такт. Послышались быстрые шаги билетеров. А балерины все еще раскачивались, скользя друг за другом легкой вереницей.

— Стой, сволочи,—рявкнул еще раз Елтышев,—белогвардейца поймал!

Ухнул в последний раз тромбон, на сцену к балеринам выскочил человек во фраке, бросил невидящий взгляд в темный зал—и снова убежал. Вспыхнул свет. Елтышев одним прыжком перемахнул первый ряд и сцапал за рукав плешивого гражданина. Хлопая встревожено холстиной, упал занавес. Публика повскакала с мест, поднялся рев и гвалт невообразимый.

— Пьяный! Увести его!

— Чорт знает, что такое!

— Пустите!

— Ай!

Вырвался плешивый гражданин.

— Держи,—крикнул Елтышев,—стрелять буду.

Ринулась толпа к выходу. Елтышев выстрелил вверх. На него набросилось сзади несколько военных и билетеров. Отобрали наган.

— Это чорт знает, что такое,—бесился за кулисами режиссер.

— Хамство, изверги! Коммунисты еще называются,—злорадствовал плюшевый партер.

— Здорово! Крой их!—гоготала холщевая галерка.

— К-как он его пустил!

— Смотри, где пуля попала—карниз обколупал...

Спектакль был сорван. Елтышева отдали под суд. За большие заслуги только и уцелел. Заболел с досады. Горячка.

— Окочурится,—решила сиделка, поправляя ночью компресс на голове.

— Таким надо морфий давать, одно беспокойство,—ворчал больной на соседней койке.

Елтышев бредил. Командовал эскадроном, солдатские песни орал. Матерился—сил никаких нет. Все сиделки разбегались. А очухался—сестре тихим голосом о величии красной звезды говорил, о ненависти своей к сытой буржуазии рассказывал, лязгая зубами.

— 36,6,—сказала, стряхивая градусник, сестра,—денька через два может итти на прогулку.

Когда пошел в первый раз Елтышев по мокрым весенним улицам—закачало его.

Ветром, с Невы полыхнувшим талым льдом, дегтем и деревом барок опьянился.

— Добро—сказал. Хотел сделать резкое движение рукой—и пошатнулся.

Сел на гранитном ромбе у набережной. Улыбался, жмурясь. Солнцу лицо подставлял, мурлыкал. Почесывал шею, щетиной густой заросшую. Прошептал, морща берестяное лицо в улыбку:

— На левом флангу—Петропавловка?

— Петропавловка,—ответила, как ребенку, сестра.

Молча оба смотрели на золотой штопор—отражение шпиля в воде.

— Исаакию башку не свернули?—сказал, так же жмурясь.

— Зачем свернули?—удивилась сестра.

— Детдом бы открыть, али клуб гарнизонный. Даром место пропадает.

И почему-то заволновался, встал, заковылял дальше. Вдруг обомлел. Пивная. Витрина рядом, открытие ресторана. Гоп-са-са... Продаются матрацы и кровати...

— Это что же?... Для спектакля, как при буржуях жили?—Неаполитанское трио... Тьфу!

— Да чего вы сердитесь?

— К чорту! Все равно разобьем! Все равно перережем!!

Затопал ногами, закричал, завизжал...

— Извозчик!—крикнула сестра, перепугавшись.

Взвалили, увезли. Уложили снова в постель. Снова длинные шеренги коек, снова сиделки в мягких туфлях и халатах. Старший врач приходил. Пошевелил усами, как рыжий таракан-пруссак.

— Рассказывайте ему о новом Питере... газеты понемногу, с выбором... неделю в постели выдержать...—Прописал брому и ушел.

Открылся с того времени у койки Елтышева политический клуб. Начались споры, разговоры, дискуссии. Сиделка Аннушка—и та разошлась. Феня—на что всегда молчала и молча судна уносила—теперь подбоченилась и шепелявила долго, нескладно:

— Нашшот торговли — оно вольгота... одно слово внешторг... Торгуютъ... Ужасти, как торгуютъ!

Аннушка заслонила Феню широкой спиной, что означало лишение слова:

— Давча у пепы гребешок да на кофточку набрала. Народу, господи!..

..Через месяц выписался Елтышев из больницы. Напялил фронтовую шинелешку—по улицам тенью целый день.

— Смотри-ка,—шептались,—восемнадцатый год.

Тыкали на него пальцем.

Милиционер на углу, палочка у милиционера. Одет по форме. Серьезный. К милиционеру подошел, снял свою папаху, рыжую, козью. Милиционер ничего. Степенный. Не милиционер, а сенатор.

— А ну-кось, примерю,—созоровал Елтышев.

Сдернул милицейский картуз,—себе на голову.

— Размер вам неподходящий,—вежливо заметил милиционер.— Спички у вас есть?

Отступился.

Шел по Невскому, думал:

— Например, война. Елтышевский отряд. Ведь это все было? Колчак... золотопогонники... Штаб... Агитотдел?

И потом отвлекался от мысли.

— Ишь, шоколадой торгует...

— Не угодно ли?

— Пшел прочь!

По Невскому лапша.

— Из пулемета бы—вжж. Ишь, повысыпало. Словно вошь на нестиранной фронтовой рубахе. Простирнуть бы!

Пошел к товарищам старым.

Подъезд. Швейцар. Приемная—дубовая мебель.

— Как доложить?

— Елтышев.

Через минуту:

— Без очереди.

— Ты?

— Я.

Улыбается, щеки отъел. Пиджачная пара в искру. Английское сукно.

— 50% производительности. Совещание трестовиков... ввоз и вывоз... зарплата...

— Теперь мне как: в разбор?

— Зачем! Место определим.

Усмехнулся. Место? Гм... место. Определили. Оклад по разряду, форменно.

— Ладно. Завклуб, так завклуб.

Библиотечку раскопал. Ничего есть книги, подходящие. Квартирка при клубе—разместился бы штаб. Поздно вечером садился на табурете и громко читал, словно эскадроном командовал.

Мы—страсть, мы—сила, мы—движенье...
Мы—буйство хмеля, мы—порыв...
В грозе и буре наши звенья
Сковал могучий коллектив.

Отдавалось гулко в пустой библиотеке:

— А-о. Э-э. И-и.

Раскачивается Елтышев. И тень на стене прыгает, словно скачущий всадник. Перелистывает страницы — и тень на стене словно крылья ветряной мельницы. Скачущий всадник качнулся ближе. Рухнули крылья мельницы. И только эхо блуждает по углам:

— А-о. Э-э. И-и.

В клубе Елтышев хранит в чехле шелковое пятиаршинное знамя. На лето засыпает нафталином. После манифестации просушивает, осматривает бахрому.

— Пригодится еще.

И в окно кулаком, в сторону центра, торговых рядов, ресторанов:

— Будет время—вывески-то посшибаем...

... Елтышев все еще отирает пот на шишковатом лбу, все еще поет Интернационал, шагая тяжелым военным шагом рядом с Варей. Широко раскрывает рот, по-красноармейски далеко отмахивает руку.

— Ать — два! ать — два!

Держит равнение, глаза на знамени. Правей! Выше! Так. Не качать! Складки разгладить! И весело Елтышеву. Чудится — крикнет сейчас команду — пли! и пойдет катавасия. Будут стерты с лица земли торговцы, дамы с перьями, плешивые чиновники и попы. Пушки гукают. Комсомольцы ватагами. Медные раскаты труб.

— Земля,— повернулся Елтышев к Варе.

Варя шевельнула бровями.

— Сок железный течет с окраин. Не забывайте, мол, которые-прочие, что мы хозяева.

Глава пятая.

Сегодня Варя поняла: она не уедет из Питера. Еще поняла, что та веснушчатая, скучная Варя, беседовавшая о любви с Каширцевым, умерла там, в далеком татарском городке. А ей, новой, неожиданной, хотелось как-то расправиться, словно долго лежала в неудобном положении. Так гусеница выползает из кокона. Так брус рождается из мертвого бревна. Пришла и заявила Гавриле:

— Как хотите, а я не еду никуда.

Гаврила всколыхнулся было, потом обмяк:

— Так должно быть.

Даже радость какую-то обрел. Не мог понять: радостно, а неизвестно от чего. Что-то приятное. Докопался. Рад, что Каширцева больше не встретит Варя.

— И правильно,—подумав, произнес.—Нечего вам таскаться взад и вперед. Я буду возить товар, а вы сбыт наладите здесь на месте. Вот и будет у нас торговая компания, синдикат.

И думая о жизни Вари в Питере:

— Комсомольцам этим, что в Пассаже были, не очень доверяйтесь. Грубый народ. Я таких-то видывал...

Варя молчала.

— Ну, что ж. А мне, видно, надо ехать. Не пойму я никак...

— Чего?—спросила Варя, потому что он остановился.

— Как вы ко мне относитесь—не пойму я. Ну, да чего говорить. Эх, Варя! не знаете вы... Хотел бы я для вас что-нибудь такое сделать...

Махнул рукой... Свернулся, на другой день уехал, подсунул под подушку Варе пачку денег из выручки. Варя послала домашним записку:

Милые мама и папа!

Решила остаться пока здесь. Наклевывается работа на заводе „Светлана“. Буду высылать денег. Питер совсем не то, что у нас. Здесь о голоде нет и помину. Над сахарином смеются, говорят это - девятнадцатый год... В Питере прожить день — а у нас полгода... Гаврила передаст вам дальнейший план.

А плана на самом-то деле у Вари никакого не было. Разговор один. Просто решила вот: останусь — и вся недолга. Нравились ей люди, ее окружавшие, нравилась новая жизнь. Об остальном не думала. Этим Варя и брала: смирненькая, тихонькая, как кролик. А потом вдруг возьмет и крендель такой выкинет...

...В клубе заводском Варя сразу освоилась. Приятелей завела. И как-то само собой вышло, что только среди этих вихрастых комсомольцев, среди работниц с лицами заостренными, со строгими глазами было ей хорошо, просто, весело. Об этом особенно Елтышев старался. Он твердил постоянно о классовой вражде. Он постоянно кляя нэп.

Он неустанно разжигал ненависть к „тем", за витринами, в трестах. Он вскакивал, размахивая, как мельница руками, кричал:

— Ненавидеть! Ненавидеть!

И смыкались плотнее клубники, словно готовились к отчаянной схватке. Из работниц „Светланы" особенно сдружились с Варей рослая мужеобразная Трейерова и тихая Руткина. Трейерова—глава дома, семью держит. Муж—инвалид, на заводе обе ноги оторвало. Она не унывает. Боевая баба. На собраниях ругается и шумит. В работе—крута. Бабы посмеиваются:

— Поддубный-то наш опять всех обогнал. Ну и здорова на работу!

Руткина—в противоположность Трейеровой—маленькая, с тихими глазами, спокойным голосом. Что бы ни случилось, она твердит:

— От неучености все, от неучености.

Самая прилежная ученица на вечерних курсах. И всегда мучительно обдумывает какой-нибудь вопрос.

Подойдет незаметно, робко. Глянет ласково и будто извиняется взглядом:

„Простите, мол, что пристаю. Но ведь это важно".

— Скажите, Колотова, как же вот мировая коммуна... И все на разных языках говорят... Эсперанто будет?

И подробно обсуждают обе где-нибудь в уголке клуба, как устранить препятствие в мировой коммуне. Это бывает в антрактах или на репетиции в воскресенье. Обыкновенно вопроса так и не решали. Подбежит Зина:

— Товарищи! Скажите быстро, без запинки:

Ехал грек через реку.
Видит грека: в реке рак.
Грека сунул руку в реку
И рукою рака цап.

Собирается кучка народу и начинают ломать язык о скороговорку. Елтышев после репетиции часто к себе в холостецкую квартирку затаскивал, чаем поил с постным сахаром и маковыми баранками. Повеселеет. Рассказывает долго, грохоча голосищем своим под высоким потолком. Как дорогу перепутал, в деревню, занятую белыми, попал. Как прятался на гумнах и своими руками придушил белого, пришедшего за сеном.

— Пикнуть не успел... А иначе мне бы каюк. После в бабьем сарафане среди бела дня мимо часового—шмыг. Еще этак глазом ему, чуть шельмец целоваться не полез...

После разговор на политику переходил. В Елтышевской квартирке, прихлебывая остывший чай, Варя прошла школу политграмоты. Если Варя спорила с кем-нибудь, она, как самый веский довод приводила:

— Елтышев говорил...

И часто Клавдия, смеясь, замечала:

— Ты даже губы складываешь, как он. Все собезьяничала.

На почетном месте Елтышевской квартиры висела грязная замызганная шинель, рядом седло боевое кавалерийское.

— Фронтовая?—спросила Варя.

Потрогала почтительно грязное сукно.

— Вон и дырка. От пули,—сказал Елтышев, просовывая в простреленную полу палец.

И потом с сожалением:

— Тогда мы крыли. Теперь што—ни в сук, ни в пень. Седло без дела валяется.

Варя осмотрела все углы квартиры, и кавардак, царивший в ней, казался ей каким-то особенным.

„Они живут выше всего этого",—объясняла сама себе. И ей представлялись все квартиры „настоящих" коммунистов—вот такими: паутина и раскрытая книга, неметеный пол и наган под подушкой.

— А обед? Вы сами готовите?

— Как можно! Поваров даржу!

Варя улыбается:

„Даржу"...

Значит простой, не выскочка, не примазался, из гущи, мякинный заварной...

— Хорошо у вас! Икон нет, книг много...

Клавдия насупилась:

— Без икон мало хорошего. Словно анбар...

— Просторнее, без надзирателя,—вступается Елтышев.

— Бог—он в каждом месте. Всюду сущий,—произносит Клавдия, и лицо ее делается тупым, деревянным.

— Ну, у меня ему поживиться нечем.

Глава шестая.

Сунула руку под подушку на другой день после отъезда Гаврилы. Обожгло: деньги. Забыла, что в жертву себя приносила семье, старикам дряхлым отдавала себя на служение. Швырнула деньги на пол. Как крысу стряхнула, гадливо руку отмахнув.

— Почем расценил? Надо было отсюда билет проездной вычесть! Расписку бы взял! Хам!

Потом задумалась.

— Ехала, кормилась за его счет. Хорошо разве? Может, как чорту душу продают, так запродала она тело и задаток получила? Подняла с полу деньги, пощупала пачку.

— Толстая. Хорошую цену положил!

С деньгами в руках по комнате бегала. Ладонь обжигали деньги. Тело казалось заранее опоганенным, обтроганным.

— Не хочу, не хочу!

А сама уже видела себя в руках Гаврилы. Содрогалась вся, сжималась. Потом острая боль: вспомнила о матери, разваривающей бурду,

об отце, как он корку сухую жевал. Старость бессильная — горше увяданья пустоцвета. Ведь было цветение, были надежды и поросль поднялась мощная. А некому поддержать, оградить.

Как сухая куча навозу, теплом своим согревшая змеиную кладку. Расползлись змееныши. Осталась навозная куча догнивать и рассеиваться на ветру... Острая боль прошла. Варя завертелась в крутоверте новой жизни. Первое время все хорошо было. Заметила после—Анна Степановна стала другой. Злые глаза, все про дороговизну Варе рассказывает. Поняла:

„Ведь не вечно же будут кормить они меня".

Елтышев обещал службу достать. А когда это будет? Как нарочно задержалась на заводе получка. Утром не на что было хлеба купить. Клавдия и Зина ушли голодные. Анна Степановна гремела посудой. На Варю и не глядит. Потом словно про себя:

— Где же им двум прокормить семью? Вона сколько ртов-те. Четыре фунта хлеба—не вдосталь.

Варя встала. Колебалась минуту. Вытащила со дна корзины пачку денег.

— Нате. Я совсем забыла... Я же вам должна...

Анна Степановна обомлела.

— Куда же мне все! Отсчитайте, сколько положите...

Снова стало все хорошо. Анна Степановна ухаживала за Варей, называла ее своей дочкой. Елтышев все чаще удерживал Варю у себя. И если они не встречались неделю, то Варе делалось скучно. Сравнивала Елтышева с Гольцовым, с Каширцевым, с Гаврилой. Гольцов— это мякоть гнилая, трухлявое дупло, нарост.

Каширцев—мордой удался, все на морду и ушло. Легкий человек. Гаврила—крепыш, кряж. Маленек да жилист. Только сила противная, та, что теперь наружу выперла: нэп. И который раз повторяла решение:

— Как приедет Гаврила, все скажу начистую. Чего он добивается? Чтó я ему? И деньги его отдам—поступлю вот на службу и выплачу...

Варя занимает ту самую продольную комнату, где ночевала первую ночь. Теперь окна вымыты, отпавшие обои прибиты на гвоздки. Над столиком—картинка, на кровати чистенькое одеяло.

— Привыкла я к вам,—говорит Варя Клавдии,—как родная.

Уселись рядком, дружно так. Присоединилась Зина. Тут как тут Минаев и Кудиенко. Чего-чего только не болталось! Хохот стоял неугомонный. Варя смеялась больше всех и стукало сердце радостью:

„Своя, своя!"

Хотелось расцеловать и Клавдию, и Зину, и смуглое худощавое лицо Минаева, и добродушную широкую мопу Кудиенко. Дни пошли легкие, быстрые, туго набитые встречами, мыслями, переживаниями. Завод обнюхал, оглядел Варю: подходит. И, признав нужной, своей, полной силы, желанья—впитал в себя. Варя вошла в его соки, в его мускулы. Варя сделалась им самим.

Минаев все больше нагружал работой. Елтышев затянул в клубные дела. Кудиенко, Зина в каждой мелочи проявляли дружбу, привязанность. Запнувшись, как первое люблю, сказала Варя:

— Наш Питер...

И отдалась ему вся, без остатка.

Он напитал ее волей. Он влил в нее железные соки, машинную крепость, гранитую прямоту. Минаев, Зина, Кудиенко—друзья. А Елтышев? Он вызывает иногда удивление, восторг. Иногда его жалко... Вчера, например. На клубный спекталь был приглашен большой артист и великий халтурщик Геллеров. Варя видела, как Елтышев вышел навстречу заслуженному артисту. Тот состроил кислую улыбку на жирном обрюзглом лице и сунул, здороваясь, Елтышеву два пальца. Елтышев вскипел. Варя видела, как передернулось и посерело его лицо. И тоже протянул два пальца. Четыре пальца встретились—артиста и завклуба. Заслуженный артист в замешательстве отдернул руку. Все прошло бы благополучно, но молодежь, наблюдавшая эту сцену, фыркнула, загоготала. Геллеров побагровел. Повернулся к двери и ускакал на извозчике в город. Продажа билетов была в разгаре. Потная физиономия кассира мелькала в полукруглом окошечке кассы. Очередь за билетами тянулась до самых дверей.

— Все пропало! Все пропало,—бегает за кулисами Елтышев.

Варе было странно видеть такую растерянность на этом всегда твердом лице.

— Звонок подать, товарищ завклуб? Публики налезло—во!—высунул голову сторож Агапов.

— Идите к чорту со звонками... К чорту!

Минаев подошел к Елтышеву, оттащил его за рукав к сторонке. (Варя Минаева настрочила.) Елтышев утих и перестал размахивать руками.

— Плевать нам на артиста,—спокойно говорил Минаев,—сыграем и без него. Я эту роль наизусть знаю. Плохо, а проведу.

Вывесили аншлаг:

„Заслуженного артиста Геллерова заменит незаслуженный артист Минаев. Половина валового сбора, которая пошла бы в уплату заслуженному артисту отчисляется в кассу РКСМ".

Аншлаг облепили любопытные.

— Как же так? Говорили—Геллеров...

— Половину сбора! Ничего себе, загибают артистики!

— Заслуженный! Барахла-то!

— Васька-то, Васька-то Минаев? А?

Хохотали, строили догадки, спорили. Места были распроданы все до одного. Спектакль сошел благополучно... Папиросный дым в опустевшем зале, у выходных дверей—клочья разорванных билетов. Агапов гремит стульями, щеткой заметает окурки. В уборной артистов—ворох париков и костюмов. Минаева качают.

— Го-х! Го-х!

У всех подмазаны глаза, лбы лоснятся от вазелина, волосы склеены лаком, взъерошены париком.

— Го-х! Го-х!

— Выше его! Заслуженный артист Минаев!

— Здорово! Браво!

— На пол не уроните! Черти!

Кудиенко старается больше всех... И они ушли. Тихо. Бродит старик Агапов среди развороченных стульев, среди полотняных лесов и рек.

— Товарищ Агапов, можете итти. Ключи у меня. Завтра в десять.

Тишь. В клубе двое: Елтышев и Варя. Она обещала помочь разобрать реквизит.

— Спать, поди, хочется?

— Ни в одном глазу.

— Ух!—Елтышев упал в дырявое театральное кресло, предназначенное для... „богатой комнаты".—Забегался.

Варя смотрит светло, смеется глазами.

— Устали?—спрашивают глаза.

— С вами—нет.—отвечает его взгляд, встречаясь.

Когда вместе наклонялись над пестрыми тряпками, вместе взбирались по шатким ступеням на сцену—у Вари кружилась голова.

„Лучше всех, лучше всех,—мысленно кричала она Елтышеву.— Я счастлива тебе помогать, новому человеку, пришедшему переделывать мир в простых делах, в малом, шаг за шагом".

Это то, чего не умела Варя. Теперь она понимала, что и в детдоме можно было вести большую работу. Весь вопрос—как подойти. Он одинаково горячо дрался во главе отряда и спорил на репетициях с режиссером. И там и здесь он был коммунистом, той загадочной породой людей, которая повергает в трепет американских миллиардеров и приводит в бешенство французских буржуа.

— Я люблю ваше дело,—сказала она.

— Мне одному очень трудно справляться,—отозвался он.

Их голоса так глухо дернулись в пустом зале клуба. Они не пытались снова заговорить. Варя думала о том, что хотела бы облегчить ему работу, поддержать его. Ведь в клубе выковываются сотни новых людей. Ведь тот же Минаев—вырос здесь. Подрагивали лампочки, затериваясь в пыльных декорациях. Чуть колыхался опущенный занавес с дырками для глаз, с проступившей местами краской. Оба молчали. Но как это случилось, что Варя запнулась за палку, прикрепленную к боковой декорации снизу? Как это случилось, что он ее поддержал? И чьи губы первые протянулись—его или ее?.. Этого Варя не помнила. Когда он провожал ее домой, было далеко за полночь. Спало предместье. Сиротливо краснел огонек над воротами завода. Небо загустело звездами. Был августовский звездопад.

(Окончание следует.)

На родине.

А. Сахарову.

Я посетил родимые места,
Ту сельщину, где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.
Как много изменилось там
В их мирном неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом не мог я распознать;
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.
Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность.
Какая незнакомая мне местность.
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы высокий, серый камень,—
Здесь кладбище.
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
„Прохожий! Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?“
— Татьяна? Гм... Да вон за той избой!
А ты ей что? Сродни?
Аль, может, сын пропащий?
„Да, сын, но что, старик, с тобой?

Скажи мне:
Отчего ты так глядишь скорбяще?"

— Добрó, мой внук,
Добрó, что не узнал ты деда.
„Ах, дедушка, ужели это ты?"

И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

. . . .

— Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто... скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться.—
Он говорит, а сам все морщит лоб.
— Да... время!..
Ты не коммунист?
„Нет".
— А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки.
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам —
Может пригодится...
Пойдем домой—ты все увидишь сам.

И мы идем, топча межой кукольни,
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

. . . .

„Здорово, мать! Здорово!"
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.
На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя,—
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи... Женщина с ребенком,
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край! Не тот ты стал, не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир... люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.
„Ну, говори, сестра“...

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как библию, пузатый „Капитал“,
О Марксе, Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно, как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Сергей Есенин.

Памяти Ширяевца.

Мы теперь уходим понемногу,
В ту страну, где тишь и благодать,
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь!

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь,
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь...

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле...
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

Сергей Есенин.

Отрывок из поэмы „Гуляй поле".

(О Ленине).

...И вот он умер, плач досаден,
Не славят музы голос бед,
Из медно-лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет...

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь: Ленин умер,
Их смерть к тоске не привела...

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Сергей Есенин.

* * *

Всплеск удивленья, трепет вдохновенья
Рассудком вылудил железной хватки век;
Людей по цехам этот век рассек—
И вместо задушевного волненья
Профессией повеял человек.

Придет пора и, может быть, остудит
Последки вдохновения у нас,
Житейской сметкою его, как бред, осудит,
И каждый каждого встречать охотней будет
По знакам вывесок, чем по сиянью глаз.

Жизнь и теперь у вывесок в затменьи:
Коснется Мозер иль Буре зрачков,
И, позабыв о грезах, о влюбленьи,
У часового мастера в сердцебиеньи
Мы склонны слышать только бой часов.

И не опомнимся, не взропщем и не взыщем:
О, неужель для винтиков, гвоздков,
Которых и глазами-то не сыщем,
Мы рождены вот с этим даром слов,
С лицом, сияющим сознательным величьем,
И с пышным именем властителей миров.

И кривды вывесок знать в именах не чаем,
Гордимся духа творческим лучом
Средь косных звезд—и нет, не замечаем,
Как унижением свой мудрый род сечем,
Что человека кличем Ильичом,
А чуть звезда—Сатурном величаем.

И, может быть, на косность звездных вех
И мы вступили: трепет вдохновенья
Рассудком вылудил железной хватки век,
Людей по цехам этот век рассек,
И вместо задушевного волненья
Профессией повеял человек.

Василий Казин.

---

* * *

Н. Г.

Вот далекий, давний путь Ростова
Поездом примчал твои глаза,
И не только сам, восторгом снова
Дрогнул и московский мой вокзал.

Словно там, в глазах, взгорался поро :—
Так и порывалась взглядом их...
И пошла, взлучая черный всполох,
Чаровать знакомых и чужих.

Даже и приказчик магазина
Облик свой прилавочный терял
И твое простое имя Нина,
Услыхав, невольно повторял.

Черный всполох глаз и это имя!
И в своих глазах я сам редел...
Мнилось, что твоими же, твоими
На тебя глазами я глядел.

Теребил ли день в житейском рвеньи,
Иль склонялся ночи тихий час—
Так вот и ворочалась в моем виденьи
Всполохом прекрасных черных глаз.

Были нежны помыслы и грубы:
Длить восторг иль тело обнажа...
И теснились пьяной тягой губы,
Слитной завистью дрожа.

Вдруг твои глаза назад метнулись,
И, как я, готовый загрустить,
Каждый угол переулков, улиц
Их просил подольше погостить.

И просила каждая витрина:
— Милая, помедли, погляди.
А в груди-то у меня, в груди
Так и колотилось:—Нина, Нина,
Нина, Нина, погоди.

Погоди: в волненьи вдохновенном,
Под прекрасный черный всполох глаз,
Эх, о самом, самом сокровенном
Я б тебе поведал свой рассказ.

Но далекий, давний путь Ростова
Поездом умчал твои глаза.
Дрогнул сам прощальной дрожью слова,
Дрогнул и московский мой вокзал.

Василий Казин.

* * *

Г. Санникову.

Проверенная что часы
И, как часы, заведенная в вечность,
Гудит от звезд до утренней росы,
Гудит земля тяжелым шагом человечьим.
И отданы: ночам звезда
И крылья дням, чтоб уплывали птицами.
А нам даны: жестокая страда
И радость, что ночами только снится.

И верные даны глаза,
Чтоб не глядеть глазам назад.
И черная цветет трава
На буйных крепких головах.
И руки наши — соль земли,
Травою рыжей поросли.
И ноги. Пара крепких ног:
Им позавидовал бы бог!
Даны еще крутые лбы,
Чтоб лбами стены прошибить.

Так, волосатые, как звери,
Дубы из сказочных лесов,
Идем мы (древнее поверье)
Добыть закованные двери.

Но стерегут их сторожа.
На много видит жадный взор их,
И кровь поет им о ножах
Задолго до недоброй ссоры.
И злые птицы стерегут,
И ветер там ночами носит:

Песок сухой на берегу,
Сухие человечьи кости.
И стерегут их злые льды
Неведомых материков нам,
Тяжелые, стальные бревна,
Холодный блеск звезды.

Да. . . . .
Не дано еще нам знать,
Какие грозы ночевать
Войдут в тоскующее сердце!
. . . . . . Но будет:

Жар неугомонной крови
Взметет нас на седые льды,
Мы вспомним боль былых обид
И хлынет внукам в изголовье
Гора растопленной воды.

И будет праздник человечий
Костями нашими воспет
И нашим именем отмечен.

Мы любим кровь и пот наш любим,
И любо о земле нам петь
И нет милей нам, чем голубить
Мозоли нашей кожи грубой,
Как весть о радостной судьбе.

Но чуем: в днях, пропахших злобой,
И в днях, ползущих как трава,
Мы чуем горькие слова.
Они, как занесенный обух,
Висят над нами в головах.
И горше нет,
Нет злее снов.
И нет мучительней для человека,
На грани сказочного века
Узнать в обличьи громких слов
Лицо больного человека.

А. Ясный.

Марфушкина песня.

Что ты плачешь, маменька,
Плачешь день и ночь?
Я ль тебя прогневала,
Маменькина дочь?

Я ли да у маменьки,
Как в ночи луна,
Как луна высокая
И всего одна.

Лен ли я не выпряла,
Не соткала стан?
Я ль дружка упрятала
От тебя в чулан?

Спрятала, растрогала,
Довела до слез —
Много слез у маменьки,
А у ночки звезд.

Уж ты, дочка маленька,
Тятенькина дочь,
Чего плачет маменька,
Не тебе помочь.

Дочка ты у тятеньки,
Как в ночи луна...
Дочка чернокосая,
И всего одна.

Ты и лен-то выпряла,
И доткала стан,
И дружка не прятала
От отца в чулан.

Твой дружок с позиции
Нам письмо привез:
Много слез у маменьки,
А у ночки звезд.

С. Клычков.

* * *

Пусть свалюсь в кладбищенскую яму,
К берегам безвестным уплыву,
Но вцеплюсь звериными зубами
В жизнь, в судьбу, и в солнце и в траву!

Ведь у девушек и кровь лучится!
А глаза—весенний день в степи!
Не затем и я такой плечистый,
Чтоб свое отдать и уступить!

Звонче бейся, разыграйся, сердце,
Отдохнешь в свой срок, в свой час!
Пусть сегодня будем погорельцы,
Завтра счастье заголубит нас!

Перезванивайте, дни, ветрами!
Хороводом закружись, года!
А потом—в кладбищенскую яму,
В гости—навсегда!

Александр Ширяевец.

* * *

Снова путь убегает и стелется
Мимо серых твердынь избяных.
Снова низко мне кланялись мельницы,
И опять загляделся на них.

С поля песня неслась сенокосная,—
Да уйти ли от песни такой!
Пахло ситцем, полями, березками,
И навозом, и русской тоской.

Сам не знаю с чего разрумянился,
И кого захотелось обнять?
Снова кланялся, низко я кланялся,
А кому—не сказать, не понять!

Александр Ширяевец.

* * *

Можно снам и верить, и не верить,
Но бывает часто—в руку сон.
Или примешь горькую отраву,
Или счастьем будешь полонен.

То ли кровь спросонок распалится,
То ли сердце свяжется с землей,
Только вдруг на утро небылица
Обернется явью огневой.

Так приснилось: будто в самом деле
Я спешу на очень важный суд.
Дули ветры, яблони шумели,
Путь лежал не долог и не крут.

Судьи ждали за столом зеленым.
Я вошел—ни комната, ни сад.
Ни кресты, ни светлые погоны,
Очи судей вкруг меня горят.

Сел я тихо на скамью, на пень ли,
А зачем—не вспомнить, не постичь.
Прямо в ухо ножницы запели,—
Мне понятно: решено остричь!

Я острижен, и хохочут судьи.
Я потрогал голову и—ах!
Неужели так всегда и будет:
Плешь, и рядом—клочья на ушах?

Все хохочут, а мне стыдно, стыдно.
Нахлобучил шапку и стою.
А проснулся—надо в суд, и видно:
Опозорят голову мою!

Можно снам и верить, и не верить,
Но бывает часто—в руку сон.
Или примешь горькую потерю,
Или счастьем будешь полонен.

Петр Орешин.

Творчество.

Струится осенью и медом липа,
Лесник, как золото, опустит кладь,
Чтоб поутру рубанка жадным всхлипом
Душистый локон стружки завивать.

Прилипнет к телу потному рубаха,
Кряжами мускулы—как весла, не спеша,
Медвяные выстругивают плахи,
По линиям карандаша.

Стальной осой озлобленно и жестко
Жужжит пила, и жалит, жалит тес,
И первые, еще живые, доски
Обнюхивает остроухий пес.

Дымят леса—они лежат на листьях,
А пес ворчит за новое добро,
Пока тяжелые рябиновые кисти
Вдруг по заре не хватит серебром.

Тогда их белое лебяжье мясо
Сечет резец, напитывает чан,
И молоток проходит бойким плясом
По цепким, как коренья, обручам.

И каждую дощечку обруч душит—
Они смиряются, как верные рабы,
В замшелой клети звонкие кадушки,
Где преют острые и скользкие грибы.

Все, что с земли снесли сюда лукошки,
В еловом сумраке, что встретило ружье,
Не разнесет от клюквы и морошки,
Лосиной кровью стенок не прожжет.

А я—поэт... И мне ль теперь не думать,
Как бы рубанком сердце обстрогать
Притон—и щебета и радостного шума,
И безрассудства—липовую рать.

Ворваться строю пилою мысли,
Пилить, строгать, в усталости стихать,
Чтоб закрепить все имена и числа
Железным обручем суровою стиха.

Ни ставить никогда наверно точку,
За ней другая—также хороша!
Пускай за каждую написанную строчку
Ворчит, как пес, ревнивая душа.

Пусть будет нам, неугомонный Пушкин,
Благословенны потные труды!
Тогда из каждой липовой кадушки
Пахнут роскошные и пряные плоды.

Ник. Зарудин.

Г. С. Хрусталев-Носарь.

(Опыт политической биографии).

Дм. Сверчков.

(Окончание).

VI. Мы и Хрусталев.

3 июня 1906 года Г. Хрусталев-Носарь и т. Л. Д. Троцкий с большими предосторожностями ночью были перевезены из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения и увиделись с нами. Мы уже имели на руках обвинительные акты и знали о недостойном поведении Носаря.

На общей прогулке члены Исполнительного Комитета Совета устроили совещание и решили в письменной форме потребовать от Носаря отказа на суде от данных им показаний и предложить ему присоединиться к нашей революционной тактике под угрозой резкого отмежевания от него на суде всех без исключения привлеченных к суду по делу Совета. Написать такое письмо поручили членам председательского бюро Совета: Л. Д. Троцкому, П. А. Злыдневу и мне. Мы, т.-е., вернее, т. Троцкий написал, а мы лишь подписали письмо Хрусталеву и копию его послали в Ц. К. партии для характеристики Носаря и нашего к нему отношения. Хрусталев ответил нам письмом же, в котором принимал все пред'явленные к нему требования и об'яснял свои показания «нервной развинченностью». Тем не менее, мы совершенно отдалили от себя Носаря.

Получив общие прогулки и свидания с защитниками после вручения нам обвинительного акта, мы задумали написать историю Совета и распределили между собою темы. Написанные статьи прочитывались авторами в редакционной коллегии, состоявшей из всех участников сборника. Больше всего нам пришлось повозиться со статьей Хрусталева-Носаря, который, вопреки всему, настойчиво хотел выставить себя создателем Петербургского Совета Рабочих Депутатов. Некоторые места его статьи переделывались по нашему требованию по нескольку раз, но, тем не менее, он, вопреки нашей цензуре, все-таки сдал в печать такое описание возникновения Совета:

«Стачечная революция родила Совет... Московский Совет Депутатов от литографских рабочих при этом не был забыт (Хрусталев-Носарь принимал

какое-то участие в забастовке печатников в конце сентября 1905 г. в Москве и при помощи Московского союза пробрался в Петербургский союз рабочих печатного дела. *Д. С.)*. 12 октября на митинге в Технологическом институте м н о ю излагается история сентябрьских дней и роль в них Московского Совета. В рабочую массу б р о с а е т с я призыв—выбирать в рабочий совет депутатов. Присутствовавшие на митинге в большинстве рабочие Московской заставы уже 13 октября производят выборы депутатов в Совет (курсив мой. *Д. С.)*. 13 октября Петербургская группа Р. С.-Д. Р. П. дает своим агитаторам директиву—агитировать за избрание в рабочий Совет и выбранных направлять в Технологический институт»...

Это изложение оставляет совершенно неверное впечатление, которого и добивался Хрусталев-Носарь. «М н о ю» излагается роль Московского Совета (типо-литографских рабочих), и в массы «б р о с а е т с я» призыв—выбирать в Совет... А на следующий день с.-д. уже дают задание агитировать за избрание в Совет депутатов от рабочих...

Может быть, Хрусталев-Носарь и говорил на митинге 12 октября о Московской забастовке печатников, но ни в какую связь с организацией Совета Рабочих Депутатов его доклад поставить нельзя, и его изложение является, может быть, не лишенной известной ловкости, но подтасовкой, и его доклад не играл ровно никакой роли в решении Петербургской организации с.-д. призвать рабочих к выборам в Совет, вынесенном раньше Хрусталевского доклада.

В дальнейшем Хрусталев-Носарь еще раз подчеркивает свою роль в названии Совета: «17 октября вышел первый номер «Известий Совета Рабочих Депутатов». И с этого дня октября массовое представительство рабочих получило свое имя. До 17 октября Совет называли стачечным комитетом, рабочим союзом и т. д. С 17 октября руководящий орган пролетариата называется «Советом Рабочих Депутатов». Название это было дано отчасти под воспоминанием сентябрьских дней в Москве (опять! Д. С.). Когда 17 октября наши товарищи приступили к набору первого советского листка и спрашивали, как его озаглавить, я им ответил: «Известиями Совета Рабочих Депутатов».

Если, дескать, не родил, то хоть в крещении принимал участие!

Впоследствии Хрусталев-Носарь придумал еще новую версию создания Совета. В письме, обращенном к т. Л. Д. Троцкому и опубликованному в № 13538 «Биржевых Ведомостей», Хрусталев заявил следующее:

«...Я и мои ближайшие друзья-рабочие создали Совет Рабочих Депутатов. Официальная социал-демократия не принимала в его создании никакого участия. Генезис Совета относится к стачечному комитету, образованному нами 9 января и председателем которого я состоял вплоть до моего ареста, к организационным выступлениям по проведению комиссии Шидловского, к собраниям рабочих, организованным мною летом 1905 года на Удельной».

Только и не хватало вывести родословную Совета от Милюкова, ибо по поручению Милюкова и «кадетской» партии Хрусталев собирал рабочих на Удельной, пытаясь завербовать в рабочей среде сторонников «Союзу Освобождения»!

Нечего и говорить, что эти утверждения Хрусталева являются сплошной выдумкой, появившейся на свет в порыве свободного полета хрусталевской фантазии и не требующей даже опровержения. В частности, решительно никто не знает и не знал о существовании какого-то постоянного стачечного комитета, образованного после 9 января. Такого комитета не было...

Желание всюду и везде выставлять себя на первый план, совершенно не соответствовавшее внутреннему содержанию Хрусталева-Носаря, и его предательское поведение по отношению к Совету, как к организации, и к отдельным лицам на жандармских допросах, где он давал подробные показания, совершенно, как я уже говорил, отдалили его от нашей среды. Впоследствии, когда он бежал из ссылки, заявив, что хочет принять самое активное участие в высших руководящих органах партии, все осужденные члены с.-д. партии отправили из Обдорска в Центральный Комитет партии заявление за своими подписями о том, что «по своим политическим и моральным качествам Хрусталев-Носарь ни в коем случае не может занимать никакого ответственного поста в социал-демократической партии». Наше это письмо было получено за границей, но особой роли не сыграло, ибо облик Хрусталева-Носаря был к этому времени ясен решительно всем партийным руководителям.

В начале января 1906 г. мы, осужденные по делу Совета в ссылку на поселение с лишением всех прав состояния, приехали в Березов. В этом городе удалось задержаться т. Троцкому—по фиктивной болезни, Хрусталеву и мне—в ожидании выехавших вслед наших жен.

Л. Д. Троцкий быстро скрылся с сибирского горизонта за границу. После его побега мне пришлось ехать в место назначения—в Обдорск. Хрусталев-Носарь—по болезни—остался еще в Березове.

В то время назначенных в административную ссылку в Березовский уезд политических ссыльных всех везли в Березов, откуда уже распределяли по деревням и селам. В результате распределения многим приходилось возвращаться южнее, где были расположены назначенные им места жительства. Политические ссыльные, жившие в Березове, организовали для Хрусталева-Носаря «сменку» с одним из административных, назначенных к путешествию на юг. «Сменку» эту тем легче было сделать, что партии отправлялись обычно вечером и принимались конвоем счетом, без личной проверки.

Мне впоследствии рассказывали те, кто принимал участие в устройстве побега Хрусталеву, что он обнаружил при от'езде такую непомерную трусость, что поставил всех в совершенное недоумение. Он отказывался ехать, говорил о грозящем ему наказании в случае обнаружения побега, ссылался на недостаточную организованность от'езда и т. д. Его буквально чуть не насильно посадили в сани и отправили с партией.

В дальнейшем все обошлось благополучно, Носарь прибыл за границу и там рассказывал о трудности своего побега, о связанных с ним опасностях и о своем геройстве...

За границу Хрусталев-Носарь явился как раз к Лондонскому партийному с'езду. Он ожидал, что ему немедленно будет предложена самая высокая роль

в революционном движении, ошибся в этом и — порвал всякую связь с социал-демократией, ибо держался за нее лишь постольку, поскольку это способствовало его карьере.

VII. Носарь—эмигрант.

В конце 1907 г., бежав из Обдорска, я приехал в Париж. Я застал Хрусталева-Носаря за организацией русской группы синдикалистов. Он читал рефераты, наполненные злопыхательством по адресу социал-демократии, суетился и доказывал, что синдикализм это—единственно здоровое течение во всем рабочем движении, вербовал себе сторонников. Средой для создания синдикалистской организации должна была служить все та же русская эмигрантская масса. Однако все наиболее активное и сознательное из этой массы принадлежало к той или иной революционной партии. Оставались—блуждающие одиночки, опустившиеся люди, подозрительные типы, которые и составили свиту Носаря, слушая его поучения и выпивая на его счет в парижских кафе, куда он собирал их для вразумления... Из этой среды и вышел потом тип, обвинивший Хрусталева-Носаря перед французским судом в краже у него часов и грязного белья.

Каковы были мотивы, двигавшие Носарем при пропагандировании синдикализма? На этот вопрос может быть только один ответ: в России не было вовсе синдикалистов; создавая такую организацию, Хрусталев работал на целине и, в случае успеха, надеялся явиться первым и главным деятелем этого течения. Что это так, можно судить уже по тому, что, провалившись на синдикализме, Хрусталев в эпоху увлечения богоискательством начал читать рефераты и об этом, выставляя опять-таки свою собственную теорию религиозных стремлений, присущих русскому народу. Прошла пора богоискательства, и Носарь забыл бесповоротно свои рассуждения на эту тему, которые опять-таки были ему нужны только, чтобы быть среди первых и уловить волну, которая—чем чорт не шутит—вновь вынесла бы его на гребень широкого общественного движения (безразлично — синдикалистского, богоискательского или какого-либо другого). Он хватался и за литературу, издавая газету «Парижский Вестник».

Впоследствии, в своей речи на суде в 1916 г., Хрусталев-Носарь заявлял: «Не зная совсем честолюбия, подсудимый (т.-е. Носарь) в период своей общественной деятельности никогда не выпячивал груди колесом, не домогался общественного внимания и чуждался, как проказы, рекламы»...

Страдающие манией величия, кажется, действительно бывают глубоко убеждены, что скромнее их нет никого на свете!

Окруженный всякими сомнительными личностями из эмигрантской среды, Хрусталев-Носарь потерял последнее чувство границы между дозволенным и нечестным. В кругах не только партийной эмиграции, но и французской интеллигенции начали ходить рассказы о целых историях, изобретенных Носарем для того, чтобы раздобыться чужими деньгами. Фигурировали фальшивые векселя, займы под несуществующую контору, получение денег для

издания несуществовавших документов, долженствующих скомпрометировать русское царское правительство и помешать ему заключить во Франции заем... Лица, поплатившиеся благодаря своему доверию к Носарю, не хотели обращаться к судебной власти, ибо, конечно, «клиентов» Носарь искал среди людей, сочувствовавших русской революции и видевших в Носаре так или иначе фигуру, имя которой связано с октябрьскими днями 1905 года, и понимавших, что опорочение Носаря будет подхвачено всей черносотенной прессой в целях опорочения революции...

В начале 1910 года я уехал для нелегальной работы в Россию, попал в тюрьму—и о Носаре совершенно неожиданно услышал только в 1913 году, когда прочитал в газетах телеграмму с сообщением о том, что он арестован в Париже по обвинению в краже.

Весть о сенсационном происшествии с Хрусталевым была подхвачена всеми черносотенными и буржуазными газетами, увидевшими в этом повод к тому, чтобы облить грязью революцию и рабочий класс.

«Пошла писать губерния»!.. «Новое Время», «Речь», «Русское Знамя»... К делу руку приложил и Дорошевич, написавший по этому поводу пасквиль на русскую революцию в «Русском Слове»... Словом, «все промелькнули перед нами, все побывали тут»...

С целью дать правильное об'яснение происшедшему т. Л. Д. Троцкий поместил в издававшейся тогда социал-демократической газете «Луч» (№ 67 от 21 марта 1913 года) следующую статью:

Хрусталев.

Многих русских рабочих поразит своей трагической неожиданностью весть о том, что Хрусталев, бывший председатель Петербургского Совета Рабочих Депутатов, арестован парижской полицией за воровство.

И они должны сами перед собой поставить вопрос: как могло это случиться? Что означает арест Хрусталева? Как связать его роль в 1905 году с его жалким концом?

Имя Хрусталева в ноябре 1905 г. приобрело колоссальную популярность. Оно повторялось во всех газетах и на всех перекрестках. Огромная политическая инициатива, проявленная Петербургским Рабочим Советом, его энергия, решимость, его авторитет в массах, — все это сразу встало перед пробужденным российским обывателем, как таинственная загадка. «Кто это у них там командует?» спросил себя обыватель, привыкший к мысли, что все на этом свете делается по команде,—и буржуазные газеты в один голос ответили ему: Хрусталев.

До образования Совета Георгий Носарь—таково подлинное имя Хрусталева—был беспартийным левым, из молодых адвокатов. К социал-демократии относился недружелюбно, с рабочим движением сталкивался только тогда, когда оно выходило временно на открытую арену, как в комиссии сенатора Шидловского (февраль 1905 г.). В председатели Совета Хрусталев был выбран на втором заседании. Главным доводом за него была его беспартийность. В Совет, который создавался, главным образом, усилиями меньшевиков, вхо-

дили также большевики, социалисты-революционеры и беспартийные. Партийный председатель—в ту первую эпоху, когда Совет только создавался—породил бы сразу партийные и фракционные трения.

Без самостоятельной точки зрения, без социалистического образования, довольно посредственный оратор, Хрусталев проявил большую энергию, находчивость и практический смысл. В глазах широких рабочих масс, которые сами с восторгом и изумлением смотрели на свое собственное создание, Хрусталев выступал, как организованное средоточие их собственной силы. Но наиболее сознательные рабочие, составлявшие исполнительный комитет, точно так же, как и интеллигенты — представители социалистических партий, чувствовали в нем чужака, пришельца, человека, внутренно не связанного с делом социализма. В исполнительном комитете Совета социал-демократы окружили Хрусталева надежным конвоем. Сознавая свою полную политическую беспомощность, Хрусталев покорно шел навстречу всем предложениям, вносившимся представителями социал-демократии, а вскоре, считаясь с ее растущим влиянием в Совете, и сам об'явил себя социал-демократом. Хрусталев светил двойным светом: партии и массы. Но и тот, и другой свет был отраженным, т.-е. чужим. Собственный рост Хрусталева совершенно не соответствовал ни той внешней роли, которую ему пришлось сыграть, ни—еще менее—той легендарной популярности, какую ему доставила буржуазная пресса

В эмиграции это скоро обнаружилось. В развертывавшейся за границей идейной борьбе, хотя и осложненной подчас до неузнаваемости кружковщиной, шла все же важная работа оценки опыта, подведения итогов и определения дальнейшего пути. К этой работе Хрусталев был совершенно не подготовлен. В нем сразу обнаружилось полное отсутствие как политической, так и нравственной устойчивости. Ему не хватало ни той дисциплины мысли, какая дается теорией, ни той дисциплины характера, какая дается партией. Он сразу почувствовал себя не у дел, стал метаться из стороны в сторону, выступил из социал-демократии, где не надеялся добиться влияния, об'явил себя синдикалистом и в то же время ярко стал проявлять оборотную сторону своего авантюристского темперамента — в разных темных операциях финансового характера. Это окончательно отрезало его от политической эмиграции. Он сам потерял всякое уважение к себе, опускался все ниже и ниже, и—может быть, с рассудком, наполовину помутившимся от головокружительных превратностей судьбы—кончил воровством...

Личная судьба Георгия Носаря глубоко трагична. История раздавила этого нравственно-нестойкого человека, взвалив на него тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и... разбился сам.

Несчастному Носарю рабочие не откажут в сочувствии. Но о разрушении легенды Хрусталева они жалеть не станут. Подводя свои итоги эпизоду хрусталевщины, они скажут твердо и четко:

«Одной иллюзией меньше, одним опытом больше. Теснее ряды и—вперед».

Н. Троцкий.

Через месяц жизнь подарила всех еще бо́льшей сенсацией. В черносотенной полуправительственной петербургской газете «Новое Время» появилось письмо Хрусталева-Носаря. Содержание письма и факт помещения его Носарем именно в «Новом Времени», которым брезговали даже писатели из либеральных правых кругов, показали воочию глубину падения Носаря.

«Новое Время»—в № 13326—любезно предоставило свои страницы небывалому гостю из революционного лагеря и напечатало письмо, снабдив его таким редакционным примечанием:

«Мы печатаем письмо Хрусталева-Носаря, как показатель, во что выродилась наша «революция». Самое любопытное—признание, что «товарищеская» эмиграция состоит на 95% из евреев и что среди этого кагала плохо приходится даже тем русским, которые намечались в Робеспьеры русской революции».

Письмо Хрусталева в «Новое Время» начинается словами:

«М. г. Я апеллирую к лойяльности вашей газеты и прошу предоставить мне столбцы «Нового Времени» для защиты моей чести».

Всего письма приводить нет никакой возможности. В нем Хрусталев рассказывает историю обвинения его некиим Циммерманом в краже двух рубашек и часов. Французский суд, разобравший это дело, присудил Хрусталева—по собственному его признанию в цитируемом письме—к месячному условному тюремному заключению за невозвращение часов Циммерману и неуказание по требованию суда лица, у которого они находятся. Между прочим, в письме Хрусталев говорит: «Четыре года назад я вышел из рядов социал-демократической партии вследствие моего расхождения с программой и тактикой партии, о чем я и сообщил в мотивированном письме центральному комитету». Впоследствии Хрусталев официально утверждал, что он никогда не был членом с.-д. партии.

Вслед за помещением письма в «Новом Времени» Хрусталев осчастливил своим сотрудничеством еще одну бульварную газетку Петербурга—«Биржевые Ведомости», напечатав в ней «Гласное обращение к Троцкому» по поводу уже приведенной мною статьи т. Троцкого в «Луче». От т. Троцкого он требовал в «десятидневный срок» указать, когда и с кем Хрусталев занимался темными финансовыми операциями, и — попутно — бросал целый ряд обвинений по адресу как партии, так и отдельных партийных работников.

Тов. Л. Д. Троцкий поместил в том же «Луче» (№ 111) и в «Киевской Мысли» (16 мая 1913 г.) следующую статью:

К ликвидации легенды.

(Письмо в редакцию).

В № 67 «Луча» я дал краткую характеристику Хрусталева, которая заканчивалась словами: «Личная судьба Георгия Носаря глубоко трагична. История раздавила этого нравственно-нестойкого человека, взвалив на него

тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и... разбился сам. Несчастному Носарю рабочие не откажут в сочувствии. Но о разрушении легенды Хрусталева они жалеть не станут»... Цель моей статьи была: облегчить русским рабочим понимание страшного нравственного падения этого человека, сыгравшего в известный момент если не серьезную, то яркую роль в русском рабочем движении. И вот теперь Хрусталев требует меня за мою статью к ответу. Он требует, чтобы я указал ему, «когда, с кем и какими темными финансовыми операциями он занимался».

В этой области я ничего не могу прибавить к тем, совершенно точным «указаниям», которые давались Хрусталеву не раз и на которые он, по совершенно понятным причинам, давно перестал реагировать.

В своей статье я не перечислял поименно «темных дел» Хрусталева—по мотивам, которых нет надобности более точно определять. Но после того формальное требование Хрусталева уже было удовлетворено в русской печати. «Часы Циммермана,—писал парижский корреспондент «Киевской Мысли», г. А. Воронов (№ 126),—маленькая деталь, пустяки по сравнению с подложными векселями на имя г-жи Скаржинской, с растратой эмигрантских денег, с займами под несуществующую адвокатскую контору и т. д. и т. д.».

Вытесненный естественной логикой вещей из среды людей не только идейных, но и просто опрятных, Хрусталев не только не привел в исполнение данного им три года тому назад обязательства привлечь обвинителей «за клевету», но и давно прекратил всякие вообще попытки в целях своей реабилитации. И только теперь, когда гласное судебное разбирательство в Париже, затронувшее случайно вырванный мелкий эпизод из жизни Хрусталева, выбросило, после большого промежутка, имя его на поверхность и снова сделало его на миг предметом острого любопытства улицы, Хрусталев собрал последние остатки своей духовной энергии и судорожно заметался в стремлении сделать бывшее не бывшим и не бывшее бывшим.

Тягостная картина! Толкаемый нерассуждающим инстинктом самосохранения, Хрусталев случайно ухватился — в качестве точки отправления— за мою статью, которая, как показывает приведенная выше цитата, не обличала и, разумеется, не шельмовала, а об'ясняла его, рассматривая его самого скорее как жертву, чем как виновника собственной злосчастной судьбы. В своем ко мне «гласном обращении» Хрусталев не только отвергает факты, которых я не называл по имени, но которые тем не менее имели место; нет, он пытается на всех и на все по пути набросить сеть сумбурных инсинуаций: на политическую эмиграцию, на партию, к которой я принадлежу, на отдельных моих друзей и прежде всего на меня лично. А так как на свете существуют культурные дикари, которые любят звон разбиваемых бутылок и с наслаждением глядят на человека в припадке падучей болезни, и так как у этих дикарей имеется своя ежедневная пресса, то Хрусталев без труда нашел газету, которая напечатала его «обращение» ко мне. Газета эта называется «Биржевыми Ведомостями».

Возмущаться или негодовать по поводу бессвязного «обращения» Хрусталева я совершенно не в состоянии, ибо для таких чувств отсутствуют в данном случае все необходимые психологические предпосылки. Я ограничусь тем, что спокойно раз'ясню все те обвинения и полуобвинения, в которых вообще можно что-нибудь понять.

1. Хрусталев пишет, что я не имею права считаться с сообщениями прессы об его темных делах, «так как та же (?!) пресса обвиняла вас и всех членов Совета в краже общественных денег». Пресса, обвинявшая членов Совета в хищениях, это—анонимная черносотенная прокламация, распространявшаяся за подписью «Группы русских рабочих» в Петербурге ко времени ареста Совета. Аноним ее давно раскрыт в известном письме г. Лопухина к Столыпину: эта «пресса» была сочинена и напечатана в петербургском жандармском управлении; дело шло попросту о внесении замешательства в среду рабочих к моменту ареста их выборного представительства. Как курьез, отмечу, что на меня лично эта прокламация никаких обвинений не возводила,—наоборот, прямо отговаривалась неимением насчет меня «сведений». Это исключение, разумеется, чисто случайное, было сделано, чтобы демонстрировать «добросовестность» авторов подлога и придать оттенок вероподобия нелепому документу. Товарищ прокурора Бальц, представлявший обвинение на судебном процессе Совета, энергично и определенно отбросил жандармскую клевету, никем на суде не поддержанную и без труда разрушенную свидетельскими показаниями.

Так обстоит дело с «той же прессой».

2. Хрусталев требует также, чтоб я не ссылался на эмигрантские «слухи», «так как (!) эмигрантская среда взвела и распространила позорящие политически слухи по адресу члена исполнительного комитета Введенского-Сверчкова, и вы вынуждены были выступить в защиту вашего друга в заграничной русской прессе». Здесь имеется, повидимому, в виду следующее. Мой товарищ по президиуму Совета Д. Ф. Сверчков, арестованный в 1910 г. в Москве и приговоренный к трехлетней каторге за побег из ссылки, получил—по особому докладу министра юстиции—чрезвычайное смягчение наказания (5 лет надзора), после того, как врачебная комиссия нашла у него туберкулез легких и горла. Так как случай этот сам по себе исключительный и так как лица, не знающие Сверчкова, могли бы предположить, что Д. Ф. добился смягчения наказания какими-либо своими личными шагами, несовместимыми с политической честью, то я, не в опровержение каких-либо слухов (о них мне решительно ничего не было известно), а в предупреждение самой возможности их напечатал в «Будущем» краткую заметку с изложением фактических обстоятельств этого дела. Это все. Больше ничего не было. Имя Д. Ф. Сверчкова привлечено Хрусталевым исключительно для того, чтобы увеличить радиус смуты.

3. Более определенное на вид и очень тяжелое по существу обстоятельство, выдвинутое им против меня, заключается в утверждении, будто в моей книжке «Туда и обратно» (издание «Шиповник», 1907 года) я «разгласил» мой побег, и будто «на основании» этой брошюры был арестован крестьянин,

вывезший меня из Березова. Во всем этом верно только то, что я бежал из Березова, что я описал свой побег и что в Березове был арестован крестьянин в связи с моим побегом. Однакоже крестьянин был арестован совершенно независимо от моей брошюры: по предательству рекомендованного мне им проводника. Незачем говорить, что в книжке не было решительно ни одного слова, которое могло бы прямо или косвенно повредить кому-либо из содействовавших мне лиц. Вся та часть повествования, которая непосредственно относилась к побегу из Березова, имеет в моей книжке совершенно вымышленный характер. Для всякого рассуждающего читателя в этом не могло быть сомнения с самого начала.

Проходя мимо следующей далее политической и теоретической полемики Хрусталева (в этой области нам с ним совсем уж делать нечего), проходя мимо утверждения, будто Совет Депутатов был создан не социал-демократией, а им, Хрусталевым (впервые появившимся на втором заседании Совета), остановлюсь еще только на «столкновении» нашем в Доме предварительного заключения, которое должно об'яснить мою будто бы «вражду» к Хрусталеву. «Гласное обращение» рассказывает, что я «стремился навязать обвиняемым свою точку зрения, отстаивая, что Совет Рабочих Депутатов готовился к вооруженному восстанию». Хрусталев же этому противодействовал. Что именно я хотел «навязать», совершенно ясно видно из моего письма к политическим друзьям «на воле». Арестованное у одного из них на вокзале и, следовательно, никак не предназначавшееся для гласности, письмо это, по требованию моего защитника О. О. Грузенберга, было оглашено на суде. У меня и сейчас имеется выданная мне секретарем суда копия. Вот что в ней значится: «Мы хотим восстановить на суде деятельность Совета, какою она была в действительности. О себе каждый будет говорить постольку, поскольку это будет необходимо для выяснения деятельности Совета или партии. У нас так же мало права преуменьшать или коверкать деятельность Совета, как мало охоты преувеличивать ее». Такова же была позиция и остальных обвиняемых: рассказать, что было. И в этой именно плоскости у нас у всех были столкновения с Хрусталевым, характер которых отсюда ясен сам собою. Неверно, будто «мы обошли на суде выдвинутый вопрос». По поручению всех подсудимых я об этом именно вопросе произнес на суде речь [1]).

Но это было не единственное и не главное «столкновение». Из материалов предварительного дознания мы, подсудимые, увидели, что известные показания Хрусталева имели заведомо предательский характер. Некоторые из подсудимых настаивали на том, чтобы Хрусталев был немедленно извергнут из нашей среды. Я несу главную долю ответственности за то, что этого не случилось. Об'ясняя характер показаний Хрусталева его неврастенической распущенностью и озабоченный достойным проведением политического процесса, я — не без серьезного противодействия со стороны части товарищей — настоял на решении, которое оставляло Хрусталева в нашей

[1]) В стенографическом воспроизведении издательства Н. Глаголева она вошла затем в мою немецкую книгу «Der Krieg und die Internationale». 1909.

среде, но обязывало его итти с нами в ногу. Мы отобрали у него соответственное письменное обязательство, препровожденное нами в центральное учреждение партии.

Ввиду этих обстоятельств совершенно ясно, что никто из подсудимых не заблуждался насчет личности Хрусталева. В июне 1907 года, когда я и Хрусталев были уже за границей, все с.-д., сосланные по делу Совета, обратились из ссылки с письмом к руководящим товарищам, в котором указывали, что «по своим политическим и нравственным качествам Хрусталев не может занимать никакого ответственного поста в партии». Под этим письмом подписались не только «интеллигенты», но и все сосланные рабочие: Киселевич, председатель союза печатников (Хрусталев входил в Совет в качестве одного из 10 делегатов от этого союза), Злыднев (от Обуховского завода), Немцев, Комар... И действительно: несмотря на фантастическую популярность, созданную ему обывательской прессой, Хрусталев никогда ни в какие учреждения партии не выбирался. Он вышел из партии четыре года тому назад именно потому, что «по своим политическим и нравственным качествам» не мог иметь в ней места.

Примите и проч.

Н. Троцкий.

VIII. Хрусталев и война 1914 г.

История с арестом и обвинением в краже часов и белья произошла в то время, когда Хрусталев, по его собственным словам, был полон такими переживаниями (цитирую по его речи на суде в 1916 г., опубликованной им самим в книжке «Из недавнего прошлого»—Переяслав 1918 г.).

«...Я стал почти французом... Но и вся новизна, и все разнообразие новой жизни не могли подавить во мне любви к России. И временами у меня просыпалась острая щемящая тоска по родине»...

У нас, бывших тогда эмигрантами, у всех бывала «тоска по родине», т.-е. невыносимое желание возвратиться в Россию и вновь принять участие в героической борьбе рабочего класса за свое освобождение, что мы и делали, перебираясь через границу с чужими или фальшивыми документами.

У Хрусталева-Носаря это настроение выливалось в совсем другие формы:

«Как подсолнечник органически тянется за солнцем, так я стихийно тянулся из прекрасного далека за Великой Россией, откуда я был выброшен отливом революционной волны, пишет там же Носарь.—Ностальгия по родине и боль по ней особенно остро сказывались в кануны великих праздников — Рождества и Пасхи. Когда французы с шумным весельем проводили свои reveillon'ы (сочельник), неотвратимые приступы тоски по родине захватывали меня в свою власть. Не доставало русского быта, хотелось увидеть русские степи и леса, нашу Волгу и наш Днепр, услышать настоящую народную русскую песню, влиться в толпу русских богомольцев, исколесовывающих Русь из года в год от св. Сергия Радонежского до Антония и Феодосия Печерских, от

Соловецких святынь до Митрофания Воронежского, от Почаевской лавры до Серафима Саровского, хотелось окунуться в русскую жизнь, попасть в битком набитый публикой третьеклассный вагон, только во что бы то ни стало быть на родине»...

«Под давлением тоски я решил вернуться в Россию, воспользовавшись Высочайшим указом Сенату от 21 февраля 1913 г....» (Хрусталев старательно пишет «Высочайший» и «Сенат» с больших букв, хотя книга издана летом 1918 г., когда такой почтительности к царю и к сенату уже совсем не требовалось).

Но тут последовал арест Носаря и обвинение в краже. После суда он заболел и собрался вновь осуществить свое намерение, но «...вследствие распоряжения департамента полиции консульствам о неприеме политических эмигрантов в консульствах и о неоказании им законной защиты... возможность явки была исключена»,—как об'ясняет сам Носарь в той же своей книжке (стр. 35). Перед судом он ссылался на то, что явиться в посольство или консульство по указанной причине не мог, но заменил это опубликованным им в «Новом Времени» (черносотенной газете) письмом от 19 апреля 1913 года, в котором заявлял о своем желании возвратиться с повинной в Россию и представиться властям...

В июле 1914 года вспыхнула война.

«Немедленный от'езд в Россию из личного дела превратился в гражданский акт, в политическую обязанность»,—пишет в своей книжке Носарь (стр. 29).

Хрусталев превращается в ура-патриота.

«Я даже не ставил чудовищного вопроса,—говорит он,—будет или не будет реакция в России после победы... Если бы я ошибался в выводах, и пораженцы доказали бы мне с наглядной очевидностью, как дважды два четыре, что победа России тем самым приведет к новому торжеству русской реакции и русского обскурантизма, то я и тогда без всяких колебаний стоял бы за наше участие в войне и также немедленно приехал бы в Россию. В моих глазах национальная культура, осуществляемая в государственных национальных рамках и только в одних них возможная, представляет самую дорогую культурную ценность. Расщепление России и извращение ее национального развития в чуждых ей исторических государственных формах (т.-е. германское главенство над Россией, рисовавшееся Носарю неизбежным в случае победы Германии над Россией. *Д. С.)* явилось бы более страшной катастрофой, чем разгром на вечные времена демократии и социализма...» (стр. 31).

Полный таких «патриотических» чувств Хрусталев-Носарь, при содействии французских министров, получил от русского царского консульства в Париже паспорт от 2 сентября 1915 г. за № 101, в котором значилось: «направляется в Петроград на предмет представления судебным властям».

Однако жандармский офицер не допустил Хрусталева представиться властям в Петрограде, а арестовал его на станции Торнео и под конвоем отправил в тюрьму.

После года заключения он появился перед окружным судом.

На суде Носарь сказал, что он — лейтенант французской армии, артиллерист и летчик, раненый в боях на французском фронте и награжденный за свои подвиги («Речь» от 17 октября 1916 г.). Он рассказал, что вступил во французскую армию, рисовал картины осады Парижа и заявил, что, когда Париж был оставлен всеми властями, когда с минуты на минуту ждали его сдачи, тогда Носарь волонтером стал во главе парижской милиции (Само собою разумелось, что этим Париж был спасен)...

Эти рассказы и многие другие обстоятельства его тюремного поведения дали основание суду назначить медицинскую экспертизу Хрусталева-Носаря для выяснения его умственной нормальности. Экспертиза признала его здоровым.

Единственным свидетелем на суде выступил В. Л. Бурцев, всячески характеризовавший Хрусталева с самой хорошей стороны и призывавший суд оценить Хрусталева так, как оценил его проф. М. М. Ковалевский, сказавший как-то Бурцеву, что «мы должны относиться очень внимательно к этому человеку. Мы не должны забывать того, что им сделано в 1905 году. Если бы не Хрусталев, я был бы не членом Государственного Совета, а до сих пор оставался бы среди эмигрантов».

Почтенный профессор Ковалевский, стоявший правее другого почтенного профессора—Милюкова, видел заслуги 1905 года в том, что революция дала ему место в Государственном Совете! Как откровенно высказал он предельные вожделения крупной буржуазии! Ее политическая программа-максимум в борьбе с самодержавием, действительно, оканчивалась на депутатских креслах и министерских портфелях для них самих... В этом для них была вся цель революции.

Суд приговорил Хрусталева к трем годам каторжных работ за побег из ссылки на поселение, но постановил вместе с этим ходатайствовать перед царем о полном помиловании осужденного.

Хрусталев обжаловал приговор суда. Жалоба была отвергнута.

Во время пребывания в тюрьме Хрусталев-Носарь поддерживал связи с Бурцевым, с которым был в лучших отношениях, и с Струве, в журнал которого писал статьи.

У меня находятся два письма Хрусталева к Бурцеву, крайне характерные и для первого, и для последнего.

6 июня 1916 г. из Дома предварительного заключения Хрусталев писал В. Л. Бурцеву следующее:

«Дорогой Владимир Львович!

Не в службу, а в дружбу заедьте в канцелярию г. прокурора судебной палаты и получите мою рукопись «Проблема смерти», которую я просил выдать Вам на руки. Если будете свободны и в мечтательном настроении, то перелистайте ее, а если нет, то и так передайте с приложенным при сем письмом П. Б. Струве для «Русской Мысли». Не забудьте ему сказать, что посылается первая часть моей работы. Если придется ко двору моя статья, то я немедленно вышлю продолжение.

Не судите строго моей статьи. Еже писах, писах... В конце концов она представляет из себя еретические мысли праздного человека, сидящего неизвестно почему во славу русской юстиции в тюрьме.

Жму крепко Вашу руку

Г. Носарь».

Напомним, что Струве—известный идеолог крупно-помещичьей либеральной буржуазии. В. Л. Бурцев—бывший террорист-революционер—в течение многих лет уже, как верно подметил Хрусталев, находился и до сих пор находится «в мечтательном настроении»: поступив на службу к Деникину и Врангелю, он в своей парижской газете «Последние Новости» все еще мечтает о низвержении Советской власти и о победе белых генералов, распространяя свои мечты вплоть до превращения России в монархию с бывшим великим князем Николаем Николаевичем на престоле...

Однако дружеские отношения Хрусталева с Бурцевым прервались. Бурцев еще до февральской революции 1917 года изменил свое отношение к царизму и монархии, что подтверждается следующим письмом Хрусталева, посланным ему 21 февраля 1917 г. из Дома предварительного заключения:

«Г. Бурцеву

Петроград.

Милостивый государь!

Во время вчерашнего свидания г. Гальперин сообщил мне, что Вы собираетесь подать докладную записку г. министру юстиции о моем помиловании.

Заявляю Вам:

1. Что на подобный Ваш шаг я смотрю, как на попытку политического бесчестия моего имени.

2. Что я в самой категорической форме вновь протестую против Вашего самозванного вмешательства в мое дело.

Если Вы позволите действовать в намеченном Вами направлении, то это вынудит меня, в интересах ограждения политической моей чести, предпринять официальные шаги, которые не могут не отягчить моей участи.

Юридическая и политическая ответственность за подобный исход падает всецело на Вас.

Всякие отношения с Вами и даже простое знакомство я прерываю навсегда.

Георгий Хрусталев-Носарь».

Вполне достойное письмо, клеймящее по заслугам В. Л. Бурцева. Но так искренно жаль, что Хрусталев-Носарь не вспомнил о своей политической чести много раньше, задолго до 1917 года...

IX. Хрусталев и революция.

27 февраля 1917 г. Хрусталев-Носарь был освобожден вместе с другими политическими арестованными из Дома предварительного заключения восставшим народом.

В Таврическом дворце—помещении отжившей Государственной Думы—организовывался вновь—после 11 с лишним лет перерыва—Совет Рабочих Депутатов.

Хрусталев-Носарь пытается выступить в качестве «незаменимого специалиста» по организации Совета. Он несколько раз берет слово, воскрешает события 1905 года с расчетом, что рабочие вновь вверят ему, если не руководство, то одну из первых ролей в Совете. Но он жестоко ошибся. Физиономия его была уже ясна каждому. Он встретил более чем холодный прием и. обиженный, скрылся с политического горизонта столицы... чтобы вынырнуть через несколько месяцев в своем родном Переяславе.

Летом 1917 г. в газетах промелькнула весть о том, что в Переяславе об'явлена независимая Переяславская республика во главе с Хрусталевым-Носарем.

Мне не удалось нигде найти каких-либо более подробных сведений об этом новом государственном образовании в недрах тогдашней России. Жизнь в то время кипела ключом. В ней слишком много было трагичного. Слишком яркой была фигура центрального всероссийского фигляра — Керенского, чтобы было место останавливаться на бутафорской республике Хрусталева.

Каковы были в это время политические взгляды Хрусталева-Носаря?

У меня нет данных об этом, относящихся к 1917 году, но в цитированной мною уже книжке «Из недавнего прошлого», изданной Хрусталевым-Носарем в Переяславе в 1918 году, он разразился совершенно неистовой клеветой на всю революцию.

В предисловии к этой книжке, написанном 1 июня 1918 г., Хрусталев говорит, что «революция 1917 г. реабилитировала окончательно «Бесов» (пасквильный роман Достоевского на народовольцев, за который автор его получил достойную отповедь еще в 1871 г. от редакции журнала «Русский Вестник», назвавшей роман «злостной клеветой на революционное подполье»). Хрусталев присоединяется к сделанной в «Бесах» оценке революционеров и берет эпиграфом к цитируемой его книге следующие слова из «Бесов»:

«Кого же я бросил? Врагов живой жизни, обтрепанных интернационалистов, боящихся собственной независимости, лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая середина, самая мещанская подлая бездарность, завистливое равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей. А главное—везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!..»

Строки эти, повидимому, относятся к Керенскому и компании, наиболее близко, пожалуй, подходивших к либерально-буржуазному образу мыслей самого Хрусталева.

Совсем иначе он честит большевиков. Последние кажутся ему (вполне справедливо!) гораздо более страшными «с их блиндированными поездами, аэропланами и дальнобойными орудиями». Кроме того, Хрусталев в обиде на большевиков потому, что они «участвуют в мирных конгрессах, беспокоят коронованных особ своими многословными радиотелеграммами»... «Устройством жизни народа занялись люди, не сумевшие устроить своей личной

жизни»,—говорит он дальше про большевиков (стр. VI). Как эти слова напоминают возмущение, высказанное Пуришкевичем по поводу того, что управлять страной берутся люди, у которых никогда не было под командой даже горничной!

«Солдатам вменялось оголять фронт и расхищать государственное имущество, рабочим—не работать и под видом рабочего контроля назначать себе высшие заработки, крестьянам—захватывать чужие земли и чужое имущество»,—так извращает лозунги Октябрьской революции Хрусталев, высказываясь против и рабочего контроля над производством, и передачи помещичьей земли крестьянам, и прекращения бессмысленной войны...

Кончается характерное предисловие уверенностью в том, что, «только пройдя надвигающуюся полосу голодовок и эпидемий, измученная и опозоренная Россия обретет затерянное чувство соборности и вернется к своим былым историческим заветам» (стр. 10).

Этот заключительный аккорд хрусталевских убеждений истолковывать не берусь, но, мне кажется, он достаточно ясен и без толкований. Колчак, Деникин, Юденич и Врангель ясно показали, чтб надо понимать под «былыми историческими заветами», к которым они тоже сильно желали вернуться...

В Переяславе в честь возвращения Хрусталева-Носаря устраивается торжественная встреча. Его избирают членом земской управы. Через некоторое время он становится председателем этой управы.

Он выступает на собраниях и митингах, льстя сильным и клеймя и позоря всех, кто становится ему на пути. Он не стесняется менять свои позиции. Так, высказавшись на учительском с'езде против украинизации школы, он через несколько дней публично выражает свое глубокое почтение Центральной украинской раде и предлагает послать ей приветственную телеграмму, «как единственной спасительнице от большевистского варварства»... В доказательство последнего он с уважением цитирует «социалистическую» газету «Киевская Мысль», забывая о том, что несколько дней назад—после появления в этой газете статей о Кронштадтской, Царицынской и Переяславской республиках—он публично клеймил ее «жидовской»...

Распоряжением Вильгельма в Киеве воцарился Павло Скоропадский—«гетман всея Украины». Казалось бы, тут-то и посылает Носарю судьба случай проявить во всю свой «истинно-русский патриотизм» и применить на деле свои рассуждения по поводу «расщепления России и извращения ее национального развития в чуждых ей исторических государственных формах», что «явилось бы более страшной катастрофой, чем разгром на вечные времена демократии и социализма», — о чем он так горячо писал. Ведь он так ратовал за победоносное окончание войны с Германией! Ведь для того, чтобы принять участие в этой войне против Германии, он и явился в Россию из-за границы!.. Казалось бы, тут-то, когда Украину заполонили крупные помещики, опирающиеся на войска императора Вильгельма, и выступить на борьбу с ними, собрать партизанские отряды, защищать ограбляемое крестьянство, вести словом и делом пропаганду и агитацию против закабаления трудящихся...

Но ни о чем подобном Носарь-Хрусталев не думал. Наоборот, он превратился в вернейшего и преданнейшего слугу гетмана Скоропадского и окружавшей его землевладельческой клики...

Быть может, он забыл то, о чем проповедывал? Быть может, из его памяти ускользнули его приведенные мною выше «патриотические» рассуждения?

Ничуть не бывало, и в этом вся пикантность положения. Свою цитированную мною книжку «Из недавнего прошлого», — ту самую, в которой содержатся приведенные мною мысли и призывы, — он издает в июне 1918 года в Переяславе. то-есть в то время, когда Украина, а с нею и Переяслав. вместе с его обитателем Хрусталевым находились под властью гетмана Скоропадского и Вильгельмовских войск... И в этих условиях он пишет: «На развалинах былого величия и былой силы веков, умевших горячо молиться, страстно веровать и щедро воздвигать храмы, воцарился опьянелый свободой илот и красногвардейская уголовщина. Не в ратном бою и не под напором врага пала Россия. Россию убили отравленными газами народовластия...» (там же. стр. VI).

Летом 1918 года. когда с юга надвигались на красную Москву полчища Деникина, когда на Волге был Колчак, когда молодая республика Советов переживала тягчайшее напряжение всех своих сил и средств, изнемогая в борьбе за свое существование, когда на Украине господствовали помещики и взыскивали с крестьян «убытки» от национализации земли.—Хрусталев острие своего пера направляет не против белых генералов, не против черной стаи губернаторов и помещиков. творивших беспощадную расправу с крестьянами, не против контр-разведок. расстреливавших тысячами рабочих,— а против тех «опьянелых свободой илотов», которые не только сумели освободиться из-под ига царя и капитала, но и удержать эту свободу против напавшего на них союза капиталистов всего мира. но и создать под громом орудийной пальбы и под пулеметным огнем, изнемогая от голода, болезней и нужды. небывалую в истории первую республику трудящихся... Его враги — по ту сторону фронта, в Москве, в небольшом окруженном со всех сторон щетиною штыков оазисе Советской России...

И здесь он от слов переходит к делу. Он отдался целиком Скоропадскому. Он поставил на него свою ставку. Одной рукой он пишет и издает «патриотическую» книжку, другой — получает жалованье, как член Переяславской городской управы, принявший на себя охрану города, сделавшийся начальником гайдамацкой полиции... Охрану города от кого? От русских рабочих и крестьян...

В Переяславе существовал подпольный революционный комитет, готовивший восстание против власти гетмана Скоропадского. Но Хрусталев-Носарь не даром соприкасался с революционной средой, не даром сидел в тюрьмах. Он хорошо помнит, как боролась царская охранка с революционерами. Он подсылает в отряд революционного комитета своих шпионов и провокаторов. Они деятельно осведомляют его обо всех планах и намерениях находя-

щихся в подполье большевиков. Организованное революционным комитетом восстание терпит неудачу. К числу погибших за дело рабочей революции присоединяются новые жертвы...

Носарь-Хрусталев вместе с остальными членами управы производит лично обыски, аресты, затем вызывает для расправы с непокорными гетману Скоропадскому элементами гайдамацкую конницу...

Нескольким человекам из руководителей восстания удается скрыться. Одни из них прячутся по домам у многочисленных сочувствующих им, другие пробираются в деревни.

Хрусталев рвет и мечет. Он хотел одним ударом уничтожить революционную гидру. Он не хочет упустить ни одного из большевиков.

Он знает о скрывшихся от своих шпионов. Он по телефону и всеми другими способами об'являет соседним деревням свой приказ о немедленной и беспрекословной выдаче бежавших. Он назначает награду в 1000 рублей за голову одного из командиров революционным отрядом. Он является несколько раз на квартиру его родных, проживавших в Переяславе, арестовывает его старшего брата, бывшего председателя подпольного революционного комитета. Воспользовавшись тем, что командир и его брат — евреи, Хрусталев отправляется к старосте еврейской общины и предлагает ему предать обоих преступников анафеме... Словом, он в борьбе за гетмана пользуется всеми средствами: и конницей, и провокацией, и полицией, и тюрьмой, и подкупом, и религией... Таким многосторонним он никогда не показывал себя раньше...

X. Конец Хрусталева.

Гетману Скоропадскому не помогла ни кратковременная защита быстро сваленного с германского трона Вильгельма, ни украинские помещики, ни гайдамацкие отряды, ни бывший председатель Петербургского Совета Рабочих Депутатов Г. С. Носарь-Хрусталев. Власть его была низвергнута, и он сам скрылся в те страны, которые стали убежищем всех разграбивших Россию генералов и их присных. Высококультурная Европа с приветом открыла двери всем, кто использовал жесточайшую гражданскую войну, разорявшую Россию в течение трех с лишним лет для своего собственного обогащения. Ведь в этих странах господствуют и процветают те, кому удалось удачнее ограбить других. Не все ли равно, путем ли открытого грабежа с оружием в руках (это называется приобретением «военной добычи»), или путем систематического воровства заработной платы у рабочих, или путем выжимания денег у крестьян...

Скоропадский бежал со своими присными. Конечно, не без предварительного опустошения казны горячо любимой им Украины...

Хрусталев-Носарь остался в Переяславе. Почему? На этот вопрос ответить не могу, ибо не имею данных.

Переяслав под властью Советов. Носарь чувствует себя непринужденно. Ведь Советы это же—его прошлое, ведь благодаря Совету он прогремел на всю Россию.

Он связан со всеми черносотенцами. Он пьянствует в их компании. Заработка больше нет. Управа распущена, полиция ликвидирована, жалованья никто не платит... Носарь занимается спекуляцией в широком размере и развертывает и в этой области недюжинные способности...

Его приятели, с которыми он проводит дни и ночи: священник Верещагин, фельдшер Волковой, торговец Боринцев.

Он еще пользуется некоторой популярностью у базарных торговок. Он широко ведет антисемитскую пропаганду, участвует в темных кружках. Он ходит по городу, высоко подняв голову и напоминая о своих революционных заслугах 1905 года, скромно умалчивая о последующем периоде, вплоть до совсем недавнего...

Его никто не трогает. Тогда он решает перевернуться еще раз и попробовать работать с Советской властью. Какое бы взять место? Конечно, не мелкое... Он является просить пропуск в Харьков к тов. Раковскому. Он доложит председателю Совнаркома Украины о мерах борьбы с продовольственным кризисом. Если ему поручат это дело, он ликвидирует кризис в два счета. Для этого он не отказался бы от должности Народного Комиссара по продовольствию Украины. Он—ценный человек. Помните 1905 год? Он будет очень полезен Советской власти. А без него—все рухнет. Наступит всеобщий голод, и все перемрут, как мухи...

Не встретив сочувствия своим планам и видя, что на этот раз вывернуть шкуры, пожалуй, не удастся, что его слушают, но не особенно верят, Хрусталев-Носарь вступает в связь с петлюровскими шайками. Не все ли равно с кем, лишь бы играть роль: с гетманом, с большевиками или с петлюровцами...

Гражданская война еще не окончена. Для Переяслава наступают вновь тревожные дни. Вновь приходится думать о вооруженной защите. Носарь-Хрусталев ведет свою линию: находится в связи с петлюровцами и одновременно с оставшимися гетманцами; спекулирует, пьянствует, вносит всюду помехи, становится угрозой для Советской власти в тревожной боевой обстановке.

Ликвидация хрусталевской шайки началась с его брата и с фельдшера Волкового. На следующее утро Хрусталев-Носарь явился в Чрезвычайную Комиссию с претензией на арест его друзей и с требованием оградить его от возможного насилия.

Он был расстрелян.

—

Многие говорили мне: «Как жаль, что священник Гапон не был убит 9 января! Как досадно, что Хрусталев-Носарь не погиб в ноябре 1905 года! В истории революции остались бы красивые, не обесславленные фигуры. Как жаль, что они не сумели умереть во-время!..»

На это я скажу следующее:

«История поступает правильно. Она доводит до логического конца каждый из своих штрихов. Она учит на примере, как и под чьим руководством нужно бороться. Она разоблачает ворон, быстро выдергивая из их хвостов

павлиньи перья. Она отдает себя на служение рабочему классу, ибо знает, что ему принадлежит будущее.

На примере Гапона и Хрусталева-Носаря она говорит рабочим: «Учитесь на своих ошибках». Не верьте в поповскую рясу,—под ней находится полицейский мундир. Смотрите зорче за вашими руководителями из беспартийных:—они часто прикрывают «беспартийностью» принадлежность к врагам рабочего класса. Не идите за одиночками, как бы соблазнительны их призывы ни были. Идите за партией, которая выражает ваши интересы, и за теми, кого она под своим контролем поставит во главе вашей борьбы».

Фрейдизм и марксизм.

А. Залкинд.

Марксизм и психология.

Психические процессы («сознание») для марксизма определяются бытием. Психика человека—биологическое отражение его социального бытия. Лишь марксистская социология и материалистическая биология раскрывают корни психических явлений. Поэтому для марксизма далеко не безразлично то направление, которое принимает в своем развитии научная психология и тот материал, который последняя вносит в понимание душевной жизни.

Вот почему с таким напряжением, так пристально всматривается сейчас мыслящий марксист в пышно развернувшиеся научные попытки пересмотра старой, идеалистической психологии. С особой симпатией относится марксизм к биологической, материалистической атаке на «душу»,—в особенности к атаке, подкрепляемой точным об'ективным экспериментом.

Особое внимание марксизма привлечено теперь к двум центральным и новым биологическим учениям, в буквальном смысле слова взрывающим все старые представления о психическом аппарате: к учению о рефлексах И. П. Павлова и к психоаналитическому учению Зигмунда Фрейда. Учения эти, как мы увидим ниже, глубоко органически между собою связаны, и поэтому не безынтересно упомянуть вкратце об отношении к ним наших авторитетных идеологов.

По поводу учения И. П. Павлова тов. Н. И. Бухарин пишет: «Учение об условных рефлексах целиком льет воду на мельницу материализма. И исходные методологические пути и результаты исследования в области этого учения есть оружие из железного инвентаря материалистической идеологии. А материализм сейчас, в нашу эпоху, есть мировоззрение пролетариата, и только пролетариата» [1]).

Об этом же пишет тов. Л. Д. Троцкий: «Несомненно, учение о рефлексах полностью на пользу материалистического миропонимания» [2]).

---

[1]) Журнал „Красная Новь“ с. г. № 1.

[2]) Сборник „Литература и Революция“.

Об этом же тов. Г. Зиновьев говорит: «Вполне очевидно, что исследования в области учения о рефлексах представляют чрезвычайную ценность для материалистической психологии» [1]).

По поводу учения Фрейда тов. Троцкий заявляет, что, по его мнению, фрейдизм приемлем для марксизма [2]). О фрейдизме же, в плане самой горячей его марксистской защиты, высказывается и тов. Радек в одной из передовых статей «Правды» 1923 г.

2-й Психоневрологический С'езд в Ленинграде (январь с. г.) в ряде основных своих докладов, оказавших руководящее влияние на резолютивную часть С'езда, признал «рефлексологированный фрейдизм» вполне теоретически и экспериментально оправданным, за из'ятием из него некоторых дуалистических и идеалистических элементов (см. ниже). Учение о рефлексах таким образом оказалось оселком, на котором испытывается острие всех других психофизиологических течений.

Однако на-ряду с этим сравнительным единодушием — конечно, имеющий все права на материалистическую, тем более на марксистскую авторитетность, Г. И. Челпанов яростно защищает материалистическую психологию от рефлексологии (т.-е. и от прочих учений, включившихся в рефлексологию). Автор высокоубедительных научных работ, доказующих бытие бога, свободу воли и сверхчувственные корни познания,—оказавшийся вдруг адвокатом марксизма, категорически заявляет: «Рефлексология не может быть приемлема для марксизма, для марксистской психологии».

Говорят, впрочем, что Челпанов не одинок даже и в марксистских кругах. Доказательство—печатающаяся сейчас его книга... о марксистском анализе психологии. Очевидно, внутри марксизма спор этот далеко не разрешен. Да и кто пытался детально в него вникнуть? Попыток тщательного марксистского анализа рефлексологии или фрейдизма в литературе мы не знаем [3]), этим и об'ясняется возможность двухсмысленных высказываний.

В значительной степени позиция этих учений подрывается отдельными, не продуманными, внекритическими попытками потопить в них все прочие научные системы: Э. Енчмен, «физиологические» (рефлексологические) паспорта которого поглотили всю марксистскую социологию; И. Д. Ермаков, официальный редактор нашей крупнейшей психологической библиотеки, поющий в своих предисловиях стопроцентные дифирамбы всему Фрейду— полностью, без из'ятия, принимающий на веру всю фрейдовскую раздвоенность, все его суб'ективизированные понятия,—за своей подписью выпускающий (это в наши-то времена марксистской, социологической критики) голый половой анализ творчества Гоголя...

К сожалению, и сама рефлексология не договорилась еще с фрейдизмом. В частности, Павловская школа ни разу на фрейдизм вообще не откликалась.

---

[1]) Речь на I Всесоюзном С'езде научных работников, 1923 г.

[2]) Сборник „Литература и Революция".

[3]) Цитированные выше авторитетные наши товарищи касались вопроса лишь мельком. В своей статье о фрейдизме (книга: „Очерки культуры revол. времени") пишущий проработал этот вопрос слишком сжато.

Вполне очевидно, что вопрос нуждается в ясности — срочно. Данная статья посвящается лишь одной его половине—фрейдизму.

Суеверия по поводу фрейдизма. По поводу учения Фрейда существует много суеверий.

Так, большинство глубоко убеждено, что «душой», гвоздем фрейдизма является его половая теория и что критическое к ней отношение убивает в корне весь фрейдизм. Значительная вина за это суеверие у нас в России лежит, повторяем, на наших издательствах, не адресовавших до сих пор ни кусочка критики этой фрейдовской половой теории. На самом же деле, вовсе не в теории полового влечения истинный центр того фрейдизма, который радикально перетряхивает сейчас всю психофизиологию.

Вторым (главным образом, российским) суеверием по поводу фрейдизма является причисление его к разряду чисто психопатологических течений. До последнего времени в широких кругах принято было думать, что психоаналитическое учение представляет интерес лишь для психиатрии и невропатологии, что в вопросах общей психологии фрейдизму не место,— почему он и не выходил, хотя бы у нас в России, из пределов медицинских кругов, да и то чрезвычайно суженных.

Третьей ошибкой являлся и является панический страх перед перегруженностью фрейдизма невиданными, совершенно оригинальными терминами и перед пересыщенностью его суб'ективными понятиями, за которыми, казалось, никак не разроешь удободоступной и об'ективно-научной их сущности.

Наконец, последний корень непонимания фрейдизма заключался в том, что учение обычно исчерпывали тем кругом лиц, которые непосредственно примыкали к «чистой» идеологии самого Фрейда, совершенно при этом упуская из виду серьезнейшие поправки и дополнения, внесенные в учение продолжателями или отколовшимися учениками Фрейда: Адлером, Юнгом, отдельными русскими психоаналитиками и пр.

Все это вместе взятое и оказалось теми деревьями, за которыми близорукие не сумели рассмотреть густейший, ценнейший лес незаменимых научных открытий.

Учение Фрейда. Источником человеческой психики, по Фрейду, является активность влечений, желаний во взаимодействиях их со средой [1]). Организм начинен некоторой суммой энергии, некоторым количеством внутреннего напряжения, возбуждения, прорывающегося во вне в виде желаний, влечений («Triebe»), требующих удовлетворения.

Все содержание психизма, по Фрейду, руководится двумя силами, двумя принципами: «принципом удовольствия» и «принципом реальности».

«Принцип удовольствия, принцип реальности». Для Фрейда нет суб'ективно нейтральных, «безразличных» восприятий или иных психических процессов. «Вся душевная жизнь направляется желанием удо-

---

[1]) Не только, конечно, человеческой, но и прочих животных. Но Фрейд всюду говорит лишь о человеке.

вольствия, отвращением к страданию». Эти с первых же дней бытия организма оформляющиеся влечения к удовольствию организуют всю последующую установку личности, заполняя внимание, память, мысль определенным содержанием. «Запоминается», «мыслится» нечто не по случайным причинам и не под влиянием каких-то самодовлеющих законов мышления, а лишь потому, что это связано с пережитым удовольствием или страданием и в данный момент представляет собою ту же борьбу за удовольствие. Весь психический мир человека, это — сумма его желаний и опыт борьбы за их осуществление.

Но желания удовольствия сталкиваются с «обязывающими требованиями» внешней, реальной среды, к которой нужно реально приспособиться, отвечая на ее раздражения соответствующими ее содержанию реакциями,— реакциями, далеко не всегда дающими одно лишь удовольствие организму. «Принцип удовольствия сталкивается с принципом реальности». Реальность, во имя приспособления к себе, сплошь и рядом требует частичного и полного «отказа» от того или иного удовольствия. Однако жить в реальности необходимо, но и от удовольствия отказаться трудно,—и в итоге создается нечто вроде «компромисса»: часть оторванного удовольствия возмещается «прибылью», полученной от внешнего приспособления.

Вытеснение. Однако эта равнодействующая достигается далеко не всегда. От большой части желаний приходится попросту отказываться, без возможности их удовлетворения или замещения в реальности. В таких случаях содержание желания загоняется «внутрь» организма, как несовместимое с внешней средой, «вытесняется», лишается своего законного, «осознанного» материала, оттесняется в «бессознательную» область, делается бессознательным.

Бессознательное. Эти вытесненные желания в то же время вовсе не прекращают тем своего существования, так как энергия, им присущая, не изжита, — и в области бессознательного они продолжают быть активными, «в скрытом виде», прорываясь в психическую жизнь, устремляя ее по своим путям, подчиняя ее влияниям этих бессознательных, вытесненных желаний. Принцип удовольствия, не достигший компромисса с принципом реальности, мстит ему созданием взамен, или в дополнение к реальному миру, еще и особого мира— неосознанных, вытесненных, бессознательных влечений. В человеке создаются как бы не мирящиеся друг с другом две реальности: «внешняя реальность», осознаваемая, содержащая в себе элементы приспособления к окружающей среде, и «психическая реальность», чуждая, враждебная внешней среде, загнанная последней в подполье бессознательного, но голодная, неудовлетворенная, прорывающаяся кверху.

Вся психическая жизнь пронизывается яростной борьбой этих двух реальностей, — работа мышления, внимания, памяти всецело руководится нагнетением то одного, то другого боевого фактора. Среда требует внимания к той или иной области, но вытесненное желание отвлекает внимание к себе, обгладывает, искажает его, организуя установку по линии удовольствия— вразрез с обязательствами среды. Достигаемые компромиссы стойки лишь

в идеальных случаях, когда состав среды и сумма удовольствия взаимно соответствуют. Иначе же, они чрезвычайно хрупки, и человек обращен тогда к среде лишь небольшой частью своего содержания, да и то серьезно искаженной, сохраняя свой главный силовой резерв для «внутреннего самоудовлетворения».

«Цензура». Внешняя реальность, среда, не давая выхода вытесненным желаниям, создает в сознании «цензуру», зорко следящую за этой подпольной, нелегальной организацией. На все попытки «подпольщиков» прорваться в сознание, а оттуда во вне, цензура реагирует устойчивым торможением, огромным «сопротивлением», преодолеть которое вытесненное желание не в силах; в лучшем случае, оно прорывается в сознание в неузнаваемом, в изуродованном цензурой виде, используя для этого состояние ослабленного сознательного внимания (сон, грезы, рассеянность), которого все же хватает на то, чтобы резко «исказить» основную сущность нелегального влечения, и тем пресечь или, во всяком случае, грубо ограничить получаемое удовлетворение.

С этой точки зрения, на сновидения, грезы, на автоматические психические проявления (описки, оговорки) психоаналитическая школа смотрит как на попытки со стороны вытесненных желаний прорваться — попытки, замаскированные в своем содержании проделанной над ними цензурной работой.

«Бегство в болезнь». Отсюда с непреодолимой логикой вытекает и фрейдовская формула так наз. «бегства в болезнь». Человек, встречающий во внешней среде стойкое сопротивление своим желаниям и в то же время не заключающий «компромиссного договора» со средой, принужден закупорить эти влечения в себе и удовлетворять их без содействия среды и вопреки ее противодействию. Сумма неудовлетворимых, оттиснутых его желаний создает особый мир переживаний, особый фонд для поведения, особую установку для защиты этого богатства. Подобная установка, с точки зрения среды, конечно, об'ективно, реально не целесообразна, отгораживая человека от внешней реальности, вдавливая его в самодовлеющую психическую реальность, в болезнь, в «психоневроз».

Болезнь, как аранжировка, как стратегия, как защитная установка для отстаивания незаконных желаний,—бегство в болезнь, как проявление самосохранения, — это понятие о психоневрозе [1]), играющее сейчас в расшифрованном его содержании чрезвычайно крупную роль как в клинической психопатологии, так и в общей психофизиологии, целиком принадлежит Фрейду.

Таким образом поведение человека, его психическая жизнь, зачастую имеет под собой глубоко скрытые, искаженные мотивы, являясь своеобразной системой защитных актов, окрашивая в свой цвет все впечатления, возникающие во внешней среде, искажая эту среду в угоду дирижирующим вытесненным желаниям. Это больное представление о среде, эта болезненная позиция в реальности оказывается своеобразно выгодной, суб'ективно целе-

---

[1]) Психоневроз для Фрейда—всегда „бегство в болезнь".

сообразной для психоневротика, мешая ему замечать враждебную действительность, питая его подспудными радостями.

«Перенос». В связи с понятием «бегство в болезнь» возникает и другое, тоже своеобразное понятие—«переноса» (Uebertragung). Человек, закупорившийся в своем «комплексном» [1]) мирке, преломляющий всю реальность через призму «комплекса», удостаивает среду и других людей стойкого внимания лишь тогда, если содержание воспринимаемого впечатления соответствует его затаенным (в буквальном смысле) желаниям. Избранные элементы среды, избранные люди, тем самым, как бы покоряются ему, насыщая его столь вожделенной радостью; он включает их в свой мирок, обволакивает их содержанием своих комплексов, «переносит» на них свои вытесненные симпатии. Он как будто идет на уступки этим избранным им людям, подчиняясь им, выполняя их задания, строя работу своего внимания по ими указуемым путям,—однако, на самом деле, это лишь «стратегическая хитрость» с его стороны. Об'екты «переноса» оказываются для него лишь той точкой опоры, базируясь на коей он стремится перевернуть мир, переделать реальность в свою пользу, приспособить ее к себе, вовлечь ее в круг своих желаний. Для психоневротика «перенос» оказывается живым мостом, живой связью с людьми,—но не тем мостом, по которому он из болезни собирается перекочевать в реальность, а мостом, по которому он пытается реальность перетянуть к себе, исказить ее по линии своих грез.

Внушение. Понятие «переноса» по-новому ставит и проблему так наз. внушения. Внушаемость для Фрейда — лишь видимая, кажущаяся подчиняемость. На самом же деле, внушаемость есть стратегическая «уловка», с помощью которой «бежавший в болезнь» облегчает себе осуществление своих желаний, используя для этого личность внушающего. Он как бы «влюбляется» во внушающего, делает его своим близким лицом, сопоставляет его с любовными, радующими образами прежних, главным образом, детских своих воспоминаний, и, отказываясь от своей «воли», передавая эту волю другому, он «переносит» на последнего также и ответственность за свою радость, заставляет его служить этой радости, питать ее новым и новым материалом. Внушаемость - уступка превращается в внушаемость - спекуляцию, в вымогательство. Как только эта стратегическая ценность внушения тускнеет для для нашего героя, как только внушающий, по примеру среды, тоже начинает пред'являть обязательства, пытается стойко организовать сознание — наперерез вытесненному бессознательному миру, психоневротик обнаруживает контр-внушаемость, сопротивляемость, не только не выполняя приказов об улучшении своего поведения, но, наоборот, агрессивно обостряя, ожесточая свою позицию. Внушаемость таким образом оказывается состоянием летучим, избирательным, связанным с целой серией своеобразных стратегических маневрирований личности. Она действует лишь до той поры, пока внушающий базируется на бессознательном фонде своего об'екта, т.-е. на его вытесненных вожделениях, пробуждая их к активности, т.-е. добавочно питая их. Адре-

---

[1]) Комплекс—сгусток желаний, связанных общим стержнем.

суясь же к сознанию, обязывая к реальному приспособлению, — внушение теряет свою суб'ективную для психоневротика выгодность, а вместе с тем и свою целебную силу, которая, по Фрейду, как видим, оказывается таким образом вполне призрачной.

Болезнь и «бегство в болезнь». Было бы грубейшей ошибкой думать, что вся описанная выше картина сложной психической дезорганизации представляет собою резко клиническое явление, — предмет для исключительных врачебных манипуляций. Ничего подобного.

Конечно, в очень развернутых случаях, когда бегство от реальности в болезнь превращается в стойкий, глубокий бред, лишающий человека всех возможностей хотя бы полукомпромиссной ориентировки в реальном, — выход из подобного тупика—настойчивое и специальное лечебное воздействие. В подавляющем, однако, большинстве эти состояния бегства от внешней реальности в психическую реальность, в болезнь представляют собою обычные житейские уклонения, с которыми мы сталкиваемся и в себе и в других на каждом шагу, чаще всего не замечая даже этого ввиду отсутствия у нас «психоаналитического микроскопа».

Что̀ в действительности обнаруживает собой эта «борьба двух реальностей» внутри человека?

Оказывается, человек адресует окружающей среде лишь часть своего творческого богатства, остальное содержание сохраняя для «внутреннего употребления»,—употребления, чуждого обязательствам, выдвигаемым этой средой. Та сумма внимания, памяти, тот материал мыслительных процессов, те качества общих и специальных способностей, то количество выносливости и гибкости, которые он выявляет перед нами в актах реального своего приспособления, представляют собою зачастую ничтожный клочок его творческих возможностей. Подавляющая же их часть остается от нас скрытой, закупоренной, направленной на замкнутые внутренние процессы, питая избыточное внереальное, внетворческое возбуждение («конверзия»).

Так происходит не только с так назыв. патологическими больными личностями, но и с «совершенно нормальными» людьми, ввиду чрезвычайной относительности самого понятия «нормы» в условиях сумасшедшей современной социальной среды. Врожденная структура личности и накопленные ею в течение раннего, свободного детства навыки, в период его дальнейшего роста оказываются в неизбежной коллизии с обязательствами окружающей реальности. Нарастает внутренняя дезорганизация, грубый раскол, резкое раздвоение личности, отдающей среде лишь то, что та насильно из нее выдавит, и большую часть своего фонда оставляющей в состоянии голодного потенциального напряжения.

Законы логики. Отсюда глубочайший переворот во всех наших старых так наз. логических законах мыслительного процесса. Мышление оказывается насквозь пропитанным обжигающими соками вытесненных желаний, дезорганизуется, вовлекается в систему жесточайшего обострения суб'ективного интереса, теряет свой «холодный об'ективизм». Вскрывается направленность мышления по линии ярко эмоционально окрашенных стремлений, открыты особые аф-

фективные центры мышления (комплексы), определенным образом организующие протекающие представления, дающие последним ритм, силу, направление, выдвигающие одни идеи, наиболее сейчас суб'ективно значимые за счет оттеснения других, чуждых господствующей суб'ективной установке.

Современная экспериментальная психология. Тем самым, под знак мертвой статики, под знак мнимой, призрачной ценности подводится крупнейшая часть современных так называемых «об'ективно-экспериментальных» психологических исследований. Эти исследования оперируют холодными, безвкусными раздражителями, безразличными для горячей природы мышления, внимания и пр. так наз. психических функций. Они ни в малейшей степени не задевают наиболее богатую часть человеческого психизма,—скрытую, вытесненную его установку, — и реакция на подобный эксперимент обнаруживает лишь ничтожный, поверхностный, да и то зачастую искаженный кусочек общего психического богатства. Надо глубоко расшевелить подземные корни психизма, — лишь тогда реакции обнаружат доподлинную сущность исследуемой индивидуальности.

Психоанализ. Подобным «подземным» исследованиям и служит так называемый «психоанализ». Рядом сложных ухищрений, построенных на максимально об'ективном анализе получаемого материала, психоаналитик производит радикальную встряску ущемленных комплексов, извлекает их наружу, расшифровывает их, заставляет и обладателя комплексов переоценить свою установку, отказаться от неосуществимого, — приспособиться к реальности. «сублимировать», т.-е. превратить, в творческую ценность энергию, сдавленную до того в бессознательном [1]).

Как мы видели, вся эта сложная и стройная психофизиологическая архитектура фрейдизма по ходу всего изложения ни разу не нуждалась в содействии со стороны половой теории. Так обстоит и на самом деле, и в этой области бездоказательность его сексологических утверждений качественно ничуть не отражается на понимании открытых им психологических механизмов.

Половая теория. Фрейд находит, что подавляющая часть упомянутых вытесненных желаний — полового происхождения. Корни их он ищет в половых навыках и потрясениях самого раннего детства, заявляя, что тип вызревающего полового влечения определяет собою все прочие элементы психики, все черты характера. Речь здесь, в особенности по отношению к раннему детству, не идет, конечно, о грубом, оформленном чувстве полового влечения, а лишь о зародышевых, частичных элементах будущего полового желания. Эти элементы, по Фрейду, испытывают, в процессе своего дальнейшего развития и консолидирования, глубокие метаморфозы и потрясения, вытеснения и пр., поскольку действительность в дальнейшем налагает на них запрет. Половой элемент может отрываться тогда от непосредственной своей цели и передаваться в другие, более социально ценные области, окрашивая лишь их в сексуальные тона, но не требуя чисто полового удовлетворения: перекидыва-

[1]) Такова теория психоанализа. О практике же его см. ниже.

ние полового элемента («libido») в окружающий мир, «либидинозная» окраска, приятная или отвращающая, всех восприятий реальности. Отсюда сексуализация Фрейдом и социальной психологии, которую он строит, главным образом, на вытесненных, компромиссных или сублимированных половых притягиваниях и отталкиваниях. Все почти указанные выше черты «переноса», явления внушения и прочие моменты социальной связи для Фрейда имеют, по преимуществу, сексуальные корни.

Однако надо оговориться, что половым материалом для Фрейда вовсе не исчерпываются все источники человеческих желаний. Сюда он относит и стремление к сохранению своего «я» («ich-triebe») и «социальное самоутверждение»,—к сожалению, уделяя им значительно меньше места и внимания, чем половому аппарату, да и то проделывая это под влиянием своих критиков и противников (Адлера и др.).

Об'ективный анализ фрейдизма. Попытаемся об'ективистически, монистически, материалистически разобраться в этом громоздком материале. Ухо чуткого марксиста (да и не чуткого марксиста: уж слишком грубо) резко, конечно, раздражала крайняя суб'ективистичность и дуаличность фрейдовских построений, почти полностью отдающих сочнейшим идеализмом. Противопоставление организма и его установок влияниям среды, суб'ективные источники органических реакций («удовольствие»), качественное отделение сознательного от бессознательного, биопсихологические выявления, как стройная, «почти мудрая» стратегия,—все это, без должной расшифровки, кажется абсолютно не переводимым на об'ективистические и монистически-материалистические понятия. Однако это, к счастью, только кажется.

Рефлексологический метод спасает нас. Его чистый об'ективизм и биологический монизм разрушают метафизические леса вокруг здания фрейдовского учения и обнажают стойкую материалистическую сущность действительного, не искаженного фрейдизма.

Под принципом удовольствия следует понимать ту часть физиологического фонда, которая связана с минимальной затратой организмом его энергии, — ту часть, которая накопляется и выявляется по линии наименьшего внутреннего сопротивления. Другими словами, это — врожденные, унаследованные установки организма (безусловные рефлексы), и те слои приобретенного, личного его опыта, которые непосредственно и раньше всего выросли на безусловных рефлексах, потребовав для того минимальные затраты его силы. Такими ранними и наиболее легко сформировавшимися являются, конечно, детские («инфантильные», по Фрейду) навыки, развивающиеся обычно при всемерном облегчающем содействии окружающих взрослых (родителей, братьев и пр.), без лишних затрат организма на сосредоточение (рефлекс сосредоточения), ориентировку (ориентировочный рефлекс) и пр. Обычно такие легко приобретаемые навыки, стоившие при своем рождении небольших затрат юному, хрупкому, лишь формирующемуся организму, суб'ективно окрашиваются в более положительные тона и становятся очень устойчивыми, в особенности, если среда первое время не противопоставляет им новых впечатлений, новых раздражений тормозящего характера. Эти

«удачливые», ранне-детского периода (инфантильные), условные рефлексы, непосредственно выросшие на инстинктивных, безусловных установках, оказываются в итоге тем фондом удовольствия, который Фрейд телеологически и называет «принципом удовольствия».

Не надо, впрочем, думать, будто весь, без исключения, ранний детский опыт является источником этого радующего капитала. Фонд удовольствия накопляется, с одной стороны, по линии тех врожденных свойств ребенка, которые являются резко выраженными и тем наиболее доступными для внешних раздражений,—в особенности, если между содержанием раздражения и врожденным уклоном есть качественное сродство. Это — один путь. Либо же этот фонд удовольствия напластовывается по линии наибольшего количества однокачественных внешних раздражений, питающих тем самым как бы избирательную площадь физиологического опыта, при оттеснении прочих отраслей на задний план. И в первом и во втором случае эти избранные «очаги оптимального возбуждения» раннего детства более или менее резко дифференцируются, специализируются, начиная играть крупную, как бы избирательную роль во всех последующих ориентирующих реакциях организма, в значительной степени определяя собою специальную направленность всего дальнейшего физиологического опыта, хотя бы об'ективно, биологически это и шло вразрез с интересами организма.

(По Фрейду, такой особо избранной областью, специализирующейся на «добывании легкой радости» и приобретающей впоследствии огромное направляющее значение для всего организма в целом, является, по преимуществу, сфера половых проявлений. Здесь, по-нашему, коренится одна из крупных ошибок Фрейда,—однако ошибок, к счастью, не затрагивающих основ его общей методологии. Об этом ниже.)

Телеология? Чем же об'ясняется эта «неосмысленная» диспропорция между врожденным фондом, ранним детским опытом и позднейшими его приобретениями?

Во-первых, именно неосмысленностью организма, отсутствием в нем той преднамеренной, мистической, приспособляющей «мудрости», которой столь усердно до сих пор в нем ищут виталисты, бергсоновцы и прочие телеологи и теологи. Среда, и только она, определяет собой фонд биологических навыков, но являются ли они целесообразными или нет,—это дело удачи, и только! Современная социальная среда, капиталистическая среда, в этом отношении чрезвычайно неудачлива для человека, создавая с каждым десятилетием пласты новых, большей частью дезорганизующих раздражителей и в то же время приводя в состояние растущей хрупкости все навыки наследственного приспособления, делая их все менее пригодными для быстро меняющегося состава новой среды. Эта биологическая дезорганизованность человека, эта биологическая «неосмысленность» его являются великолепной почвой для паразитического, по линии наименьшего сопротивления, отвлечения крупных сил биологического фонда.

Вытеснение и торможение. Вполне естественно таким образом, что при дальнейшем росте организма, при более ответственных столкно-

вениях его с внешней средой, при накоплении во внешней среде таких раздражений, которые чужды взращенному им опыту,—при невозможности опереться на реакции окружающих, заменяя ими, как это было в детстве, свои собственные затраты,—при таких условиях подрастающий организм оказывается в состоянии стойкого и длительного торможения по отношению к этим раздражителям. Но среда, «реальность» требует конкретного приспособления, пред'являет обязательства на ответы, об'ективно уравновешивающие физиологическое положение организма в среде, без отношения к количеству затрат, без связи с суб'ективным фоном этого равновесия. Торможение по адресу новых раздражителей, т.-е. препятствие к накоплению новых, об'ективно приспособляющих навыков, должно уничтожиться под влиянием усиления, сгущения этих новых раздражений,—должно дать ход росту новых условных рефлексов. Торможение должно замениться растормаживанием.

Весь этот процесс и представляет собою «борьбу принципа удовольствия с принципом реальности»...

Чрезвычайно интересны в этом смысле опыты Павловской лаборатории над собаками (конечно, без всяких намерений фрейдовского их истолкования со стороны экспериментаторов): серией длительных и настойчиво организуемых раздражений (световых, звуковых или болевых), собака теряет способность реагировать обычным своим хватательным, слюноотделительным и прочими рефлексами на подносимый ей пахучий мясной порошок, независимо от длительности срока предшествовавшего ее голодания,—если демонстрация порошка не сопровождается соответствующими условными «сигналами» (звук, свет и пр.). Вначале, конечно, происходит настойчивое торможение по адресу этого нового раздражения («протест принципа удовольствия»): собака рвется к порошку, выделяет слюну и пр., — но пищи не дают без соответствующих предварительных сигнализаций («принцип реальности»), и она в конце концов «покоряется»: «принцип удовольствия уступает принципу реальности». Без получения «разрешения», без условного сигнала она попросту биохимически «не в силах» есть (нет слюны и прочих соков), не имеет «аппетита», «не хочет» есть.

С человеком, конечно, обстоит сложнее. Его влечения (общебиологические, социальные, половое) значительно богаче по содержанию, имеют много разнообразных ветвлений. Уступив реальности в одной из наиболее биологически для него ответственных областей (хотя бы в области непосредственного питания), он может сосредоточить целую серию торможений в отношении к другим раздражениям среды, биологически не первоочередного порядка [1]). Да и эти первоочередные раздражители, хотя бы в области того же питания, у человека связаны с таким многообразным окружением (социальным и прочим), что постоянные торможения и здесь становятся неизбежными: колебания «аппетита» и об'ективного состояния пищеварения при изменении социальной обстановки, при конфликтах в любовной жизни и т. д.

[1]) Биологически первоочередными они являются не в силу их „целесообразности" (в жизни нет целесообразности), а в силу особо частого сцепления их со средой.

Современная социальная среда и человеческий организм. Современная окружающая человека среда, т.-е. среда капиталистического строя, ни в малейшей степени не приспособлена к этому полиморфизму человеческих свойств. Впечатления, навыки, т.-е. условные рефлексы, накопляющиеся с ранних детских лет, в подавляющей части являются тормозящими факторами для тех новых раздражений, которые в более ответственный период роста организма преподносятся средой человеку. Это чрезвычайно ограничивает площадь накопления нового опыта,—создается как бы средостение между старым опытом и средой, т.-е. материалом для нового опыта, — организм как бы противопоставляется среде, сохраняя под спудом большую часть своего энергического фонда. В конечном счете, понятно, исходный момент этого торможения содержится не в организме, а в отсутствии нужной ему последовательности в раздражителях, выдвигаемых средой. Уничтожение подобного торможения, расторможение связанного энергического фонда возможно лишь при реорганизации среды, при создании в ней растормаживающих, т.-е. «сублимирующих», факторов. Фрейдовская сублимация это и есть устойчивое расторможение, обусловленное накоплением в среде раздражителей, по биологическому своему содержанию наиболее родственных господствующим сейчас очагам накопившегося возбуждения.

Сублимация и расторможение. Подобное расторможение может быть бурным (прорыв, «катарзис») и более длительным, организованным (действительная сублимация).

Для уяснения механизма подобного расторможения воспользуемся житейской иллюстрацией. Мелкий чиновник грубо оскорблен своим начальником: «раздражения» подобного порядка вызывали у него всегда прежде привычное торможение — взамен агрессивного рефлекса, который в данном случае обычно не получал должного питания, так как чиновничья среда в царском строе не создавала, конечно, благодарной почвы для формирования выявленных агрессивных рефлексов. Сумма этого заторможенного возбуждения может проявиться во вне в двух направлениях: 1) Чиновник является домой, садится обедать, какая-нибудь мелочь, небольшой беспорядок на столе его «раздражают», раздражение падает на поле заторможенного возбуждения и вдруг — резкий, грубый прорыв: огромной силы агрессивный рефлекс, — тарелки летят в жену, детей, кулаки стучат по столу, рев на всю квартиру (фрейдовский катарзис, — взрыв, бурное излияние заторможенного возбуждения). Это один путь. 2) Возможен и другой путь: заторможение остается в силе, дальнейшие оскорбления начальника поддерживают, питают его, конденсируют его. Но на-ряду с этим появляются и новые раздражители: революционная манифестация по городу, подпольная прокламация, призывающая к борьбе с «начальниками» вообще, даются указания о методах этой борьбы, длительной, настойчивой, организованной. Агрессивный рефлекс освобождается, но не в бурной, а в о р г а н и з о в а н н о й форме, длительно развертываясь, превращаясь в настойчивую подпольную революционную работу. А г р е с с и в н ы й р е ф л е к с о р г а н и з у е т с я, с у б л и м и р у е т с я: рефлекс низшего порядка превращается путем кум-

муляции (нарастания) вокруг него возбуждения, путем длительного его торможения и медленного его высвобождения—в рефлекс высшего порядка — в творческий процесс.

Таким образом суб'ективизм терминов: «желание», «удовольствие» «вытеснение», «стратегия», «бессознательное», «бегство в болезнь» исчерпывающим образом нейтрализуется вполне об'ективными понятиями: «рефлекс» «очаги оптимального возбуждения», «фонд наименьшей энергической затраты» «торможение», «растормаживание», «рефлекторная направленность» и т. д.

Фрейдовская, как бы нарочитая, преднамеренная целеустремленность психофизиологических процессов, заставляющая, при непонимании дела, задумываться, нет ли здесь пресловутой бергсоновской мировой «творческой мудрости» (недаром один из талантливейших фрейдистов, кое в чем от учителя отколовшийся, Альфред Адлер откровенно примкнул к бергсоновщине) превращается в вполне холодную, об'ективную физиологическую обусловленность, руководимую мотивами, лежащими не в «мудром организме», а в среде, в раздражителях и создаваемой ими биологической направленности.

Интересно сопоставить эту об'ективную биологическую направленность со столь тоже пугающим многих об'ективистов Павловским «рефлексом цели». Автор, в частности, полагает, что подобного изолированного рефлекса в организме не существует, так как всякий рефлекс вообще является «целевым» ответом на раздражение,—устремлением *к* раздражителю или *от* него,—но, в то же время, термин «рефлекс цели» имеет полное право на существование как яркий художественный образ. Рефлекс цели, это — стойкая установка на серию специализированных, прочно организованных раздражителей,—раздражителей, часто повторяющихся и тонко варьирующихся, находящих биологическое сродство в элементах предшествующего опыта организма, совпадающих с его зонами наибольшего возбуждения, эта установка постепенно превращается в специализированную целевую установку организма, который в дальнейшем делается особенно биологически чутким к раздражителям данного порядка, к колебаниям, потрясениям именно в их составе («избирательность»?).—«Хорошо организованный рефлекс цели,— говорит Павлов (т.-е. хорошо организованная серия раздражителей, организованная среда, по-нашему),—имеет огромное физиологическое значение, возбуждая и направляя все физиологические функции». Конечно, это не преднамеренность, не метафизическая телеология, не суб'ективированная стратегия, а физиологическая реакция. Цель—не впереди, а сзади: раздражитель.

Об'ективный анализ сновидения и внушения. Анализ механизмов сновидений, элементов внушения получает такое же рефлексологическое истолкование.

Во сне, когда прекращается действие внешних раздражителей, как мы видели, слишком часто имеющих тормозящее значение, этот внешний покой сам по себе является раздражителем растормаживающего порядка.

Ряд заторможенных рефлексов получает тем самым толчок к выявлению, но, понятно, неполный, не исчерпывающий толчок, так как абсолютного

покоя в окружающей среде организм никогда не имеет. Прорывающиеся к выходу заторможенные, т.-е. новые, непривычные, рефлексы («образы вытесненных желаний») вызывают необычное состояние в организме, известную в нем физиологическую встряску, нарушающую полноту, глубину сна, — частично пробуждающую спящего. Спящий тем самым частично снова связывается с элементами внешней среды, — элементами, как мы знаем, тормозящего характера: этим элементом может быть и мебель комнаты, и занавеска над постелью, и даже одеяло, подушка, так как вся среда ассоциативно окрашена для него в тона торможения по отношению к «вытесненному комплексу» (причем восприятие этих элементов может быть спящим и не осознано). Но это торможение не полное, так как возбуждение наяву, связанное с широкой реальностью, конечно, гораздо сильнее этих мелких, отдаленно им родственных возбудителей, почему торможение и приобретает влияние лишь в меру возможностей исказить прорывающиеся рефлексы, пропустить их во вне («в сознание») в процензурированном виде, не подавляя их во сне полностью. Вот откуда возникла фрейдовская цензурирующая активность механизмов сновидения [1]).

Сюда же надо отнести элементы внушения. Внушающий сам является тормозящим раздражителем для организма, становится между последним и средой, тем парализуя ее тормозящее влияние, заменяя ее собою, откуда и возникает «подавление сознания» (так наз. сознание — физиологический слой, непосредственно связывающий организм со средой). Заторможенные рефлексы, как и во сне, получают таким образом выход, растормаживаются,—но не полностью, так как взамен оттесненной среды имеют перед собой нового раздражителя, в виде гипнотизера, на которого и «переносятся» подавленные рефлексы («перенос», или, как это называли старые гипнологи: «rapport» — связь). Внушающий, тем самым, приобретает власть над этими рефлексами, организуя их по своему произволу, давая им то или иное направление. Эта власть об'ясняется, конечно, большей его чуткостью и умелостью в сравнении с грубыми раздражениями прочей среды, почему ряд его проявлений (выражение лица, тон голоса, общее обаяние его личности: властность, нежность и пр.) оказывается вполне по пути заторможенным рефлексам, давая им некоторый выход (вплетаясь в образы прежних детских воспоминаний, связывая с «комплексом отца», матери и пр.). Гипнотизер использует эту своеобразную послушливость организма, сочетая ряд растормаживающих моментов («компенсация», «удовольствие») с необходимыми лечебными торможениями (обязательства среды), в результате чего и формируется нечто вроде компромисса. Однако надо помнить, что этот компромисс чрезвычайно хрупок: во-первых, он обусловлен временным оттеснением живой реальности («подавление сознания»), которая, возродившись, окажется сугубым тормозом (гипнотизер — стена между гипнотиком и реальностью); во-вторых,

---

[1]) В ряде попыток фрейдистов анализировать те или иные сновидения имеются чрезвычайные натяжки, но это уже из'яны не методологического толкования механизма сновидения, а ошибки методической техники.

компромисс этот связан с обязательным вмешательством искусственного раздражителя (гипнотизер), перенос на которого в дальнейшем может стать новым тормозящим агентом, так как растормаживающие факторы будут доступны лишь при появлении именно этого раздражителя—гипнотизера. В этом и заключается, по толкованию психоаналитической школы, своеобразная «стратегическая хитрость» загипнотизированного: уступка—вымогательство, спекуляция.

Фрейдизм и рефлексология. Зачем же, наконец, нужны фрейдовские суб'ективные толкования, скажет читатель, если все они находят себе рефлексологические об'яснения? В том-то и дело, что учение о рефлексах до фрейдовских открытий не имело и понятия о тех интимных глубинных процессах, которые характеризуют собой основные источники так назыв. психических функций. Учение о рефлексах поставило для анализа этих процессов лишь грубейшие вехи, построило вводные схемы. Психоанализ же, проникнув в потайные ходы психики, вскрыл там богатейший, до того совершенно неизвестный материал и преподнес его в готовом виде для рефлексологического подтверждения, не говоря уже о ряде законов—пока пусть дедукций,—обоснованием которых рефлексология должна будет заниматься еще долго — с большой для себя пользой. Здесь мы имеем несомненное плодотворнейшее взаимодействие, не учитываемое пока, к сожалению, ни самим психоанализом, ни рефлексологией.

Суб'ективистическая манера мышления действительно слишком специфична для психоаналитической школы, чем и об'ясняется полное отсутствие у нее пока связи с рефлексологическим учением. Но возможность отказа от суб'ективизма в области фрейдизма, как мы видели, вполне осуществима,— конечно, если давать анализ учения не в плане голого его описания, а в связи с теми критическими поправками, которые вносились в него по пути его развития (что и делалось нами выше). Важны ведь не личные мысли самого Фрейда, а вся его школа в целом.

Анализ сексуальной теории Фрейда. Как заметил читатель, все приведенные выше об'яснения оказались возможными без единого упоминания о так наз. фрейдовской теории полового влечения. Очевидно, не в ней основа психофизиологических открытий Фрейда. Все же и на сексуальной его теории придется несколько остановиться.

Нельзя не согласиться с Фрейдом, что первичные, частичные элементы полового влечения рождаются одновременно со всеми другими функциями. Половой аппарат в целом, в зрелом его виде, в каковом мы с ним сталкиваемся у взрослого человека, есть лишь завершение, синтезирование этого длительного предварительного роста половой функции, роста постепенного—по линии собирания разрозненных ее частиц: ощущения слизистых оболочек, кожи, волос, неоформленное любовное стремление к об'екту, сначала адресующееся ребенком самому себе (нарцизм, аутоэротизм) — все это несомненные, об'ективно подтверждающиеся факты—в самые ранние этапы детского развития.

Однако в дальнейшем у Фрейда начинаются крупные ошибки, послужившие основной причиной недоразумений, непонимания всего его учения

в целом. Этим первичным элементам полового влечения, очень хрупким, безобидным, Фрейд придал слишком большое значение. Половой источник он сплошь и рядом находит в таких общебиологических и социальных проявлениях человека, которые в этом ни в малейшей степени не нуждаются. Ряд обычных детских социальных связей (ранние симпатии и антипатии), многие проявления обычного детского стремления к знанию (исследовательский рефлекс у Павлова), тяготение к вкусовым раздражениям — Фрейд сплошь и рядом пытается об'яснить выражением или видоизменением начального первичного детского полового влечения, в то время как мы об'ективно находим этому иные причины.

Дело не в первичной половой окраске этих тяготений, а *в половой перекраске прочих влечений, идущих из совершенно иных, но временно заторможенных областей*. Попытаемся уяснить это положение.

Основные влечения, или основные физиологические функции организма, можно разделить на три категории: область обще-биологических проявлений (питание, кровообращение, движение и пр.), область социальных проявлений (общение с себе подобными) и область половая.

В результате стойких торможений, создающихся с раннего детства современной средой по отношению к большому количеству проявлений в *первых двух областях*, биологически наиболее ответственных,—сумма возбуждений, сосредоточенных вокруг них, в порядке *переключений* центров его накопления неизбежно направляется по линии наименьшей энергической затраты («наибольшего удовольствия»), наименьших обязательств, пред'являемых в детстве средой к этой области, т.-е. по линии сгущения и обострения половых проявлений. Половая область как бы разбухает, пухнет, паразитически напившись соков, не ей принадлежащих, но похищенных у прочих областей,—у областей, которые являются более биологически сейчас ответственными, а потому в скверно организованной среде наиболее часто и тормозимыми. Половому, как мы видим, принадлежит не гордый приоритет в этом процессе, а довольно бесславная роль паука, поневоле принужденного поглощать освобожденную от активности энергию, за неприложением ее к условиям безобразно построенной современной социальной среды. Тем трагичнее становится для человека его половая проблема, которая таким образом превращается в *глубоко социальную проблему*, но тем менее близка к истине сексуальная теория Фрейда.

Половой материал современного человека действительно непомерно велик, но не биогенные тому причины, а социальные.

Отсюда и процесс творчества, для подавляющей части содержания которого Фрейд ищет половых корней, на самом деле питается последними лишь на втором плане («прямая» сублимация половой энергии), в основе же своей он осуществляется путем *освобождения неполового, чуждого половому, материала из противоестественного полового плена*. Это противополовое *отсасывание*

должна провести хорошо организованная социальная среда — лучший противо-половой насос, лучший сублимирующий аппарат.

Подобная производная роль непомерной половой «мощи» человека (der Mensch sexsualiesiert das All—по Ницше) хорошо иллюстрируется аналогией с «великими» личностями в истории, по поводу которых Плеханов указывал на преувеличение размера дарований и мощи этих личностей, обусловленное тем, что личности эти в борьбе оттирали своих конкурентов и, заняв их место, сосредоточив на себе исключительное внимание всех, казались тем самым, при помощи содействовавших им общественных условий, во много раз более величественными, чем то было на деле. Совершенно так же обстоит и с половым вопросом. Расплющив целую серию естественных биологических проявлений, извратив пищевые, двигательные, дыхательные устремления человеческих организмов антигигиенической обстановкой производства, эксплоатации и гнилой атмосферой «культурных» городов, классовый строй создал все условия для ложного направления энергического фонда человека, для паразитического переключения его в половую область.

Кстати, подобное же явление еще Рибо назвал «законом общего эмоционального знака». Ряд разнородных, иногда глубоко чуждых друг другу психических устремлений, если они связаны во времени каким-либо общим впечатлением, и если эта связь часто повторялась, скрепляются в дальнейшем как нечто единое, и воспроизводятся неотделимо одно от другого. Это же подтверждается и учением об условных рефлексах. Такого рода нагромождением совершенно разнородных элементов, происходящих из глубоко отличных источников, об'единенных лишь случайной технической связью— «общим эмоциональным знаком», и является фонд современного полового опыта. Современная общественная жизнь, подавляя естественные—общебиологические и социальные—проявления, старательно нагнетает всю выдавленную ею из человеческих организмов энергию в сторону полового; удивительно ли, что в результате подобной «работы» нас постигло целое половое наводнение.

Какие же огромные резервы творческих сил скрываются под этой мутной водой! Не на половом, а на социальном лежит ответственность за потопление этих резервов. К счастью, их можно извлечь,—и пролетарская, революционная общественность это сделает.

Итак, в половом вопросе Фрейд во многом неправ. К счастью, несмотря на эту крупную его методологическую ошибку, все прочие психофизиологические построения остаются, как мы видели, в силе. Половой ли фонд оказывается в преимущественном торможении, возбуждении, или иной, своими отбросами или невольным избытком питающий половую жизнь, — для нас важно лишь одно: констатировать в современной социальной среде дезорганизующее построение, фатально являющееся тормозом для огромной части творческого богатства человека. Глубинные механизмы этого торможения, своеобразные пути интимных соотношений организма со средой в этом сложном процессе, способы извлечения скрытого богатства на социальную поверхность—все это впервые вскрыто фрейдизмом и сейчас находит

себе добавочное подтверждение в рефлексологии. Историческая неподменимость научных заслуг психоанализа, тем самым, вряд ли подлежит опротестованию.

Фрейдизм и марксизм. Однако, какое же до всего этого дело марксизму? — скажет читатель. Недаром и Г. И. Челпанов пишет [1]), что марксизм столько же должен интересоваться анализом психических процессов, сколько и минералогией.—Какое дело марксизму, марксистской социологии до чистой биологии?—скажет наш жестокий критик вместе с Челпановым. В биологии, как в минералогии, — свои методы, ничего общего с марксизмом не имеющие, вполне для марксизма безразличные, — «были бы они лишь об'ективно точны».

«Об'ективизм». Кстати об об'ективизме этого «об'ективизма». Существует ли чистый об'ективизм в условиях классовой борьбы? Видели же мы выше, что мыслительные процессы регулируются и направляются «суб'ективным интересом». Для людей подытоживающих общественную практику (а наука—итоги социальной практики, чего бы она ни касалась) таким суб'ективным интересом является классовая установка. Между об'ектом и наблюдающим всегда лежит затемняющая, извращающая, «вытесняющая», «тормозящая» пленка—даже и в области биологии, даже (о ужас! —скажет Челпанов) — и в минералогии.

Вот биология, казалось бы. об'ективнейшими методами оперирует, об'ективные выводы должна бы получать, но «почему-то» пролетарский Наркомпрос отстаивает в ней дарвиновскую точку зрения, а «внепартийный» спецовский с'езд проводит антидарвинскую резолюцию [2]). В чем дело?

Боюсь, что, если минералогам поручит практическое задание п о в о е н н о й о б о р о н е наш Доброхим, часть их вдруг творчески потускнеет. Кристально-чистый их научный об'ективизм, стукнувшись лбом об острую классовую практику, окажется вдруг чрезвычайно хрупким...

Психология же, как мы знаем, гораздо «социальнее» и минералогии и биологии. Можем ли мы ждать психологического об'ективизма от наблюдателей, в области социологии не являющихся об'ективистами, т.-е. марксистами, ленинистами?

Права марксизма на психологию. Как это ни нелепо, но подобная «внеклассовая» точка зрения на психологию фигурирует кое-где и в отдельных марксистских высказываниях. Приходится поэтому вначале вкратце защитить права марксизма на критику различных психологических систем и лишь потом уже перейти к обоснованию прав фрейдизма на марксистскую санкцию.

Во-первых, для марксизма, который, конечно, является не только социологической, но и философской системой, совсем не безразличен методологический подход к пониманию самого существа психики. «Душа и тело», или только тело,—психофизическое взаимодействие, параллелизм,—

[1]) Докладная записка в Наркомпрос с. г.

[2]) См. статью тов. Крупской по этому вопросу в „На путях к нов. школе“ с. г.

или психофизиологический монизм—все это, понятно, не нейтральные для марксистской философии вопросы. Но дело не в одной только философии.

Для марксистской социологии тем более не безразлично то или иное психологическое учение. В частности, для ленинизма всякая теория есть лишь путь к практике. Марксистская, ленинистская практика — практика наилучшей организации пролетарской, революционной борьбы. Практика анализа и использование психических процессов человека—«довольно» острое оружие в этой классовой войне. Чего больше в человеческой психике: реализма или мистики, рационализма или фантазии, самодеятельности или подражательности, диалектики или статики, эготизма или социальности — равные ответы на эти вопросы могут сыграть разную классовую роль. Поэтому-то идеологически и важен метод, которым работает психолог около человека. Если психолог лабораторно отрывает человека от специфических именно для человека раздражителей,—от раздражителей, в основе определяющих его психизм, т.-е. от социальной среды — прячет его в замкнутую коробку, лишенную вообще каких бы то ни было раздражителей, преподнося ему затем экспериментальные возбуждения, ничего общего не имеющие с социальной диалектикой, его обычно окружающей,—это для ленинца, для марксиста-практика вовсе не «минералогический» вопрос. Если реакции, полученные в ответ на эти статизированные, выхолощенные, мертвые раздражители, психолог сочтет «естественными» реакциями для человеческого организма вообще,—и на основе этих реакций будет строить законы психических, т.-е. и всех биологических процессов (ибо это неотделимо), т.-е. и законы практического воздействия на человеческий психизм, на человеческий организм, — ленинист, марксист-практик никак не может при этом остаться эпически холодным.

Вне социальной диалектики нет психического функционирования человека, и лабораторное выхолащивание психизма создает сумасшедшие или преступные законы дыхания в безвоздушном пространстве— взамен трезвых, нужных законов живой социальной организации психизма. Современный «внесоциальный», индивидуалистический эксперимент над изолированной от прочей части организма психикой, притом еще оторванной от живой связи с социальной средой, похож на Вагнеровские попытки построения гомункулуса в колбочке. В лучшем случае, да и то под серьезным контролем, подобный эксперимент смеет претендовать на узенькое приложение его к простеньким профессиям, требующим элементарнейших биологических свойств: известной нормы зрения, слуха, мускульной силы и пр. На учет же и формирование глубоких, тончайших законов богатейшей психологической динамики, — динамики, являющейся непосредственным отражением социальной динамики, в которой человеческий организм неотрывен от коллектива, класса, качественно глубоко его преображающего,—современный индивидуалистический, психологический эксперимент претендовать на это не в праве ни в малейшей степени. Психология

человека, как и социология, не может быть предметом контроля и руководства со стороны внематериалистически, внедиалектически, «внеклассово» настроенных ученых.

Итак, важны, как видим, в одинаковой степени и методология и метод: они взаимно органически определяются. У марксизма, ленинизма, поэтому, может быть и должен быть свой метод в психологии, и этому методу чистый, освобожденный от ненужной примеси фрейдизм вполне сродни.

Марксизм и фрейдизм. Рефлексология тем ценна для марксизма, что она переносит центр тяжести всей биологической проблемы на среду, с одной стороны, с другой же стороны, она оперирует с цельным, единым человеком, не разделенным на фиктивные категории «физиологических» и «психологических» явлений. Фрейдизм служит этому же в сугубой степени, развертывая притом богатейшую диалектическую пластичность человеческого организма, впервые в науке раскрывая перед нами ценнейший, глубочайший социально-физиологический материал.

1. Состав социальной среды — вот первое, что определяет собой все человеческие психофизиологические процессы. Это—основная формулировка, логически вытекающая из фрейдовских построений. Хаотическая комбинация современных социальных раздражений создает грубое несоответствие между унаследованным фондом, опытом раннего детства, и дальнейшими, более зрелыми психофизиологическими накоплениями. Отсюда — закупорка огромной части биопсихологических сил человека, извращенное их применение, при использовании социальной средой лишь ничтожной части этой энергии. В подвале же человеческой психофизиологии лежат могучие резервы, ждущие соответствующих социальных раздражений. Резервы эти обладают необычайной пластичностью.

2. В этой грубой биопсихологической дезорганизации человека имеется своеобразная направленность («стратегия»), обусловливающая собою весь ход мыслительных и прочих так наз. психических процессов. При организации воспитывающих раздражителей необходимо эту направленность, эту целевую установку всегда учитывать. Все психические процессы таким образом полностью детерминированы, и моменту «свободной воли», «свободного выбора» под эту детерминацию подкопаться никак нельзя [1]).

---

[1]) Напрасно опасаются метафизичности этого понятия—„целевая установка". Один из авторитетнейших наших товарищей как-то высказался, что лишь колоссальная воля помогла товарищу Ленину так долго и продуктивно бороться с болезнью, и это замечание вызвало некоторый ропот в марксистских кругах. Конечно, товарищ никак не понимал „волю" в буквальном, метафизическом ее смысле, а подразумевал, видимо, именно целевую установку. Благоприятная же целевая установка, это ведь не что иное, как благоприятная социальная среда, хорошо организующая рефлексы, хорошо тонизирующая, возбуждающая весь организм в целом. Ведь может же быть благоприятный климат для легких, почек, сердца, почему таким „климатом" нельзя считать и социальную атмосферу, серию хороших социальных раздражителей, которые, воздействуя на организм, тем самым превращаются ведь и в фактор биологический. „Кислород общественного доверия",—по великолепному выражению тов. Зиновьева,—может быть не только социаль-

3. Сублимация — планомерная организация социальных раздражителей по линии растормoжения закупоренной энергии («бессознательное»). Всякий творческий процесс, т.-е. процесс, питающийся особо крупной биологической активностью, есть в подавляющей своей части результат социального высвобождения перед тем заторможенных рефлексов. Отсюда проблема творчества, в своей основе, есть проблема умелой социальной комбинации тормозящих и растормаживающих влияний.

4. В социальной среде организм выявляет себя сразу всем своим существом и «физиологическим» и «психологическим», тормозя и растормаживая одновременно самые разнообразные функции (общебиологические, социальные и половые проявления тесно переплетены), почему выделить в этих единых рефлекторных установках «психическое» и «физиологическое» начало нет возможности и нужды. Пищеварение, дыхание, как и мысль, одинаково неразрывны и лишь в органической их связи являются материалом для построения рефлекторного акта. Об'яснение этому одно — психофизиологический монизм, которому фрейдизм и служит чрезвычайно усердно, почти всем своим материалом (после его об'ективной расшифровки).

5. Возможны сложнейшие переключения энергических волн под влиянием вариаций социальных раздражителей. Человек превращается в любострастника, в обжору, в честолюбца, в «святого» в зависимости от этих переключений социальных раздражителей [1]). Избыток сексуальности в эпоху реакции и у паразитирующих классов — и, наоборот, пуританская скромность хотя бы нашего революционного авангарда в наиболее ответственные боевые периоды — один из видов этих переключений, один из типических видов социального использования человеческой энергии (торможение или растормoжение, переключение направления). Перед советской общественностью, этим зародышем первой в истории человечества действительно сублимирующей общественности, стоит задача—отказаться от традиционных, по линии биологической инерции, буржуазных, большей частью паразитических включений, и реорганизация социальных раздражителей по линии максимальной сублимации заторможенного творческого фонда человека. В основе, конечно, этот процесс решается по пути укрепления социалистического хозяйства, но и нашим надстройкам предстоит в этом вопросе сыграть грандиозную роль.

6. Фрейдизм дает ценнейшее обоснование для классового понимания и классового построения «психической», творческой направленности человека. «Заинтересованность» мысли-

---

ным, но и биологическим фактором (социально-биологическим). См. также мою статью „Рефлекс революц. цели" (Кн. „Очерки культ. рев. вр.").

[1]) Конечно, этим переключениям может кое в чем мешать наследственная установка, так наз. конституция. Однако мощная динамика фрейдовских построений заставляет сейчас глубоко содрогаться всю проблему конституций (см. ниже, тез. 7).

тельных проявлений, торможение «мыслительного аппарата» по отношению к «неаппетитным» раздражителям («забываем наши долги»; «стараемся не понимать то, что нам неприятно») ставит «под сомнение» об'ективизм научного и художественного творчества. Основной мыслительный фонд, как врожденный, так и ранне-детский, современного «культурного» человека накопляется по линии наименьшего сопротивления, по линии семейных, бытовых и господствующих общесоциальных, т.-е. классовых, т.-е. буржуазных традиций. его обслаивающих в этот период («принцип удовольствия»). Отсюда колоссальное торможение в отношении к новому опыту, требующему перехода на другую, об'ективно реальную, т.-е. пролетарскую, точку зрения, и классовый консерватизм творческой направленности подавляющего большинства выходцев буржуазии. Отсюда—ничтожное количество научных и художественных перебежчиков в другой, в пролетарский классовый лагерь. Отсюда же и неминуемое увеличение числа этих перебежчиков при развертывающейся победе пролетариата, т.-е. при дезорганизации их фонда «удовольствия» и смертельной необходимости компромисса с реальностью: идеологические, научные, художественные «сдвиги». Отсюда же и вывод о необходимости твердой («обязывающей») классовой пролетарской политики, классовой организации раздражителей («реальность») в области просвещения, воспитания, науки, искусства.

И наконец:

7. Фрейдовский материал поучает нас и еще одному обстоятельству. Огромное влияние современной социальной среды на организм, закупорка ею подавляющей части энергии человека, развивающего для реальности лишь ничтожную долю своих возможностей, дает крепкое обоснование для понятия о необычайной человеческой пластичности, о богатейших воспитуемых и перевоспитуемых его резервах, если создать для них соответствующую среду. Отсюда тщательнейшей и самой оптимистической критической проверке должны мы подвергнуть господствующие пока еще понятия о «фатуме» наследственности, о «власти» конституций, о «точных» нормах возрастов и о прочей самодовлеющей биологической статике, всемерно игнорирующей нашу современную социальную сверхдинамику. Для революционно-пролетарской педагогики в этом фрейдовском материале—неисчерпаемый источник ценностей.

Итак, социальный динамизм (пластичность) человеческого организма, психофизиологический монизм, исчерпывающий детерминизм всех биопсихических проявлений, и богатый фонд ценнейших революционно-практических советов по вопросам воспитания и перевоспитания человека — вот вклад, который внес фрейдизм в науку. В основе своей, как мы видели, этот вклад идеологически глубоко родственен марксизму.

Фрейдизм сделал неузнаваемой не только психологию (в том числе и так наз. «экспериментальную»), но радикально перетряхнул и всю психопатологию. Огромное влияние его на физиологию и общую патологию еще скажется в дальнейшем. Говорить об этом придется, конечно, в другой раз.

Вместе с тем нельзя не упомянуть и об скользких, подчас опасных местах фрейдизма. О половой теории уже было сказано. Однако этот сверхсексуализм окрашивает собой у Фрейда и попытки его проникнуть в проблемы социальной психологии. Чрезвычайно часто связи частиц человеческой массы между собой, а также взаимоотношения вождя и массы у Фрейда насквозь проникнуты первичным половым содержанием, которым он, по преимуществу, и пытается разрешить соответствующие социальные «избирания» вождя и толпы. Этим же половым ланцетом и вообще биологическим методом тщится он проникнуть и в историю культуры, в мифологию, с досадной настойчивостью отстаивая совершенно неоправдываемые дедукции. Но об экскурсиях фрейдизма в социальную психологию придется говорить тоже особо, — тем более, что методологических основ его учения о психофизиологическом аппарате эти экскурсии не касаются.

В частности, специальная опасность заключается и в практике фрейдовского психоанализа: техника лечебного использования психоанализа оставляет лечимого наедине с лечащим, — оживляющие впечатления социальной среды заменяются суррогатом в виде нарочитых вопросов или далеко не об'ективированных об'яснений, что, в конечном счете, зачастую может лишь усугубить эту индивидуалистическую самозакупорку, усилить антисоциальное торможение больного («перенос — спекуляция, сопротивление» — по типу внушения, но в еще более утонченной форме: «психоаналитическая жвачка»). Торможение («сопротивление») гораздо проще и легче смягчается, если умело реорганизовать социальную среду, наладив в ней серию соответствующих живых раздражителей. Больной окажется тогда в атмосфере сочной жизненной динамики, в обстановке естественных живых раздражений, а не в искусственной атмосфере натянутых раз'яснений и хитрых вопросов психоаналитика. Психоаналитический лечебный метод, как метод индивидуалистический, т.-е. антиколлективистический, для нас не только технический, но и принципиальный вопрос,—в чисто фрейдовской трактовке, следовательно, не приемлемый [1]).

Привожу в связи с этим выдержку из статьи своей: «Коллективизм, как физиологический фактор» [2]):

«В своеобразной борьбе больного с врачом все господствующие сейчас психоаналитические средства покоятся на личных контактах психоневротика с врачом, на доверии или недоверии первого ко второму, на личных уступках, тяжбах, на суб'ективных свойствах лечащего и пр. Слишком часто это приводит к хронической утонченной войне между обоими («переносная» летучесть лечебного эффекта, психоаналитическая «жвачка», обострение сопротивлений, усиление «внушаемости» и пр.), углублению замаскированных методов невротической борьбы, к привычке жить в социально-искусственной, экзотической (так наз. психоаналитической) атмосфере, что лишь хронифицирует психоневроз, а не устраняет его.

[1]) Это не уменьшает серьезного теоретического значения психоанализа, как одного из наиболее чутких и точных методов изучения психофизиолог. аппарата.

[2]) „Оч. культуры".

«Лишь живое, непосредственное общение с коллективом, дающее возможность для больного социально-действенных, сублимирующих (а не замкнуто-самодовлеющих: «катарзис») разрядов, побуждает психоневротика к последовательной серии аналитических и деловых усилий. Ограничение же психотерапии «личным» анализом больного и личным воздействием на него неминуемо приводит к психотерапевтической наркомании, к «влюбленности» в лечение или в врача.

«Психоневротика следует непрерывно держать в живой цепи активных социальных раздражителей, пронизанных здоровым действенным содержанием, сильным и требовательным, ставящим психоневротика и группы психоневротиков в положение абсолютной социальной невыгодности их болезни. Гибко содействуя маневрированию больного в коллективе и умело организуя пути маневрирования всего коллектива в целом, мы уничтожаем в больном необходимость прятаться от общества в болезнь, вернее, делаем для него невозможной, нелепой, убыточной эту игру в индивидуалистические фикции, в психоневротические прятки».

Особенно опасным, конечно, является чудовищный суб'ективизм всей терминологии и почти всех понятий фрейдовской школы. В этом отношении надо воздать ей должное. Без попыток коренной ее рефлексологической расшифровки, идеалистическим духом от нее отдает на большое расстояние, почему недоуменные нападки на фрейдизм являются в значительной степени естественными. Фрейдовские сочинения обычно преподносятся без малейших попыток об'ективизировать, материализировать этот, по изложению, очень и очень двусмысленный материал. Массовый читатель, конечно, не сумеет в этой двусмысленности разобраться и поощряемый редакторскими восторгами (восторгами на все 100%), незаметно для себя «бергсонируется». С этим надо настойчиво бороться, всякой фрейдовской книжке предпосылая критическое введение и снабжая ее исправляющими примечаниями. Тем более нельзя радоваться появлению «оригинальной» российской литературы, использующей для психологии, социальной психологии, искусства одни лишь метафизические стороны учения Фрейда: эта литература, к сожалению, тоже сейчас нарождается.

Химическая война.

М. Павлович.

(Продолжение).

II.

„Химическая стратегия в мирное время".

§ 1. **Германский химический синдикат (I. G.) и его гегемония в мировой химической индустрии. Немецкие химические фирмы.**

Мы указали выше, что основная идея книги Лефебюра заключается не столько в описании форм и характера самой «химической войны», сколько в подчеркивании всей важности «химической стратегии в мирное время». В чем же заключается суть этой «химической стратегии в мирное время», о которой Лефебюр пишет не только сотни раз в самой книге, но и в титуле последней? Формулированная сжато, программа Лефебюра сводится к следующему: Один Крупп, пушечный, уничтожен, но рядом с ним существовал до войны и существует до сих пор в Германии другой Крупп, более страшный, именно химический, в лице треста I. G. Его необходимо уничтожить.

«Разве мы не знаем, — пишет Лефебюр, — как Люденфорф советовался одновременно и с I. G., чтобы выработать свою широкую программу снабжения боевыми припасами. Очень немногие отдают себе отчет в том, что I. G. в действительности было вторым Круппом. В самом деле, было бы довольно любопытно видеть Германию, принимающую участие в этих проектах разоружения и готовую добровольно отказаться от своей монополии красильных веществ. Между тем это единственное решение, гарантирующее абсолютную безопасность. До тех пор, пока единственные источники производства этих веществ будут в руках Германии или всякой другой страны, никакой проект разоружения не будет покоиться на солидном основании.

«Мы опять возвращаемся к тому же пункту, к признанию, что весь вопрос заключается в обладании средствами производства. Производство, как мы сказали, может быть контролируемо, на-

пример, в отношении танков; но в отношении производства военных химических веществ контроль не может быть осуществлен. Лига Наций не может рассчитывать на такую монополизацию их, как I. G., которое и при наличии Лиги Наций, и без таковой является постоянной угрозой миру.

«Не нужно скрывать от себя правду: переговоры при заключении договора, как и сам договор, не переставали предвидеть изменчивую природу химической войны. Мы знали, что азотные заводы Мерзебурга и Оппо представляют единственную в своем роде угрозу. Мы понимали, какая опасность заключается в оставлении в руках преступной Германии монополии на производство ядовитых газов. И, тем не менее, договор, оставаясь глухим ко всем аргументам, совершенно не учел этих опасностей. Даже теперь суть дела уразумела только половина из числа тех, кого оно больше всех интересует.

«Таково новое оружие, применение которого требует долгих исследований и производства в широком масштабе. С исследованиями ничего не поделаешь, что же касается производства, то мы показали, что контроль не сумеет ему помешать. Тем не менее, три особенности этого оружия требуют, чтобы в отношении его были приняты радикальные меры в целях разоружения.

«Прежде всего химическое разоружение **есть ключ** ко всем остальным. Все наступательное оружие, исключая штык, в большей или меньшей степени зависит от военных химических веществ.

«Во-вторых, химическая война сама по себе так важна, что всякий проект разоружения, не принимающий ее в расчет, прежде всего не больше как простая насмешка.

«Наконец, никогда ни одно государство не обеспечивало себе почти исключительной монополии на какое-нибудь оружие, как это сделала Германия в отношении химического оружия. Стремление к установлению равновесия боевых средств обоих противников, проявившееся по мере продолжения войны, не коснулось в этом отношении германских привилегий» (стр. 173).

Что же такое представляет собой I. G., этот второй германский Крупп, более страшный, чем первый? I. G. (Interessen Gemeinschaft)—это гигантский синдикат, об'единяющий все крупнейшие заводы немецкой красильной и фармацевтической промышленности.

К концу XIX столетия массовая выработка красильных веществ была почти монополизирована шестью большими фирмами:

1) Баденской анилино-содовой фабрикой в Людвигсгафене на Рейне, известной под именем Баденской;

2) фабрикой красок Фридриха Байер и К-о в Леверкузене, известной под именем Байер;

3) Акционерным анилиновым обществом в Берлине;

4) заводом красок Майстера, Люциуса и Брининга, часто называемым Гехшт;

5) Леопольда Касселля во Франкфурте;

6) Акционерным обществом Калле и К-о в Биберихе.

Каждая из этих шести фирм достигла уже огромных размеров производства еще задолго до войны. Только две другие фабрики могут быть сравниваемы с ними: химическая фабрика Грисгейм-Электрон во Франкфурте, поглотившая несколько других предприятий меньшего значения, и химическая фабрика б. Вейлертер-Меер в Юрдингене.

Известно, что все эти заводы, исключая одного, расположены на Рейне и его притоках. Их проспекты являются историей их развития. Гехшт, основанный в 1863 году, начал работу с 5 рабочими. В 1912 году там работали 7.680 рабочих, 374 подмастерья, 307 дипломированных химиков и 74 первоклассных инженера.

Баденская анилино-содовая фабрика занимает едва ли не первое место на земном шаре среди химических фабрик. Основанная в 1865 г. в Мангейме, она была перенесена через два года на другой берег Рейна, в Людвигсгафен, где был сооружен грандиозный завод, занимающий 250 гектаров территории. Первоначальный капитал предприятия, равнявшийся при основании фабрик 1.400.000 флоринов, вырос последовательно до 36 миллионов марок. Персонал, занятый в Людвигсгафене в 1912 г., состоял из 2 директоров, 5 помощников директора, 26 уполномоченных, 412 инженеров и химиков, 8.000 рабочих. Число рабочих на Баденской анилино-содовой фабрике со времени основания росло следующим образом:

1865	30	рабочих.
1896	4.800	"
1898	5.127	"
1909	6.207	"
1912	8.000	"
1914	11.000	"

Первым успехом Баденской фабрики было открытие в 1869 г. искусственного способа производства красной ализариновой краски. Производство искусственного ализарина нанесло смертельный удар культуре марены, процветавшей, между прочим, во Франции. Для поощрения этой культуры Наполеон ввел красные штаны во французской армии [1]). До открытия искусственного ализарина годовая продукция марены во Франции оценивались в 30 миллионов франков. В настоящее время культура марены во Франции исчезла.

Открытие синтетического ализарина сопровождалось целым рядом открытий в той же области химиками Баденской фабрики (синяя ализариновая краска, черный ализарин, синяя антраценовая и т. д.). Другим величайшим открытием Баденской фабрики был способ приготовления искусственного индиго после тщательных и долгих изысканий, продолжавшихся около 20 лет (с 1880 по 1897 г.). Искусственное индиго постепенно начало вытеснять с мировых рынков индиго натуральное, ¼ продукции которого добывалось в английской Индии и $^1/_8$ в голландских колониях и в Центральной Америке. В 1897 г. Германия импортировала естественное индиго на 26 миллионов фр., а экспортировала искусственное индиго на 8 миллионов

[1]) Louis Bruneau, L'Allemagne en France, стр. 255, Париж 1914.

франков. Но это было только началом борьбы между искусственным и натуральным индиго.

Накануне мировой войны Германия импортировала натуральное индиго всего на 560.000 франков, а экспортировала на 69 миллионов франков искусственное индиго. Таким образом искусственное индиго убило культуру натурального индиго, как искусственный ализарин убил культуру марены. Несомненно, что та же участь ожидает все другие естественные краски, животного или растительного происхождения. Марена исчезла в самое короткое время. Естественное индиго уже выходит из употребления. Дорогая кошениль (добывается из высушенных самок насекомых вида Coccus cacti) уступила место более дешевым пунцовым азокраскам; желтое дерево почти совершенно вытеснено желтым ализарином, галлофлавином и т. д. Экстракт из дерева «красный сандал», применявшийся при кращении хлопка, в ситцепечатании и т. д., заменяется теперь красными азокрасками. Орсель или персион, приготовлявшаяся из некоторого вида лишаев (с Канарских островов, из Индии, Южной и Центральной Америки) и игравшая до введения искусственных красок видную роль в кращении шелка и шерсти, почти совершенно вытеснена теперь многими превосходящими ее искусственными красками.

Баденская фабрика имела свои отделения во всей Европе и, между прочим, одно отделение в Париже. Кроме того, эта фирма имела во Франции свой химический завод в Невилль-на-Соне, что открывало для немецкой химической индустрии обширный рынок во Франции.

Во Франции существует предположение, что на Баденской фабрике производятся в тайне изыскания новых взрывчатых веществ. В 1921 г. произошел невиданной силы взрыв на заводе анилиново-содового общества. Сейчас же явилась мысль, что там готовили новое, страшной силы, вещество. Это было официально опровергнуто. На заводе имелись сравнительно невинные вещества: аммиачная селитра, серно-аммиачная соль и небольшое количество аммонала. Соли предназначались для целей удобрения почвы. Но официальному сообщению не поверили. Из 1.600 лиц, бывших на заводе, никто не уцелел, погибли все. От завода осталась яма, наполнившаяся водой и образовавшая озеро в 30 метр. глубины и 130 × 90 метров по площади. Некому было подтвердить эту версию.

Фирма «Фабрики красок Фридриха Байера и К-о в Леверкузене», основанная в 1881 г., имела накануне войны персонал в 10.000 служащих и рабочих, занятых на ее немецких предприятиях (Бармен, Эльберфельд, Дюссельдорф) равно как на ее фабриках в России, Франции, Бельгии и С. Штатах.

При капитале в 36 миллионов марок она получила в 1911 г. чистый доход в 14 миллионов марок и распределила между своими акционерами дивиденд в 25%. Фирма эта имела во Франции свое отделение: «Анонимное общество продуктов Фридриха Байера и К-о», построившее громадный химический завод около Лилля.

Фирма Байера специализировалась на фабрикации фармацевтических продуктов. Так, мировой известностью пользовался «аспирин» Байера. Кроме

того фирма вырабатывает все химические продукты и специально искусственные краски.

Новейшим очень важным открытием на фабрике Байера, о котором рассказывает, между прочим, проф. М. Чиликин («Успехи в области текстильной химической промышленности на Западе»,—«Известия», 6 мая 1923 г.), является евлан—вещество типа шерстяного красителя, но бесцветное, задачей которого является сделать шерстяное волокно нес'едобным для моли. Моль совершенно не трогает волокна, пропитанного евланом. Фабрика Байера ставит себе широкую задачу борьбы с молью — этим вредителем носильного платья. Целая научная лаборатория посвящена этой цели, ряд химиков и биологов работает в этой области. Был собран богатейший материал о жизни, размножении и разрушительной работе этих маленьких вредителей. От них работа перешла и в другие области борьбы с мелкими паразитами и вредителями. Имеются уже средства для борьбы с головными вшами и отчасти даже с платяной вошью—этим ужасным русским бичом и распространителем сыпного тифа. Эта область еще не до конца изучена, и результаты еще не такие блестящие, как в области борьбы с молью, головной вошью и даже с чесоточным паразитом. С молью вопрос можно считать почти решенным. Шерсть, шерстяная ткань, будучи при крашении пропитаны также и евланом, становятся недоступными для моли во всю свою службу человеку; легкая чистка и стирка не вредят этому свойству; даже бывшие в употреблении вещи или готовые изделия, ковры и др. можно, пропитав раствором евлана, сделать также нес'едобными для моли; при этом не происходит никакого изменения в цвете, нет какого-либо сильного запаха или вредного для здоровья влияния. Понятна та громадная экономия, которая может быть достигнута в интендантском деле, если шерстяная ткань и сделанные из нее вещи будут недоступны для моли. Так же важно, чтобы окраска этих вещей была особенно прочной. В германской армии уже перешли на крашение особенно прочными кубовыми красителями, очень хорошие образцы выработаны красочными фабриками.

«Акционерное анилиновое общество» (A. G. für Anilin-Fabrication) образовалось в 1873 г. из слияния двух фирм: «Анилиновая фабрика Марциуса и Мендельсона-Бартольди в Берлине» и «Фабрика красящих веществ д-ра Жордана в Трептове». «Анилиновое общество» имеет в Германии фабрики в Рюммельсбурге, в Трептове, Биттерфельде, Вернсдорфе, Кикемале и занимает 4.000 рабочих. Эти фирмы также имели свою фабрику во Франции.

Фирма красок Люциуса и Брюнинга в Гехште, основанная в 1862 г. Вильгельмом Мейстером, Люциусом и Мюллером, владела первоначально одной маленькой фабричкой, производившей 5 килограммов фуксина в день. В 1879 г. фирма превратилась в анонимное общество, капитал которого исчислялся в 1911 г. в 36 миллионов марок. Накануне войны на фабриках этого общества в Гехште было занято 300 химиков, 80 инженеров, 600 служащих и около 7.000 рабочих. Чистый доход общества в 1911 г. равнялся 16.136.000 марок, давший возможность распределить акционерам

дивиденд в 30%. Заводы в Гехште производят до 8.000 различных видов искусственных красок. Среди медицинских средств, фабрикуемых на этих заводах, всемирной известностью пользуется антипирин. Наконец, в 1892 г., в Гехште была учреждена бактериологическая станция для производства туберкулина Коха, затем антидифтерического серума Беринга.

Фирма Мейстера, Люциуса и Брунинга имела свои отделения в большей части стран земного шара. Во Франции она имела агентства в Париже, Лионе, Марселя, С.-Этьене, Амьене, Нанте, Реймсе и свое отделение «Парижская компания анилиновых красок». Эта компания построила в Крейне химический завод, который накануне войны изготовлял, между прочим, «неосальварсан», якобы чисто французский продукт в отличие от немецкого «сальварсана» [1]), пресловутого 606, открытого Эрлихом.

Фирма Леопольда Касселля во Франкфурте специализировалась в производстве искусственных красок и имела свои отделения или агентства во многих странах, между прочим, филиал в Лионе, под именем «Лионская мануфактура красящих веществ», представлявшая акционерное общество.

Фирма Калле и К-о в Биберихе снабжала Германию и многие страны иодолем, ментол-иодолем, этолем и т. д.

Накануне мировой войны более 30 крупных химических заводов Германии занимались фабрикацией красящих веществ и производили 90% мирового производства красящих веществ. Ценность производства одних только анилиновых красок возросла с 1879 г. по 1898 г. с 30 до 150 миллионов франков. В 1912 г. Германия экспортировала за границу 1.250.000 метрических квинталов красящих веществ на сумму 230 миллионов марок. В 1913—1914 г. ценность красящих веществ, выработанных во всем мире, определялась по французским данным в 600 миллионов франков золотом, причем из этой суммы на долю немецкой химической промышленности приходилось 500 миллионов фр., т.-е. $^{9}/_{10}$ мировой фабрикации красящих веществ. Постепенно крупные немецкие химические фирмы начали об'единяться. В 1904 г. появились два химических треста. В состав одного вошли синдикаты Байера, Баденская и Анилиновое акционерное общество. В состав другого вошли: Гехшт, Касселль и Калле: Процесс горизонтальной концентрации не остановился на этом. В 1916 г. оба синдиката об'единились с Грисгейм, Электроном (Франкфурт-на-Майне); с химической фабрикой Вейлертер-Меер (Юрдинген) и другими меньшими предприятиями и образовали один гигантский химический трест I. G. (Interessen Gemeinschaft) с капиталом в 400.000.000 марок. Этот трест фактически монополизировал в своих руках всю германскую химическую промышленность.

---

[1]) Louis Bruneau, L'Allemagne en France, стр. 264.

Трест I.-G. фактически держал в своих руках мировую монополию красящих веществ. Не лишены основания следующие строки, которые мы читаем в бюллетене «Французского национального синдиката красящих веществ», создавшегося в период мировой войны, в ноябре 1916 г.:

«Подобно другим странам, Франция в области потребления красящих веществ находилась в полной экономической зависимости от Германии. Последняя не только импортировала во Францию громадное количество химических продуктов, но сверх того имела, под французскими этикетками, отделения своих крупнейших фабрик во многих пунктах Франции, именно: Леопольд Касселль и К-о (из Франкфурта) в Лионе; Баденская анилиновая и содовая фабрика (из Людвигсгафена) в Невилль-на-Соне; фабрика Байера и К-о (из Леверкузена) во Флере (на севере Франции); Акционерное анилиновое общество (Берлин) С.-Фу (на Роне); фабрика Мейстера, Люциуса и Брунинга на Крейне (под Парижем); фабрики Вейлертер-Меер (из Юрдингена) в Туркоине (Сев. Франции)».

С помощью своих отделений, создавших в самой Франции ряд фабрик, перерабатывавших немецкие полуфабрикаты, немецкие химические заводы освобождались от необходимости платить высокие пошлины при импорте фабрикатов во Францию. Само собой разумеется, что германский химический трест имел свои фабрики не только во Франции, но также в Англии, России, Австро-Венгрии, Италии и даже в С. Штатах. Так как Германия посылала на свои заграничные химические фабрики для переработки лишь полуфабрикаты, секрет изготовления которых тщательно сохранялся и был известен лишь немногим лицам в самой Германии, немецкая химическая промышленность сумела сохранить тайну приготовления своих важнейших химических и фармацевтических препаратов и не было оснований опасаться, что благодаря открытию немецких фабрик в других странах Германия создает себе за границей могущественных конкурентов в области химической индустрии. Наоборот, именно благодаря своим зарубежным фабрикам немецкая химическая промышленность фактически захватила мировую монополию в свои руки.

Разгром Германии и Версальский мир не убили немецкой химической промышленности. Как пишет проф. М. Чиликин в цитированной нами выше статье:

«Германская красочная промышленность внешне благоденствует. Все фабрики работают полным ходом, завалены заказами. Все страны света закупают краски в Германии, и, кроме того, 25 проц. производства идет в пользу стран-победительниц. На фабриках видна оживленная деятельность, видны вновь отстраиваемые корпуса. Несмотря на покупаемый дорогой уголь, на потерю важных промышленных областей, работа идет полным ходом, и краски можно было покупать по ценам не выше довоенных. Чем об'ясняется эта картина, сами немцы об'яснить затрудняются, но, очевидно, это все покоится на искусственно поддерживаемых дешевых внутренних ценах и на малой заработной плате.

«Швейцарская красочная промышленность, чрезвычайно сильно развившаяся за время войны и увеличившая в несколько раз свои американские отделения, сейчас находится в печальном затишье. Дешевая германская краска не дает им работать. Теперь они подготовляют себе торговые рынки ко времени поднятия немецких цен до нормального уровня, чтобы вступать в конкуренцию. При посещении мною одной такой швейцарской фабрики ряд отделений был совершенно заперт на замок, другие работали только частично, в очень малом масштабе. Имеется указание на начало производства ализарина и индиго. Относительно национальной красочной промышленности Англии имеются мало утешительные сведения. С октября 1920 года дела пошли плохо, в начале 1921 года фабрики позакрывались, лабораторные химики были распущены, исследования остановлены [1]). Не то было в Америке. Здесь, по официальным отчетам, дела до сих пор обстоят блестяще. Уже в 1917 году было многое сделано для развития красочной промышленности, и 1.733 химика были заняты в этой отрасли при 17.910 рабочих. На работы по исследованиям было истрачено 2½ миллиона долларов. Сырые продукты — все своего производства, исключая антрацена. Большого труда стоило заставить промышленников интересоваться выделением антрацена. Отчет 1921 года дает значительное увеличение числа фирм, занимающихся производством смолы; улучшено коксование, все заботы направлены к увеличению улавливания побочных продуктов. Ввозится только 10 проц. красок от веса своего производства, а вывозится 6 проц. Это представляет уже громадный успех».

§ 2. **Междусоюзный химический синдикат для борьбы с немецкой монополией. Военные тайны немецкой химической промышленности и Версальский договор.**

Могущество германской химической промышленности, которую не могли поколебать даже тяжелые условия Версальского мира, потеря Саарского и Силезского угля, залежей фосфористых железных руд и общая экономическая разруха в Германии, естественно, побудили усилившихся и чрезмерно разбогатевших за время войны королей химической индустрии в Англии, Франции, С. Штатах и т. д. искать новых путей к уничтожению немецкой мировой гегемонии в области химической индустрии. В 1919 г. организовалась междусоюзная конфедерация ассоциаций по чистой и прикладной химии, которая в качестве химической секции вошла в состав «Международного совета по исследованиям». Ее официальное название «Union internationale de la chimie pure et appliquée» (Международный союз по чистой и прикладной химии).

Вот что проф. В. И. Тищенко пишет о задачах этого Международного союза (см. ст. «Химическая промышленность и война», Журнал Русского физико-химического общества при Петроградском университете, т. XIV. Госуд. Изд. 1923).

---

[1]) Позднейшие данные противоречат этой пессимистической характеристике состояния английской химической промышленности. За период 1922—1924 г.г. в химической промышленности Англии замечается несомненный прогресс. *М. П.*

Задачи этого Союза следующие:

1) Усиливать между союзными народами связи уважения и дружбы, которые уже укрепились за время войны.

2) Организовать постоянное сотрудничество (кооперацию) химических ассоциаций различных стран.

3) Согласовать их научную и техническую деятельность.

4) Содействовать успехам химии во всех ее отраслях.

Первый с'езд этого Союза (Конфедерации) состоялся в Лондоне с 14 по 18 июля 1919 г. и члены с'езда принимали участие в торжествах по случаю заключения мира. Второй с'езд был в Риме, в Academia dei Lincei с 21 по 24 июля 1920 г. Кроме союзных государств, в члены Союза (Конфедерации) приняты единогласно Канада, Дания, Греция, Чехо-Словакия и Польша.

В числе своих ближайших и постоянных задач Союз ставит поддержание постоянной связи между химическими группами государств, вошедших в Союз; координацию их работ для производства общими силами некоторых оригинальных исследований; об'единение химической номенклатуры, классификации, мер и систем единиц, методов анализа, технической и промышленной стандартизации и проч. Предполагается также организация центральной библиотеки, в которой было бы собрано все написанное по химии (отдельные сочинения и работы, периодические издания, привилегии и т. д.), а также музея исходных материалов и готовых химических продуктов. Эта библиотека и музей будут представлять полную историю чистой и прикладной химии. С другой стороны, Союз ставит своей неотложной задачей издание периодических обзоров химической литературы крупных руководств и журналов на французском и английском языках, чтобы и в этом отношении избавиться от немецкой зависимости.

Параллельно с этим идет об'единение промышленности. Однородные или близкие промышленные предприятия об'единяются в крупные промышленные группы.

Выше было указано образование германского Азотного синдиката Stickstoff Syndicat. В 1916 г. восемь крупнейших фирм по химической и красочной промышленности об'единились в другую гигантскую группу „I. G.“ (Interessen Gemeinschaft) с общим капиталом в 1.200.000.000 марок [1]). В начале 1920 г. в Соедин. Штатах велись переговоры об об'единении четырех крупных фирм: General Chemical C⁰, the Barret C⁰, Semet-Solvay C⁰ и National Anilin C⁰. Общий капитал их составляет около 300.000.000 долларов.

Хотя это и не в духе французских и английских промышленников, привыкших вести дело в одиночку, тем не менее об'единяются промышленные предприятия во Франции и Великобритании, и это об'единение считается прямо жизненным вопросом. Руководители английской химической промышленности неустанно указывают на необходимость об'единения.

Так, на заседании Лондонского отделения Об-ва химической промышленности (London Section of the Society of Chemical Industry) в начале 1920 года д-р Ормонди предупреждал членов: „Если британские химические фирмы останутся верны своей системе работы отдельными разрозненными единицами, то будет лишь вопросом времени, когда Германия вернет свое первенство не только в химической промышленности, но и в производстве железа и стали“.

На том заседании Э. В. Ивенс (E. V. Evans) в конце своего доклада о положении британской красочной промышленности и ожидающей ее германской конкуренции напомнил, что „будущее принадлежит не той нации, которая успешнее всех повторяет старые, уже известные процессы, а той, которая открывает новые

[1]) Эта цифра, приведенная в ст. проф. Ипатьевым, не соответствует имеющимся у нас данным и, повидимому, очень преувеличена по сравнению с действительной цифрой капитала.

линии прогресса. Другими словами, все нации начинают прогрессировать (выдвигаться вперед) с новой отправной точки, и та, которая имеет больше веры в научные исследования и не жалеет на них средств, должна обеспечить себе первенство между остальными.

И эта последняя мысль о необходимости научных и особенно химических экспериментальных исследований становится всеобщей. В Англии, Соед. Штатах, во Франции, Италии, Японии, везде стремятся покровительствовать наукам, способствовать их развитию, особенно химии. Везде устраиваются исследовательские институты, реорганивуется на научных основах земледелие и промышленность, ассигнуются крупные суммы на расширение университетского, особенно химического преподавания. А различные новые научно-исследовательские ассоциации союзных стран возглавляются „Международным исследовательским советом".

В то же время все государства стремятся обеспечить себя в отношении основных химических производств, чтобы в случае войны не нуждаться в привозе самых необходимых материалов. Работы учреждений и лабораторий, связанных с войною, не прекращаются. Учреждения эти из временных превращаются в постоянные, ибо все убеждены, что в будущих войнах химические средства войны будут играть еще более важную роль. Горе тому государству, которое об этом забудет: Si vis pacem, para bellum—хочешь мира, будь готов к войне.

Основная цель организаторов «Международного Союза по чистой и прикладной химии», в число членов которого, конечно, не была приглашена Германия, заключалась в борьбе с химической немецкой промышленностью и прежде всего с германским химическим трестом.

Точку зрения руководителей этого «международного союза химических королей и шовинистически настроенных ученых Франции, Америки, Англии, Бельгии с поразительной выпуклостью и беззастенчивым цинизмом формулировал в своей книге Лефебюр, требующий, под предлогом борьбы с всемогущим Ι. G. фактического уничтожения германской химической промышленности.

Прежде всего Лефебюр настаивает на выполнении немцами статьи Версальского договора, «в силу которого германцы должны сообщать нам все секреты своего производства взрывчатых веществ, все свои приемы изготовления ядовитых газов, в конечном счете, все военные секреты, составляющие их силу».

Параграф 172 гласит: «По истечении трехмесячного срока, начиная со дня вступления в силу настоящего договора, Германское правительство предоставит...: виды и способы производства всех взрывчатых веществ, ядовитых составов или других химических веществ, изготовленных или для войны, или с целью применения на войне».

«Необходимо, чтобы этот пункт был строго соблюдаем. В продолжение всего напряженного периода химической войны германцы безусловно должны были иметь в запасе новые вещества, помимо тех, которыми они пользовались. Крайне важно получить все желательные сведения в этой области.

«Тут обнаруживается одно поразительное обстоятельство. 1915, 1916 и началю 1917 г.г. видели производство химических составов, применявшихся германцами на фронте. Все изыскания и другие подготовительные

работы должны были быть поэтому выполнены задолго перед тем. Какие же сюрпризы приготовили для нас германские лаборатории после 1917 г.? Были ли они обнаружены в силу договора?

«Наиболее важным обстоятельством с точки зрения толкования 172 параграфа является раскрытие способа Габера. Его значение для производства взрывчатых веществ так велико, что всякая небрежность в этом отношении с нашей стороны составляет прямую угрозу против мира. Этот способ безусловно спас Германию в 1915 году, и в значительной степени благодаря ему мы пережили три года тяжелых испытаний. Он не должен избегнуть подчинения обстоятельствам договора только в силу желания представляться скорее способом производства химических удобрений. чем средством для производства взрывчатых веществ. Уступить в этом отношении, как бы поводы к тому ни казались убедительными, значит уступить в деле еще более важном: в мире. Эта статья, как рассматривающая только результаты деятельности во время войны, не может быть, впрочем, рассматриваема. как серьезная гарантия для будущего. Она является последствием нашей победы и результатом нарушения германцами своего обязательства. Но Версальский договор содержит в себе признание значения химической войны в будущем. Действительно, параграф 171 гласит: «Так как применение удушливых. ядовитых или подобных им газов так же, как и применение всех жидкостей. составов и средств этого рода запрещено, производство их и ввоз в Германию строго запрещается. Эти положения применяются к материалам, специально предназначенным для производства, для сохранения или для использования указанных веществ или способов».

Защищая необходимость требования от Германии строжайшего выполнения параграфа 172 Версальского договора, Лефебюр в то же время доказывает, что никакие гарантии не помешают Германии снова начать при первом удобном случае химическую войну. Вот как аргументирует Лефебюр:

«Параграф 170 запрещает ввоз в Германию всех видов боевых припасов. С точки зрения химических боевых составов. этот пункт ровно ничего не значит, так как Германия. далекая от мысли ввозить что-либо, остается самым крупным экспортером мира. Кроме того, кто поручится нам, что союзные правительства сами бессознательно не поддержат германского вывоза. Лорд Мультон говорит в одной речи, произнесенной в Манчестере в декабре 1914 года: «Предположим. что наш военный министр, по финансовым соображениям, приобретал в течение последних лет свои боевые припасы на рынке по самой низкой цене. Весьма вероятно, что он покупал бы боевые припасы Круппа в Эссене. Не подвергли ли бы его за это три месяца тому назад суду Линча?». Мы далеки от подобных геройских решений минувших дней. Но если нам, знающим подлинный военный характер этого второго Круппа, не удастся развить нашей собственной военной химической промышленности, это предостережение может стать пророчеством.

«Параграф 171 запрещает Германии производство удушливых газов и подобных им составов.

«Имеет ли этот пункт какую-нибудь ценность при отсутствии действительного контроля? Если принять во внимание легкость превращения веществ, о которой мы уже говорили, какое значение может иметь это запрещение для Германии, когда война об'явлена...

«Правда, в случае поражения она навлечет на себя кару за нарушение договора. Но разве возможность этого нарушения не допущена смыслом начала 171 параграфа: «Так как применение ядовитых газов запрещено и т. д.».

«Поэтому трудно понять, каким образом может нас защитить в будущем параграф 171, если не будут установлены определенные кары за допущенные уже нарушения. Можно произвести многочисленные сравнения между доводами этого параграфа и действительным значением других параграфов, которые должны были бы между тем усиливать его значение.

«Редакторы договора полагали, что нужно было упомянуть специально о химической войне, и они обнародовали против нее специальный закон. Само собой разумеется, что меры, применяемые к средствам производства различных видов оружия, должны быть предметом обсуждения тех, кто составлял параграфы, относящиеся к разоружению. Заключается ли в договоре прямая угроза специальным заводам ядовитых газов? Мы боимся, что ее нет, а, наоборот, имеется преимущество реальной неприкосновенности.

«Где можем найти мы помощь помимо договора? Всеобщий мир зависит от разоружения, но настоящий мир придет к нам после коренного изменения индивидуальных мнений. Само собой разумеется, что силы, действующие в этом направлении, воздвигнут здание мира. Тем не менее, Лига Наций может сделать многое и предполагает ограничение производства оружия всех видов. Слабое место всех этих проектов, как мы уже говорили, вызвано существованием органической химической промышленности. Без нового распределения этого рода производства, разоружение будет не больше, как насмешкой, лишенной смысла, так как Германия будет продолжать и в будущем пользоваться своей монополией так же, как она пользовалась ею и в прошлом».

Лефебюр безусловно прав, поскольку он доказывает, что только уничтожение немецкой химической промышленности может лишить Германию возможности вести химическую войну в будущем. Крайне любопытны следующие строки, в которых проф. Ипатьев указывает на теснейшую связь между производством красок и производством военных химических материалов.

«За время войны все государства торопились развить у себя производство искусственных красок, составлявшее ранее монополию Германии. Во Франции, Англии, а особенно в Соед. Штатах эта отрасль промышленности твердо укрепилась, приготовилась к германской конкуренции; но дело это старались развить у себя и более слабые в промышленном отношении государства, которые не могут надеяться на успех борьбы с Германией. Такая, казалось бы, нерациональная промышленная политика об'ясняется заботою

об обороне государства. Иметь хорошо развитое производство красок — значит иметь хорошо развитую химическую промышленность, которая в любой момент может обратиться к производству массовых количеств взрывчатых веществ и других современных военных химических материлов. Держать большие запасы их не рационально. Их трудно хранить, неразумно держать в них непроизводительно большой капитал; как показала минувшая война, слишком много их надо и все-таки нет уверенности в том, что их окажется достаточно. Чтобы показать близкую связь их с красками, приведем один пример ряда простых химических превращений. Бензол, при действии на него хлора, дает хлорбензол; хлорбензол при нитровании превращается в динитрохлорбензол; динитрохлорбензол, при обработке щелочами, дает динитрофенол. При действии на динитрофенол сернистого натрия получается черная сернистая краска; при дальнейшем нитровании он превращается в тринитрофенол или пикриновую кислоту, которая красит шелк и шерсть в желтый цвет; с другой стороны, пикриновая кислота есть одно из сильнейших взрывчатых веществ, известное в различных государствах под названием мелинита, лиддита, пертита, экразита, шимозы. Если на пикриновую кислоту опять действовать хлором, можно получить из нее хлорпикрин, одно из самых сильных удушающих средств»[1]).

Идея создания единого междусоюзного фронта для борьбы с «монополией» немецкой химической промышленности, легшая в основу образования «Международного союза по чистой и прикладной химии», потерпела фиаско. План уничтожения могучего химического треста I. G. и создания на его развалинах международного химического консорциума не мог иметь успеха уже потому, что сами союзники перессорились между собой, и Антанта постепенно разбилась на враждебные друг другу державы и союзы держав. Идеи Лефебюра о необходимости уничтожения немецкой химической промышленности и немецких химических концернов могли иметь некоторый успех в Англии, Италии, Канаде, Бельгии и т. д., в то время, когда образовывался «Международный союз по чистой и прикладной химии», в медовый месяц Антантовской дружбы.

§ 3. Англо-германское сближение в области химической промышленности.

В настоящее время борьба с немецкой химической промышленностью и всемогущим германским химическим трестом уже не соблазняет английскую буржуазию. Как сообщал в своем докладе представитель американской фирмы

---

[1]) См. Журнал Русского физико-химического общества при Петрогр. университете, часть химическая, т. XIV, выпуск 6—7, стр. 87—88.

R. F. Greef and Co — Роберт Гриф, совершивший деловую поездку по Европе, «британские коммерческие круги почти совсем отрешились от порожденных войной враждебных чувств по отношению к Германии. Они смотрят на дело с чисто коммерческой стороны и готовы покупать товары у кого угодно, лишь бы подешевле, хотя бы у Германии».

В настоящее время (апрель 1924 г.) английская пресса сочувственно комментирует проект соглашения между Британской корпорацией красящих веществ и Германским анилиновым концерном. «Германская опасность» уже не страшит английскую буржуазию и перед последней встает более действительный и грозный призрак французской опасности в виде многочисленных французских воздушных эскадр, готовящихся к бомбардировке, в случае войны, Лондона и разрушения столицы Англии с помощью взрывчатых веществ и удушающих газов, выработанных на французских химических заводах.

Хотя английская химическая промышленность развивается довольно быстро и успешно, и в прошлом году было вывезено химических продуктов на 25,7 мил. ф., на 20 проц. более, чем в 1922 г., при чем количество вывезенных красок увеличилось на 168 проц., тем не менее, Брит. корп. крас. вещ. считает для себя выгодным об'единение с Герм. анил. концерном. Возможно,— пишет «Экономическая Жизнь» (15 апреля 1924 г.),—что одним из существенных обстоятельств, побуждающих к этому, являются конкуренция химической промышленности С. Штатов и угроза со стороны Франции. Брит. корп. кр. в. организована в 1919 г. при значительном участии правительства. Капитал ее превышает 9 млн. ф., такой же суммой определяется ее участие в союзных компаниях. Корпорация об'единяет около 75 проц. всего английского производства красок.

Анилиновый концерн представляет собой полное об'единение анилинового производства в Германии. Работа специализирована между отдельными заводами. Теперь ставится задача распределения работы по странам вместо непроизводительной конкуренции. Ближайшие выгоды об'единения для обеих договаривающихся сторон таковы: Анил. концерн избавляется тем самым от репарационных поставок, а Брит. корп. кр. в. приобретает содействие немецких специалистов.

«Этот проект вызывает крайнее беспокойство двух других английских организаций — Брит. Ассоциации химич. промышленников и Ассоциации торговцев химич. продуктами и крас. веществами, интересам которых сильно угрожает предполагаемое соглашение».

Как бы то ни было, английская буржуазия собирается, очевидно, применить «химическую стратегию в мирное время» не против Германии, как проповедывал Лефебюр, а, наоборот, в союзе с Германией против Франции.

Да, в то время, когда английский маршал Генри Вильсон рядом с Фошем писал свое предисловие к книге Лефебюра, обоим маршалам и на мысль не приходила возможность соглашения немецких и английских химических трестов для борьбы с «французской опасностью» и американской конкурен-

цией. Тем более не приходила английскому маршалу Вильсону и на мысль возможность очутиться вместе с Фошем друг против друга в двух воюющих вооруженных лагерях. А эта возможность отнюдь не устранена и, может быть, в близком будущем мы будем свидетелями подлинной «химической войны» между Англией и Францией после того, как обе державы начали применять друг против друга «химическую стратегию в мирное время».

(Окончание следует.)

К 200-летней годовщине со дня рождения Имм. Канта.

Л. Рудаш.

(Перевел И. Румер.)

> Несоответствие между философским и политическим развитием Германии не есть что-то ненормальное. Это несоответствие необходимое. Только в социализме может философский народ обресть соответствующую ему практическую действительность и, значит только в пролетариате—деятельный элемент своего освобождения.
>
> Маркс. Критические заметки и т. д.,— Nachlass, II, 55 (изд. Меринга).

22 и 23 апреля н. г. Германия — философская Германия, ибо политическая давным-давно утратила всякий интерес к философии — праздновала 200-летнюю годовщину со дня рождения Иммануила Канта. И можно сказать: если 23 апреля 1724 г. Кант родился, то 23 апреля 1924 г. он был окончательно похоронен.

Уже по внешней форме происходивших торжеств было видно. что это мертвые оплакивают мертвеца, а не жизнь справляет праздник во славу жизни. Процессии в кенигсбергский собор, благодарственные молитвы богу за то, что он 200 лет тому назад дал родиться Канту в Кенигсберге... И во главе процессий реакционные корпорации фашистского студенчества, отношение которых к философии явствует уже из их названий: недаром же одна из них носит, не стыдясь, характерное название «Вандалы». Кант и кантианство мертвы; их торжественные похороны состоялись 23 апреля 1924 г. в Кенигсберге, в 200-летнюю годовщину со дня рождения кенигсбергского философа Иммануила Канта.

Но что за дело пролетариату до этих пышных похорон одного из мертвых учений прошлого? До этого кладбищенского торжества, справляемого мертвым классом в мертвой стране — германской буржуазией в буржуазной (долго ли еще?) Германии? «Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Нас это интересует лишь потому, что кантианство в своих разнообразных

формах не осталось без влияния на выработку философии современного коммунизма, — хотя, правда, на всех последовательных марксистах это «влияние» отразилось только тем, что они вели борьбу против попыток влиять на них со стороны оппортунистов, вставших под знамя кантианства. В борьбе против неокантианства, в его явных и скрытых формах, развитие философского мировоззрения пролетариата сделало шаг вперед. И борьба эта еще далеко не закончена, хотя главные бои уже даны и давно выиграны в пользу пролетариата. После Плеханова и Ленина мы, рядовые воины революции, можем вести только мелкие арьергардные дела с разбитым и отступающим врагом,—и оружие наше взято из арсенала наших великих учителей. Но эти арьергардные бои тоже необходимы: рассчитаться с каким-нибудь Максом Адлером, например, не совсем излишне. Тем более, что такова была искони сущность кантианства: оно выступало в крайне радикальной форме — с тем, чтобы по существу все оставить по-старому. Это, впрочем, общая черта всей немецкой философии: взятая эпиграфом к настоящей статье цитата из Маркса именно это и высказывает. В самом деле «несоответствие между философским и политическим развитием Германии» в том и заключалось, что в области философии немецкая буржуазия крайне радикально додумывала до конца то, о чем она не смела и мечтать в области политики. Если в этом один из корней буржуазного идеализма вообще, то с обострением классовой борьбы в эпоху империализма этот идеализм охотнее всего облекается в форму неокантианства (и не только в Германии). Играть эту роль неокантианству было тем легче, что оно часто выступало и выступает до сих пор, как скрытый материализм. Эта его мнимо-радикальная сторона неизменно помогает кантианствующим квази-марксистам маскировать свою оппортунистическую сущность. Они делают крайне радикальные выводы в теории, в мире чистого разума, а «вещь в себе», практику — оставляют в стороне.

Так в настоящий момент неокантианство сделалось философской вывеской «левого» крыла социал-демократии. Что с таким положением необходимо бороться, ясно само собой.

Эта борьба облегчается признанием самой буржуазии, что ее философское бытие пришло к концу. И в этом вторая причина, почему нас интересуют кенигсбергские торжества. По случаю этих торжеств как раз наиболее рьяные поклонники Канта—Адикес, Дриш, Файгингер—должны были признать (разумеется, не в открытую), что они попали в дебри, из которых нет надежды выбраться. В борьбе полезно знать не только то, что оружие противника притупилось, но и то, что противник сам убедился в негодности своего оружия.

1. Кант и современные неокантианцы.

«Назад к Канту!»—таков был лозунг буржуазной философии в начале настоящего столетия. Не только вся немецкая философия ориентировалась почти исключительно на Канта, но и в Англии и во Франции Кант выдвинулся

на первое место и завладел головами, а еще больше сердцами буржуазных мыслителей. Теперь положение изменилось. Неокантианская философия господствует только в небольшом кругу, можно даже сказать: в небольшом замкнутом кругу буржуазной профессуры,—вообще же кантианство все больше вытесняется нео-фихтеанством и нео-гегельянством, или даже вовсе вырождается в хаотический и неспособный ни к какой устойчивости эклектизм и диллетантизм (в духе Освальда Шпенглера): сами неокантианцы все больше ударяются в даже уже нескрываемый скептицизм и мистицизм, и клич «Назад к Канту!» все больше сменяется другим: «Назад от Канта!». «Вперед от Канта»—этого не может и не хочет никто, и если иные все-таки считают нужным вступить на этот путь, то они (как мы сейчас увидим) заходят в такие дебри, куда за ними не отваживаются следовать даже самые закаленные идеалисты.

В общем и целом философская мысль вообще и кантовская философия в частности, уперлась в тупик. Сейчас в Германии нет такого философского течения, которое обнаруживало бы ярче, чем неокантианство, неспособность буржуазии понять мир. На кантовских торжествах в Кенигсберге это было высказано совершенно ясно. «Профессор» Адикес, один из выступавших ораторов, обратился к философствующей Германии с призывом «отдаться некоторое время чисто историческому исследованию кантовской системы», и именно для того, чтобы «добиться большего единомыслия в ее понимании». Из этого призыва следует не только то, что сами «неокантианцы» потеряли всякую точку опоры в Канте, но и то, что они даже не осмеливаются мечтать об ее обретении, раз они решили отказаться («на некоторое время») от всякой теории и ограничиться чисто «историческим исследованием». Мы знаем из истории политической экономии (историческая школа) или социологии (Макс Вебер), что означает это «чисто историческое исследование»: увольнение гордого «чистого разума», отказ от теории—на том основании, что она могла бы привести к результатам, которые должны были бы итти наперекор «практическому разуму».

Именно в нем, в этом практическом разуме, всегда заключалась тайна философии. Все великие философы, и как раз наиболее абстрактные среди них, приходили к философии почти всегда от политики—Платон так же, как Гегель. Но в противоположность материалистам, которые всегда были идеологами новых, восстающих классов и поэтому могли и хотели дать своим взглядам открытое беззаветно-смелое и боевое выражение, которые охотно и без стеснения защищали интересы своего класса, — идеализм искони, с первого дня рождения, был связан с философией упадочных классов, с реакцией. Центр тяжести этой философии всегда лежал и лежит до сих пор в этике, а не в теории познания. Эта черта также проходит через все развитие идеалистической мысли от Платона до Гегеля.

По отношению к Канту можно еще сверх того совершенно точно социологически установить, какой именно слой буржуазии он представлял. Для этого нужно только не ограничиваться его большими

систематическими трудами, но привлечь к рассмотрению и его мелкие работы, потому что в них его связь с политикой ясно высказана им самим.

После исследования Плеханова и Ленина характер Канта, как гносеолога, может считаться установленным. Он был, в сущности, говоря, скептиком. Он ведет свое происхождение от Юма, т.-е. от реакции английской буржуазии против своего материалистического прошлого. Эта реакция вылилась у Юма в форму тепловатого нерешительного скепсиса, который хоть и отрицал об'ективность познания, но в то же время примирялся с достигнутыми этим познанием результатами,—совсем как правое крыло английской буржуазии в конце XVIII века, которое хоть и ненавидело упорно созидающийся и бурно рвущийся вперед новый индустриальный капитализм, но в то же время было бессильно перед ним и отлично это сознавало. С действительностью пришлось примириться—ее полюбили даже, только позже—но признать правомерность ее существования не хотели вначале ни за что.

Вот почва, на которой стоит Кант — одной ногой. Юм был в его глазах «проницательным человеком», который был только недостаточно радикален в своих выводах. Действительность приходится признать, но *как*—в этом все дело. И что такое «действительность»? Не «вещи в себе», не «мир» вообще,—действительность для Канта это то, что имеет *смысл* или, по крайней мере, должно его иметь. Для слоя, представляемого Юмом, действительность начинала *утрачивать* смысл; для слоя, который представлял Кант,—она начинала приобретать его.

Что же это был за слой? В условиях тогдашней немецкой действительности это могло быть только правое крыло буржуазии, *которое мучительно и медленно, под гнетом окружающего феодального мира, вырабатывалось из мелкой буржуазии*. Это крыло взирало с тоской на Англию, но и со страхом—на Францию, где идеологи, а позже политики буржуазии неслись вперед слишком самоуверенно, неистово и смело, были, можно сказать, слишком *догматичны*. Было бы так приятно присоединиться к ним, если бы это можно было сделать *втайне*, если бы это не грозило скверными последствиями. Знаменитое кантовское разделение «Основных типов философской мысли» на догматизм, скептицизм и критицизм целиком выдает тайну его философии: догматиками были французы, скептиками—англичане,—а немцы избрали себе *критическую* позицию. Они охотно выбрали бы себе из положения английской и из требований французской буржуазии то, что им было по вкусу, если бы была хоть малейшая надежда это получить: вот что означает критическая точка зрения. И до такой степени взор Канта был прикован к этим двум странам: к Англии и к Франции, что, кроме Юма и французских материалистов, кроме догматиков и скептиков, он не замечал никаких других, даже представленных в его собственной стране, «основных типов философской мысли» (Гаман, Гердер, Якоби и т. д.).

Знаменитое «коперниканское деяние» Канта было поэтому только по видимости революционно-радикальным. Он задумал поставить мир кверху

ногами, но при попытке произвести эту операцию на деле мир отказался повиноваться, операция не прошла, и мир оказался перекошенным на бок. Он раскололся на две части, на мир рассудочных категорий и на нравственный мир, и центр тяжести переместился в этот последний. Нужно было «устранить знание, чтобы освободить место для веры». Но вера эта, несмотря на все высокие слова в этике, была только весьма трезвой, весьма умеренной и робкой верой филистерской буржуазии в то, что ей все-таки когда-нибудь удастся получить свою долю власти в государстве.

В «Учении о праве» это архи-прозаическое, буржуазно-реакционное ядро кантовской этики находит себе безукоризненно ясное выражение: «Нравственный человек» фигурирует в этике Канта, как какая-то недоступная таинственная святыня; зато как трезво, как буржуазно-доморощенно выражается в «Учении о праве» будущий гражданин правового государства. Он говорит:

> «Только право участия в голосовании делает человека гражданином государства; но это право предполагает самостоятельность, при которой человек является не только частью общества, но и его членом, т.-е. по собственному произволению хочет быть его частью, действующей сообща с другими. Но это последнее определение делает необходимым различение активных и пассивных граждан, хотя понятие «пассивный гражданин», казалось бы, противоречит понятию гражданина вообще. Следующие примеры помогут нам разрешить эту трудность. Приказчик или подмастерье, служащий (не на государственной службе), несовершеннолетний, все женщины, и вообще всякий, кто вынужден зарабатывать себе жизнь (пищу и кров) не самостоятельно, а состоя в распоряжении других (кроме государства),— лишен гражданской личности... Дровосек, которому я даю работу у себя во дворе, кузнец в Индии, который с молотом, наковальней и мехами обходит дома в поисках работы—в противоположность европейскому плотнику или кузнецу, который может публично выставить, как товар, продукты своего труда; домашний учитель в противоположность школьному; оброчный крестьянин в противоположность арендатору,—все они являются простыми орудиями общества, потому что они должны получать распоряжения и защиту от других лиц и, следовательно, не имеют гражданской самостоятельности» (Rechtslehre в изд. Hartenstein'a, т. VII, стр. 131).

И далее:

> «Эта зависимость от воли других, это неравенство тем не менее отнюдь не противоречит их свободе и равенству как людей, в своей совокупности составляющих народ; напротив, только при этом последнем условии народ может стать государством и получить гражданский строй. Но иметь в этом строе право на участие в голосовании, т.-е. быть гражданами, а не только обывателями,—на это не все одинаково годятся. Ибо из того, что они могут

требовать, чтобы по отношению к ним, как пассивным частям государства, действовали по законам естественной свободы и равенства, еще не вытекает их право и самим действовать в качестве активных членов государства, быть организаторами или участвовать в издании законов».

Гегель назвал кантовское учение о праве «лишенным всякой спекулятивной мысли», «ничтожным с точки зрения философского понятия», «скудоумным». А между тем именно здесь вся «философская сущность» Канта, весь дух его философии. Человек и гражданин—две совершенно различные вещи; свобода и равенство этики определяются здесь ближе в том смысле, что ко всем «пассивным частям государства» следует относиться одинаково, т.-е., например, в случае преступления всех одинаково казнить, колесовать или наказывать плетью. Активным гражданином может быть только имущий. Неимущий человек — обыватель, имущий же — гражданин. Какие бы высокие слова о значении личности ни твердил Кант в своей «Этике», гражданской личностью остается для него имущий и только он один.

Таким образом уже при первом своем появлении кантианство выступило в роли, которая делала его как нельзя более удобной формой для философии компромисса и оппортунизма; уже тогда оно скрывало свою реакционную сущность под маской чрезмерно высоких нравственных норм. Не будучи ни определенно реакционным, ни определенно революционным, оно всегда оставалось, главным образом, философией тех слоев, которые в классовых боях своего времени нерешительно колебались между великими борющимися классами, не переходя окончательно ни на сторону реакции, ни на сторону революции,—хотя в глубине души реакция была им все-таки милее, чем революция.

Но именно поэтому кантианство всегда было таким философским течением, которое не может дать никакой идейной опоры в критические эпохи, в периоды резкого обострения классовой борьбы,—которое именно в такие периоды оказывается совершенно бессильным. Во времена ожесточенных классовых боев нужны строго выдержанные идеологии; кантианство тут недостаточно. Развитая Фихте и Гегелем в духе более решительного идеализма, философия Канта была сдана в архив немецким просветительством первой четверти XIX века (Гейне и другими), — и воскресла к новой жизни только после революций 1848 г. в эпоху реакции, когда классовые антагонизмы глухо бродили, не находя открытого выхода. Но по мере того, как классовая борьба разгорается снова, неокантианство теряет всякую жизненность, всякую способность понимания и ориентации, оно снова становится мертвой философией. На этот раз, однако, такой мертвой философией, которая не хочет признавать себя мертвой и все более выворачивает наружу свои реакционные стороны, — чтобы доказать свою жизнеспособность.

Если когда-то рационализм или интеллектуализм был той стороной кантовской философии, с которой она была наиболее прогрес-

сивна, ибо светом разума она, казалось, освещала самые темные закоулки метафизики, религии и суеверия (так только казалось, потому что ведь практический разум покоился на вере, а Кант провозгласил примат практического разума над теоретическим), — то в современном неокантианстве эта рационалистическая тенденция исчезает, уступая место волюнтаризму, который примыкает к Шопенгауеру и Вундту. Воля — вот сущность мира, и чем немощнее эта воля в действительности, тем сильнее мы чувствуем, что она есть все. Но сферой воли является политика. Современный волюнтаризм полагает поэтому, что мы не рабы, если мы не хотим быть рабами, что мы не страдаем от холода, голода и т. д., если не хотим их замечать, что мир — «добр», если добра воля. Если же эта «добрая» воля не может осуществить себя в действительности, то тем хуже для действительности. Как раз в эпоху революций, когда пролетариат весьма энергично проявляет свою волю, кое-кому желательно заменить эту живую, облеченную в плоть и кровь волю пролетариата абстрактным понятием воли, которое оказывает буржуазии хорошие классовые услуги именно потому, что оно навсегда обречено остаться только абстрактным. Этот волюнтаризм с самого начала полемизирует с социализмом, заимствуя свои аргументы из арсенала экспериментальной психологии. Он принимает крайне позитивистический вид, чтобы легче было доказать, что воля индивидуума стоит непреодолимой преградой на пути осуществления социализма.

Другая разновидность того же направления усматривает сущность мира не в «стихийной», а в «разумно ориентированной» воле и выдвигает в центр понятия «ценностей». Исходя из Лотце, это направление идет через Виндельбанда к Риккерту и его школе. То, что у Канта еще сливалось в дремотном полумраке: причинное об'яснение мира и его «этическая оценка», — эта противоположность выявляется тут во всей своей силе, и причинное об'яснение приносится в жертву «этической оценке». Мир уже не об'ективная «природа», которую человек может самое большее познать и лишь в известных, ею самой начертанных, пределах, изменить; мир состоит из «ценностей» — по крайней мере, человеческий мир, общество, история. Существует два мира: природа и история. Но с первым поневоле приходится считаться, хотя тоже только до поры до времени, пока в естественных науках царит «догматизм». Второй же мир, мир истории, не может быть столь же бессмысленным, как природа — ведь это мир воли, ценностей, он существует лишь постольку, поскольку он «ценен», поскольку в нем созидаются «культурные блага». Научное познание этого мира невозможно, потому что в нем царят гениальные личности, воля которых является законом и не подчиняется никакому другому закону. Эти личности ориентируются далее на «нравственные ценности». Откуда они их получают, остается неясным, — если только не принять, что эти ценности не внушены им самим богом.

Как волюнтаризм оттачивает свои зубы на социализме, так и «философия ценностей» направляется своим острием против исторического материализма. Один из сторонников этой школы, социолог Макс Вебер говорит следующее:

«Если после периода неумеренно высокой оценки ныне почти грозит опасность, что она (т.-е. «экономическая интерпретация истории») может быть не дооценена в своей научной плодотворности, то это является результатом той беспримерной некритичности, с которой применялось экономическое истолкование действительности, как «универсальный» метод, в смысле дедукции всех явлений культуры, — т.-е. всего, что в них существенно для нас, — в последнем счете из экономического фактора.

«Специалисту ныне уже не нужно доказывать, что такой взгляд на значение экономического анализа культуры вытекал отчасти из определенной исторической констелляции..., отчасти из неистового пристрастия к своей теории и что в настоящее время он по меньшей мере устарел. Сведение к одним только экономическим причинам не исчерпывает вопроса ни в какой области культурных явлений, даже и в области «хозяйственных процессов» (Макс Вебер, Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre, стр. 168).

Здесь, следовательно, не только ведется борьба против исторического материализма, но он прямо об'является «по меньшей мере устарелым», а охотнее всего был бы об'явлен совершенно мертвым. При этом на место одной закономерности не ставится какая-нибудь другая, но отрицается всякая историческая закономерность вообще; об об'ективности социологического и политического познания говорится только как об об'ективности в кавычках. Вебер продолжает:

«Не существует просто «об'ективного» научного анализа культурной жизни или... «социальных явлений», независимого от специальных и «односторонних» точек зрения, с которых... они выбираются, анализируются и последовательно изображаются... Постоянно возвращается мысль, что и в науках о культуре решающим моментом является в конечном счете «закономерное» повторение определенных причинных сочетаний... Что̀ за вычетом «закономерного» остается непонятным в индивидуальной действительности, то либо считается научно не проработанным остатком, который должен врабатываться в систему «законов» по мере ее дальнейшего совершенствования, либо вообще оставляется в стороне , как «случайное»... Как известно, один из корифеев естествознания считал возможным обозначить идеальную цель такой переработки культурной действительности, как «астрономическое» познание процессов жизни» (Там же, стр. 173).

Вебер, с своей стороны, старается доказать, что даже естествознание, включая и астрономию, изучает только «индивидуально оформленные констелляции». «Космическое «первобытное состояние», имеющее не индивидуальный или менее индивидуальный характер, чем современная космическая действительность, было бы, конечно, бессмысленным представлением, но не видим ли мы следы подобных представлений в нашей области, в допущении... экономически-социальных «первобытных состояний» без примеси историче-

ских «случайностей», — например, «примитивного аграрного коммунизма», полового «смешения» и т. д., из которых, благодаря грехопадению в область конкретного, возникает затем индивидуальное историческое развитие?».

Вебер требует поэтому построения социальной философии. Последняя устанавливает, какие явления социальной истории имеют для нас ценность и значительность, являются об'ектами культуры — и только этим через соотнесенность (Zurechnung) с этими индивидуальными явлениями, утвержденными социальной философией в их культурной ценности, может получить значительность и ценность всякое другое явление! И так как всякий научный метод нужно судить по его результатам, то мы должны констатировать, что Макс Вебер написал огромное социологическое исследование «Хозяйство и общество», где на 800 страницах слишком собрано подавляющее количество, зачастую совсем случайных и ничтожных фактов, из которых никак нельзя ясно и отчетливо уразуметь, каково же, наконец, отношение между хозяйством и обществом. Ясно только, что у автора все ведет к религии, которая на его взгляд составляет определяющую основу даже хозяйственной жизни (см. его Religionssoziologie в 3 томах). А Риккерт, основатель этого «культурного направления», видит в мировой войне то «ценное», то «культурное благо», ради которого он был счастлив пожертвовать «под гром орудий» собственным сыном!

Теперь ясна реакционность этого направления. Это—метафизика, метафизика ценностей, которые будто бы являются независимыми от человеческого духа, вечными началами, на деле же ведут к реакционным восхвалениям религии и мировой войны.

Но существует еще одна теория ценностей в неокантианстве: философия фикции, Philosophie des Als-ob Ганса Файгингера. Что такое ценность? Мы этого не знаем, как не знаем, откуда она происходит, но мы должны делать вид, как будто мы это знали... Превосходное об'яснение! Ценность есть ценность, как негр есть негр. О негре мы знаем, по крайней мере, что при известных общественных условиях он становится рабом, о ценностях же не узнаем ничего, когда нам говорят, что это «необходимые и целесообразные продукты руководимой разумом, критической деятельности воображения». Все обоснование этой философии покоится на кантовском понятии цели из критики способности суждения; это — телеологическое миропонимание, для которого мир есть целесообразное целое. Так как этот взгляд — как уже во времена Канта — находится в вопиющем противоречии со всем естествознанием (Кант поэтому ограничивает его главным образом областью искусства), и так как его распространение на весь мир не только является реакционным расширением кантианства, но и ничем не может быть оправдано, кроме как простой ссылкой на бога, который-де поставил миру известные цели, то остается только прибегнуть к пресловутому «как будто»: правда, естествознание не дает нам права считать мир целесообразным, но мы должны делать вид, как будто он таков. Тогда все будет в порядке... для реакционной философии, разумеется. Ибо тогда наука может утверждать, что̀ ей угодно, об'являть необходимым, что́ ей угодно (в осо-

бенности в области общественной жизни), — мы будем считать, будто при этом преследуются те или другие цели. Что эти предполагаемые цели суть реакционнейшие цели сегодняшней буржуазии, и что вся эта философия есть только уловка перед лицом суровой общественной действительности наших дней, это ясно без дальнейших слов.

До какой степени неокантианство—сознательно или бессознательно— определяется борьбой против принципа закономерности в истории, это выдают нам следующие два течения: «активизм» Рудольфа Эйкена и «историзм» Трэльча. Философия Канта кульминировала в его «Этике», критика нашей познавательной способности была для него только средством обрести «достоверность» в вопросах о боге, бессмертии души, свободе. Но все-таки его критика опиралась на всю совокупность тогдашнего естествознания, усумниться в котором или пренебречь которым ему и в голову не приходило. Современное естествознание (Эйнштейн, Бор и т. д.) принимает решительно материалистический оборот. Пространство и время, эти трансцендентальные формы чистого разума, реальность которых была для Канта «бессмыслицей», становятся об'ектами физики, и сама математика должна сообразоваться со свойствами об'ективных пространств и времен. Математика мнила себя априорной наукой. Исходя из известных аксиом, она считала возможным развить из них свои законы чисто логическим путем, не считаясь с действительностью. Она воображала себя чисто умозрительной теорией, которой для познания свойств пространства нет нужды обращаться к опыту, потому что она может вывести их из аксиом чистого разума. На эту мнимую особенность математики и опирался идеализм, в частности идеализм Канта. Ныне, однако, математика низложена с престола. Для нас она — вспомогательное орудие, с помощью которого мы лучше овладеваем тем, что сообщает опыт о пространстве и времени, вернее — о пространствах и временах. Пространство без материи не существует; оно перестало быть геометрическим и стало физическим понятием! В этом материалистическая сторона теории Эйнштейна, хотя он сам, подобно всем буржуазным естествоиспытателям, далек от последовательного материализма. Но новые факты нового естествознания все решительнее толкают на чисто материалистический путь.

При таких условиях современное кантианство вынуждено игнорировать естествознание. Попытки так называемой Марбургской школы (Наторпа и Кассирера) дать теории Эйнштейна идеалистическое истолкование потерпели неудачу, и неокантианство вынуждено, как сказано, просто игнорировать новое естествознание. Не на природу, а только на общество направляется его теория познания. Здесь же, как мы видели на примере Риккерта и других, сосредоточен весь его интерес. Неокантианство предпринимает «обоснование» новой религиозно-исторической метафизики.

Рудольф Эйкен называет свою философию «активизмом». Природа пассивна, она — воплощение пассивизма, человеческий же дух обладает привилегией активности. «Активистически направленный дух непосредственно

сознает и чувствует себя эманацией или даже представителем более высокого и всеобщего духовного мира, который прорывается наружу во всяком нравственном и духовном творчестве человека, будучи укоренен в божественном мировом духе». Этот мировой дух не оптимистичен и не пессимистичен, он действует только ради действия, его нравственное делание совершается ради делания, не считаясь с горем и счастьем людей. Эйкен это называет «нравственным идеализмом».

Трэльч видит в мире обнаружение божественного мирового плана, развитие божественного. С этим божьим духом, обнаруживающимся в мире, могут соприкасаться и индивидуальные духи. Каждый индивидуальный дух есть монада. — Эти открыто реакционные, совершенно фантастические измышления связываются, как это ни комично, с... марксизмом. Проблемы современной эпохи не прошли не замеченными мимо Трэльча. Этот типичный поп исследовал церковные учения с точки зрения их социального содержания и нашел, что хозяйственные мотивы и интересы народов играют важную роль в их вере. Это привело его к марксизму и так получился уморительный результат, что не только религиозно-историческая метафизика Трэльча, но и исторический материализм Маркса являются обнаружением божественного мирового плана и божьего духа! Как выглядит такое изображение марксизма, легко себе представить. Но во всяком случае тут перед нами, как на ладони, основной мотив всей современной немецкой философии.

В заключение скажем еще несколько слов о философии одного из ораторов кантовских торжеств, о «неовитализме» Дриша. Это направление открыто ведет борьбу против «атомистически-материалистически-механического» понимания жизни и против современной, основанной на естествознании «аналитической психологии». Дриш принимает особое жизненное начало или «жизненную силу», самостоятельно действующую на-ряду с материей. На-ряду с материальными факторами, которые исследуются математикой, механикой, физикой, химией, существуют также «непротяженные определители реальных процессов», «идеальные силовые факторы», в лице которых в материальный мир вступает нечто высшее. На-ряду с механической причинностью, или, вернее, над ней, существует «сверх-механическая причинность», т.-е. непротяженные духовные факторы, не поддающиеся механическому контролю.

О такого рода «философии» даже Файгингер, этот «как будто-философ», говорит следующее:

> «Отсюда путь, которым идет Дриш, уводит в такую область, в которую едва ли охотно вступит большинство из нас, хотя уже и другие философы, например, Трэльч, — правда, весьма осторожно,—указывали на эту темную область. Не только мы, люди старого поколения, но и большинство молодых едва ли сможет освоиться с этой областью. Но было бы недостатком исторической справедливости, может быть, даже недостатком мужества, вовсе умолчать о ней. Идеи Дриша, его допущение «непротяженных определи-

телей», т.-е. недоступных механическому контролю духовных факторов, легко могут привести к взгляду, что естественный мир, в котором мы живем, пронизан и одержим спиритуалистическими потенциями, которые будто бы обнаруживаются сверх'естественным способом в ясновидении, телепатии и телекинезе».

Да, нужна смелость для того, чтобы подобные бредни называть «философией». Но такова действительная картина того, во что выродилось неокантианство. А что буржуазия признает эту философию своим родным детищем (когда она вообще еще заботится о философии), это доказывается тем, что наш защитник телепатии и телекинеза был выбран одним из ораторов на юбилейном торжестве Канта! И вполне правильно: сюда ведет путь, открытый Кантом. Это—путь немецкой буржуазии, а Кант более, чем кто бы то ни было, философ этой буржуазии. И его философия никогда не изменяла этому своему назначению. Философия Канта, — говорит Гарнак, другой юбилейный оратор, — и только она одна, стала судьбой германской науки. Мы сказали бы: буржуазной науки. Кантианство было всегда реакционной философией, в этом была его сущность, более или менее искусно прикрывавшаяся позитивистически-прогрессивной маской. Это ему удавалось, пока время не требовало решительного выбора между революцией и реакцией. Но в наши дни и кантианство вынуждено сбросить с себя маску: оно становится открыто реакционным.

При таком положении вещей в области скончавшейся философии (как выражался Энгельс) и особенно в области мертвого неокантианства, которое перед смертью все больше обламывало себе зубы на миросозерцании пролетариата и на марксизме, нет ничего удивительного, что Макс Адлер, вот уже двадцать лет старающийся показать, что корни марксизма не столько в Гегеле, сколько в Канте, снова появляется в роли спасителя положения. В области философии социал-демократия делает здесь то же, что она обычно делает в наше время в области политики: что пролетариат уже не принимает на веру от буржуазии, то ему преподносит в слегка подправленном виде социал-демократия — в надежде, что так оно придется ему больше по вкусу. Социал-демократия стала не только политической, но и духовной наследницей обанкротившейся буржуазии. Оппортунизм и мистицизм идут рука об руку.

Материалистическое миросозерцание и материалистическое понимание истории, эти два духовные орудия, нужны пролетариату для того, чтобы об'ективно познавать мир, ориентироваться в природе и обществе и полнее овладеть той и другим. Материалистической же мы называем идеологию пролетариата не потому, что она опирается на какую-либо конкретную, уже бывшую в истории, форму материализма (например, на французский механически-метафизический материализм XVIII века), а потому, что в вопросе об отношении между мышлением и бытием она, как все бывшие системы материализма, принимает бытие за независимое переменное, а мышление—за его функцию. В этом смысле марксизм не делает различия между природным и общественным бытием: и тут и там сознание есть нечто, зависящее от чего-то

материального. Надо только помнить, что общество есть своеобразное бытие, законы которого отличаются от законов природы — не тем, что они менее закономерны, а тем, что это другие законы.

Конечно, с этого пункта и начинает Макс Адлер свое идеалистическое искажение марксизма. Был ли Маркс просто материалистом или «материалистом» (в кавычках)? Оказывается — второе.

> «Разумеется, в данном случае (у либерально-буржуазного марксофоба Кельзена) мы имеем прямо-таки типичное непонимание теории исторического материализма, вызванное тем, что она называется «материалистическим» об'яснением истории, и еще тем, что она стремится представить общественное развитие как естественно-необходимый процесс. Но при этом постоянно забывается, что Маркс и Энгельс самым резким образом отличали свой материализм от естественно-научного, свою «природу» от лишенной сознания и воли природы физико-химических процессов. Природа, о которой говорят Маркс и Энгельс, есть общественная природа человека и, стало быть, человеческая природа, возможная только в обобществленной форме, природа обобществления. Тем самым человеческое воление и стремление, мыслящая целесообразная и нравственная деятельность суждения... раз и навсегда включены в эту природу, как ее необходимая составная часть. Более того, общественная природа вообще только и состоит в этой оценивающей деятельности обобществленных людей» (Die Staatsauffassung des Marxismus, стр. 19).

В этой длинной цитате тотчас бросается в глаза специфический прием, с помощью которого социал-демократическое неокантианство пытается фальсифицировать Маркса. Правда и вымысел здесь так перемешаны, что только очень опытный глаз сумеет отделить верное от неверного. Верно, что общественная природа человека отличается от «лишенной сознания и воли природы физико-химических процессов», т.-е., попросту говоря, от мертвой природы, иначе общество было бы просто природой и не имело бы собственной закономерности; но решительно неверно, что Маркс и Энгельс отделяли свой материализм от естественно-научного. Они отделяли его только от устаревшего материализма XVIII столетия. Верно далее, что «человеческое воление и стремление» и т. д. входят составной частью в общественность. Где бы им и быть, раз уж они существуют, как не в обществе? Но опять-таки совершенно неверно и даже прямо противоположно взглядам Маркса и Энгельса, что «общественная природа вообще только и состоит в этой оценивающей деятельности».

Путем таких едва заметных фальсификаций мы неожиданно переносимся из материализма в идеализм, точнее в кантианство. Мы видели, какую роль играет понятие ценности в буржуазном неокантианстве. Ту же самую роль играет оно и здесь: из материальной действительности, где царят естественные законы и столь же закономерные силы общественной необходимости, оно должно увести нас к свободе, т.-е. к отсутствию законов; от

действования на основе познанной необходимости оно должно отвлечь пролетариат к высоко-нравственному ничегонеделанию.

Материалистическое понимание истории обозначается далее Максом Адлером, как «учение о социологической мотивации оценок» (стр. 26). И тут автор на своем ученом жаргоне ставит ударение на оценку, как будто с точки зрения исторического материализма имеют значение только люди со своими «ценностями», а не также и природа, техника и т. д., или—выражаясь на таком же жаргоне—как будто в нем играет роль только мотивация, а не также нецесситация, т.-е. закономерная необходимость человеческих поступков.

Так материалистическое понимание истории превратилось в идеалистическую философию ценностей! Да и как могло бы быть иначе у «материалиста», который не стесняется преподносить в качестве «марксизма» следующие фразы:

> «Таким образом социальное оказывается столь же трансцендентальным для человеческого опыта, как и остальные, признававшиеся до сих пор трансцендентальные условия сознания. Еще до всякого исторически-экономического обобществления человек уже обобществлен в своем духовном бытии (подчеркнуто Адлером), в своем теоретическом сознании. И в исторически-социальном процессе он только находит в развернутом виде то, что он уже есть сам по себе в своем трансцендентальном суб'екте: неустранимую связанность с другими, такими же по существу, суб'ектами и слияние с ними в единство» (стр. 30).

Итак, человек, прежде всего, обобществлен «в своем духовном бытии»! И это обобществление не возникло исторически, а является формой человеческого сознания, т.-е. дано a priori,—ибо именно это и означает кантовское выражение «трансцендентальный». Согласно этому воззрению, общественная жизнь людей только необходимое представление человеческого сознания: как они живут в действительности, в качестве «вещей в себе»,—этого мы не знаем и никогда не узнаем!

Суровая действительность испаряется в ценности и в понятии. Как для старика Канта сто действительных и сто воображаемых талеров заключали в себе одно и то же содержание, так и пролетариату хотят действительный мир подменить воображаемым миром понятий и ценностей. Адлер это называет «трансцендентально-социальным элементом опыта», или «социальным a priori», или — марксизмом!

В полном согласии с этим Адлер видит в государстве ту социальную форму сознания, в которой является и развивается «обобществление». Учреждение, которое содержит армии, тюрьмы и т. д., чтобы во-время напоминать угнетенным об их обязанностях, превращается в «социальную форму сознания». Так вся классовая борьба переносится в безвоздушное пространство понятий.

Но довольно об этом «марксизме». На этом примере мы хотели только показать, куда докатилась в наши дни, через двести лет после рождения

Канта, буржуазная философия. Ибо что этот «марксизм» есть только разновидность буржуазной философии, в этом не может быть никакого сомнения.

В странах, где буржуазия оказывалась уже неспособной провести свою революцию, радикально-буржуазные лозунги часто облекались в квази-социалистическую фразеологию (см. Ленин, «Аграрная программа социал-демократии», стр. 28). Нынче обстоятельства переменились. Квази-марксистская наука служит теперь уже не целям запоздалой буржуазной революции, а делу подавления назревшей революции пролетариата.

Для этой роли неокантианство подходит как нельзя лучше, потому что оно искони осуществляло функцию примирения философских противоположностей. И если теперь эту функцию выполняет уже не буржуазия, а социал-демократия, то по существу от этого ничего не меняется.

Что такое материя.

(Эволюция понятия материи в физике.)

И. Орлов.

1.

Предметом исследования естественных наук является не что иное, как материя. Все явления и законы природы, которые открывает и классифицирует естествоиспытатель, представляют собою только обнаружение тех или иных свойств материи. Всякое естественно-научное об'яснение каких-либо фактов сводится к указанию, каким образом материя подобные факты производит. Но что такое материя? Каждая эпоха, каждое новое поколение ученых давало свой ответ на этот вопрос, и при этом ответ, не вполне совпадающий с ответом предшественников; понятие материи в естествознании непрерывно развивалось, эволюционировало.

Неизбежность такой эволюции вполне ясна с точки зрения диалектического материализма. Для метафизиков всякого рода существуют только две возможности: мы или познаем самую сущность вещей, или же вовсе не познаем их. В действительности же имеет место как раз третье: терпеливое и кропотливое нащупывание вещей посредством эксперимента, терпеливое приспособление к вещам. Таким нащупыванием вещей, приспособлением к ним и является естествознание, и результат такого приспособления постепенно совершенствуется и, следовательно, эволюционирует.

В деле детального изучения строения материи исследователь может итти только ощупью, только путем гипотез. Исследователь изобретает последовательно множество идей, которые и проверяет на практике. Громадное большинство этих идей погибает при первых же столкновениях с опытом. Но те, которые остаются, правильно отражают строение материи, носят на себе отпечаток вещей. Сумма таких идей, выдержавших опытную проверку и позволяющих делать точные и детальные предсказания явлений, и представляет собою наши знания о материи.

Но всякое усовершенствование научной техники ведет к постановке более точных экспериментов и открывает несовершенство наших познаний о материи, их грубую приблизительность. Таким образом естественно-научные понятия в одно и то же время и правильно и неправильно отражают дей-

ствительность. Но такое противоречие ведет вперед, оно приводит к эволюции и, следовательно, к усовершенствованию естественно-научных познаний. Рассмотрим же, как протекала эволюция основных понятий, относящихся к материи.

2.

Хотя основателем научной физики и механики следует считать Галилея, но подвел итоги первым успехам естествознания и создал стройную законченную систему, без сомнения, Декарт. В сочинениях Декарта ярко и полно отразилась психология, характерная для эпохи торгового капитализма. В своем «Рассуждении о методе» Декарт рассказывает, как после девяти лет прилежного изучения средневековых знаний в лучшей из существовавших в то время школ, он почувствовал полную неудовлетворенность.

«Я полагал, что ничего лучшего не могу придумать, как выкинуть один раз из своей головы все принятые мною до того времени на веру учения, с тем, чтобы заменить их потом лучшими... Я был твердо уверен, что этим способом гораздо лучше найду для себя правила, чем если бы я строил, руководствуясь только принципами, внушенными мне с детства и принятыми мною без рассуждения («О методе»).

Возвратившись из путешествий, увлечение которыми также характерно для той эпохи, — Декарт принимается за построение своей системы. Выкинув *за борт, как негодный хлам, всю средневековую премудрость*, Декарт закладывает здание науки нового времени, руководствуясь вполне созревшим в его уме новым методом. Его метод состоит в противопоставлении индивидуального здравого смысла авторитетным предписаниям, которые должны быть приняты на веру. Но при этом Декарт не мог вполне освободиться от господствовавшей метафизики; своим противникам он дает и выигрывает сражение на метафизической почве. Плохой метафизике древних он противопоставляет лучшую метафизику; метафизическим бредням средневековья он противопоставляет здравый смысл буржуа, просвещенного развитием техники и знакомством с отдаленными странами. Если раньше метафизики рассуждали о том, сколько духов может поместиться на кончике иглы, то Декарт выдвигает более трезвую, более тонкую метафизику, которая остается опасной до настоящего времени.

В основу всех рассуждений Декарт кладет «естественный свет разума», те идеи, которые навязываются уму с полнейшей очевидностью. Согласно Декарту, истинны те идеи, которые разум понимает с совершенной ясностью и определенностью. Такие идеи должны быть истинны сами по себе, они не нуждаются в опытной проверке, так как они слишком очевидны. Декарт не может допустить и мысли, чтобы столь ясные для здравого рассудка истины могли оказаться иллюзией, противоречащей фактам. Согласно обычаям своей эпохи, свой априористический метод Декарт облек в форму теологического постулата: господь бог не может обманывать,—говорит Декарт. В самом деле, *если бы идеи, с такой непобедимой силой навязывающиеся здравому рассудку*, оказались ложными, то обманщиком был бы не кто иной, как сам господь бог.

Какие же идеи, относящиеся к материи, Декарт считал очевидными a priori и, следовательно, безусловно достоверными? Такой идеей прежде всего является отождествление материи и пространства.

Пустота есть ничто,—рассуждает Декарт,—а ничто не может существовать. Следовательно, существующая протяженность должна быть субстанцией. «Пространство или место, занимаемое телом, и самое тело, это место занимающее, различаются между собою лишь в нашей мысли. То же протяжение, которое составляет пространство, составляет и тело. Разница лишь в том, что мы приписываем телу некоторое частное протяжение, которое представляем себе переменяющим место всякий раз, как переносится тело» (Descartes, Principia Phylosophiae, II, § 10).

Средневековое учение о материи сводилось всецело к антропоморфизму. Желания, влечения человека, его симпатии и антипатии приписывались тем или иным веществам, как действующие в них скрытые начала. Декарт, как было сказано, давал бой подобным взглядам на метафизической почве. Он выкинул весь этот антропоморфизм, все эти влечения, скрытые качества, субстанциальные формы, и тому подобный хлам, но вместе с тем он выкинул и все то, что могут давать через посредство чувств наблюдение и опыт. Сущность материи он видит только в одном качестве, вполне ясно представляемом рассудком,—в протяжении. Итак, ни тяжесть, ни твердость, ни инертность, ни цвет, а только протяженность, согласно Декарту, является действительным качеством материи.

Декарт был диалектическим мыслителем во многих своих работах, но в то же время он был дуалистом, а не материалистом.

Может ли материя мыслить? На такой вопрос Декарт мог дать только отрицательный ответ. В самом деле: здравый рассудок не может вывести a priori, что протяженная субстанция может мыслить: рассудок не может также представить себе вполне ясно и отчетливо, каким образом материя может порождать мысль. Но то, что для ума не возможно ясно и отчетливо представить a priori, не может и существовать реально (иначе господь бог был бы обманщиком). Поэтому протяженная субстанция (материя) и мыслящая субстанция разделены целой пропастью в системе Декарта.

Различные части пространства отличаются друг от друга движением. Пространство, согласно Декарту, разбито на отдельные кусочки, на отдельные частные пространства, которые движутся по различным направлениям с различными скоростями. Таким образом в противоположность антропоморфизму Аристотеля, Декарт все явления сводит к механическим явлениям, к движениям частиц протяженной субстанции. Это—гениальная идея, независимая от метафизической формы, в которую ее облек Декарт, эта идея легла в основу дальнейших успехов физики.

Из основного отождествления материи и пространства вытекает абсолютная непроницаемость материи, несжимаемость ее. Пространство не может уменьшиться,—говорит Декарт,—так как это противно ясным и отчетливым представлениям здравого рассудка. Но именно это случилось бы, если бы два тела совместились, или одно тело заняло бы меньший об'ем. Следова-

тельно, это невозможно, и тела абсолютно непроницаемы. Кажущееся сжатие и расширение тел представляет собою вторичное явление, суммарный эффект, как выразились бы в настоящее время, и зависит от того, что между порами одного тела помещаются более мелкие частицы, вследствие чего тело занимает бо́льший об'ем.

Тела могут действовать друг на друга только посредством толчков и давлений. Только такое взаимодействие тел вполне ясно для разума. Какое-либо притяжение между телами не может существовать непосредственно и об'ясняется толчками частиц среды, в которую погружены притягивающиеся тела.

Так как пространство сплошь занято материей, то движение возможно только по замкнутым путям; отсюда проистекает знаменитая идея вихря. В вихрях правильной кольцеобразной формы материя повсюду движется с одинаковой скоростью; в вихрях же неправильной формы с переменным сечением скорость движения материи в каждом месте обратно пропорциональна площади сечения вихря.

Из идеи Декарта следует также, что в равных об'емах пространства *заключаются строго равные количества материи*. Если нашим чувствам представляется иное, то просто потому, что наиболее тонкой и подвижной материи мы вовсе не замечаем. Стараясь дать более детальные об'яснения природы различных веществ, как, например, вода, воздух, соли, металлы, Декарт утверждает, что одни частицы материи очень малы и подвижны, другие обладают формой волокон, иголок и тому подобное.

К этим априорным и, по мнению Декарта, безусловно достоверным идеям он прибавляет идею сохранения материи (протяжение не может уменьшиться) и идею инерции. С последней идеей связана идея сохранения количества движения, т.-е. *произведения количества материи на скорость*.

Такова концепция Декарта. Мы видим, что физика Декарта построена априористическим дедуктивным путем: «Общие начала или первые причины» получены при помощи соображений «естественно присущих нашей душе», все дальнейшее выводится отсюда при помощи логических умозаключений. Опыт при этом имеет второстепенное и подсобное значение. В качестве идей, «естественно присущих душе», Декарт соединяет вместе и наиболее привычные математические представления, и заимствования из опыта, и, наконец, просто произвольные измышления и догадки. Скоро обнаружилось, что бог ренессанса все-таки обманул Декарта и что «естественный свет разума» ввел его в грубую ошибку уже в вопросе о сохранении количества движения. В самом деле, количество движения Декарт не рассматривал, как вектор, т.-е. не рассматривал, как величину, имеющую определенное направление, но имел в виду абсолютное количество движения, независимо от направления и от знака. Но при таком способе счета, как легко убедиться, количество движения не сохраняется. Сохраняется количество движения, как векториальная величина в равной мере при упругих или неупругих ударах; абсолютное же количество движения изменяется как при неупругих, так и при упругих ударах. Но идея Декарта априорна и независима от опыта. Декарт мог бы, если бы хотел, как угодно долго упорствовать в своем заблуждении. В самом деле, на опыте все

тела погружены в среду, которую наши чувства не замечают, они плавают в ней, как пробки на воде. Декарт мог бы указать, что изменение абсолютного количества движения на опыте получается только потому, что не принята во внимание среда. Кроме того, упругие и неупругие удары представляют собой сложные явления; Декарт же говорит о простом явлении, об ударах частей первичной протяженной субстанции. В своих законах удара тел Декарт впадает в еще более грубые ошибки, которые мы не будем, однако, разбирать, так как критика идей Декарта вовсе не является нашей целью.

3.

Сам Декарт, впрочем, не был вполне последовательным метафизиком и высказывался иногда в том смысле, что его основные идеи являются лишь примерными об'яснениями и должны быть проверены опытом.

В учении Декарта находится как бы узел дорог, расходящихся в разные стороны. Наиболее прямая и короткая дорога ведет, без сомнения, от Декарта к Канту. С точки зрения Канта, Декарт развивает не что иное, как основоположения «чистого естествознания», т.-е. естествознания, независимого от опыта, данного a priori и аподиктически достоверного. В априористическом пути Декарта Кант нашел прибежище от скептицизма Юма. Благодаря Декарту, Кант мог рассматривать существование «чистого естествознания», как факт, и спрашивать о том, «как возможно чистое естествознание?».

Вторая дорога ведет к дедуктивному методу в физике, основателем которого надо считать Декарта. Декарт иногда высказывался в том смысле, что он рассуждает не о действительном, а о возможном мире, не о действительных, а о возможных основаниях происходящего. Современные математики-«символисты» точно так же строят теорию возможного мира, точно так же стремятся вывести все явления из небольшого числа наиболее «удобных» посылок, мало заботясь об их фактической правильности. Под следующими словами Декарта охотно подписался бы Анри Пуанкаре и все другие символисты: «Для меня было бы достаточно, если бы причины, которые я вообразил себе, действительно были таковы, что все явления, к которым они могли бы привести, были бы сходны с теми, которые мы видим в мире. Для меня было бы тогда безразлично, вызваны ли эти явления видимого нами мира действительно теми причинами или какими-либо другими. Но достаточно полезно, мне кажется, для жизни знать и воображаемые причины, раз это приводит к тем же результатам, как если бы мы знали истинные причины» (Princ. Phil., IV).

Те общие априорные посылки, какие мы видели в системе Декарта, имеют место и в современном дедуктивном методе.

Закон сохранения материи, сохранения энергии, принцип инерции и проч. символисты рассматривают, как простые определения, и считают их независимыми от опыта. Современный символический метод в физике является, таким образом, развитием метода Декарта.

Третья дорога ведет к грандиозной физической утопии—об'яснить все явления природы при помощи только толчков и давлений непроницаемого ве

щества. Эта основная идея картезианцев имела необычайный успех. Эта идея оказала свое влияние и на Ньютона; она определила если не содержание, то форму, в которой Ньютон изложил свою механику. Эта утопия долго и упорно удерживалась в физике; ее убили только открытия новейшего времени и связанная с ними электромагнитная теория материи.

4.

Впрочем, если брать физику Декарта в самом общем виде, если брать только основные контуры идей Декарта, отвлекая их от метафизической формы и от конкретных деталей, тогда, без сомнения, нужно считать Декарта основоположником, указавшим путь для дальнейшего развития физики.

В настоящее время в физике мы также встречаем теории, сводящие все явления к материи и движению; точно так же мы видим, что все пространство заполнено особой материей—эфиром; наш современный эфир точно так же непроницаем и несжимаем; имеют место в современных воззрениях так же и картезианские вихри. Но вместе с тем, какая разница, не только в деталях, но в основной концепции материи!

Современная физика свободна от метода a priori. Наши понятия о материи более диалектичны и более эмпиристичны. В теориях Максвелла, Гельмгольца, Лоренца и других фигурирует упругая, несжимаемая жидкость—эфир, сплошь заполняющий пространство. Но это нечто совсем другое, нежели картезианская материя. Несжимаемость эфира не абсолютна, но диалектична: эфир несжимаем—это означает только то, что бесконечно малое сжатие возбуждает конечные упругие силы, противодействующие этому сжатию. Таким образом практическая несжимаемость предполагает принципиальную сжимаемость. Между тем, с точки зрения Декарта, допустить даже бесконечно малую сжимаемость пространства нелепо. Таким образом современное понятие эфира вовсе не зависит от какой-либо априорной метафизической идеи.

Точно так же абсолютно-твердое тело современной механики не есть абсолютно-неупругое, но скорей абсолютно-упругое: конечные внешние силы вызывают бесконечно-малые деформации абсолютно-твердого тела; но эти бесконечно-малые деформации возбуждают конечные противодействующие силы.

Таким образом в настоящее время мы научились не доверять априорной очевидности, с какой бы принудительной психической силой она нам ни навязывалась. В лучшем случае эти очевидные идеи мы считаем удачными догадками, подлежащими проверке, а в худшем—просто иллюзией. И, наоборот, мы не стесняемся в настоящее время принять идею, как бы она ни казалась странной с точки зрения «здравого рассудка», если следствия такой идеи хорошо подтверждаются фактами.

Современная физика точно так же исключает действие на расстоянии, как и физика картезианцев, но делает это совсем иначе, нежели картезианцы. Рассматривая два тела, притягивающих друг друга, Декарт представлял себе вместе с тем вихреобразное движение среды, которое толчками мельчайших

частиц гонит крупные тела друг к другу и производит кажущееся притяжение. Мы же, согласно Фарадею, представляем себе как бы напряженный эфирный мост между притягивающимися телами, который стремится сжаться в одном направлении и расшириться в другом, и который стягивает вместе оба тела. Эластичная Фарадеева трубка является необходимым допущением, без которого почти невозможно разобраться в фактах. Но по методу Декарта она не могла быть получена, так как ее свойства не только не очевидны, но весьма парадоксальны для «здравого рассудка».

Для нас теперь совершенно ясен самообман Декарта, который думал, что действие тел друг на друга посредством толчков совершенно просто, вполне ясно и понятно. Взаимодействие посредством толчков ничуть не более понятно и просто, нежели взаимодействие непосредственно притягивающихся тел. В самом деле, пусть тело А сближается до соприкосновения с телом Б и толкает его. Имеет место одно из двух: во-первых, возможно, что все части тела Б одновременно испытывают толчок; в таком случае тело А действует непосредственно только на часть поверхности В, на все же остальные точки тела Б тело А действует каким-то образом на расстоянии. Во-первых, возможно, что толчок передается от одних слоев Б к другим постепенно. Но в таком случае слои тела Б, ближайшие к А, начинают двигаться вперед в то время, когда остальные слои еще неподвижны, и, следовательно, тело испытывает деформацию об'ема, первичное, ни к чему другому не сводимое сжатие; тело Б, следовательно, не является безусловно непроницаемым; его материя, сплошь заполняющая пространство, может, хотя бы на мгновение, уменьшаться в своем об'еме. Таким образом обе возможности противоречат метафизическому здравому рассудку.

Эфир современной физики есть «существительное для глагола колебаться»; волны бегут по нему с конечной скоростью. К такой функции совершенно не приспособлено субстанциальное «протяжение» Декарта. Волны в упругой, практически несжимаемой жидкости опять-таки диалектически связаны с ее принципиальной сжимаемостью, без которой распространение каких-либо деформаций было бы невозможным. В субстанции Декарта все импульсы должны передаваться мгновенно на бесконечные расстояния.

Картезианская утопия долго и упорно держалась в физике. Еще Вильям Томсон (лорд Кельвин) придумывал многочисленные механизмы, посредством которых он пытался об'яснить упругие и электрические свойства тел. Его интересные модели страдают, однако, тем недостатком, что они предполагают те свойства материи, которые хотят об'яснить. Рассмотрим его знаменитый жироскоп, до известной степени родственный картезианским вихрям, посредством которого Кельвин строил упругое тело из неупругого материала. Вращающийся волчок ведет себя, как упругое тело; он сопротивляется силам, стремящимся изменить направление оси вращения, и возвращается обратно в то состояние, из которого был выведен. Но почему частицы волчка не разлетаются в пространство под действием сил инерции? Одно из двух: они или сдерживаются внутренними силами или давлением среды; в том и другом

случае возникают напряжения и, следовательно, упругие деформации. Таким образом принципиальная упругость все-таки предполагается в неупругом теле.

Материя современной физики эластична; этого качества недоставало субстанции Декарта. Эластичность материи—диалектическое качество, это значит, что материя сжимаема и несжимаема, проницаема и непроницаема в одно и то же время. Эластичность материи, так же, как и полярная противоположность положительных и отрицательных электронов,—свойство чисто опытное, не имеющее никакого отношения к априорным запросам «естественных требований разума». Подобная эластичная и полярная материя дает нам электромагнитную картину мира. Последняя является также и механической картиной, если мы понятие механики возьмем в самом общем смысле, так как электромагнитная теория точно так же сводит все явления к материи и движению.

Мы видим, однако, что, несмотря на указанное существенное различие, идеи Декарта не отвергнуты безусловно в современной физике. Они послужили исходным пунктом развития. В ходе этого развития они подверглись отрицанию, но отрицанию в смысле Гегеля, тому отрицанию, которое сохраняет то, что оно отрицает.

5.

Рассмотрев важнейшие естественно-научные идеи Декарта и их дальнейшую судьбу, остановимся на втором не менее важном моменте в развитии механики и физики—на взглядах Ньютона. Ньютон является представителем более зрелой в естественно-научном отношении эпохи. Ему не приходилось, как Декарту, выбрасывать из головы, как нелепый хлам, результаты многолетнего изучения и строить науку с самого начала.

В основе механики Ньютона и в основе всей его философии лежат следующие четыре постулата, или, как он их называл, определения:

1) Количество материи есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и об'ему ее.

И далее через несколько строк: это же количество подразумеваю под названием тело или масса.

2) Количество движения есть мера такового, устанавливаемая пропорционально скорости и массе.

3) Врожденная сила материи есть присущая ей способность к сопротивлению, по которой всякое, отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения.

4) Приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного движения по прямой («Principia...», перев. А. Н. Крылова. Известия Ник. Морск. Акад., вып. IV).

Прежде всего рассмотрим, что разумел Ньютон под «количеством материи». Материя в естествознании рассматривается, как субстрат или носитель свойств—не одного какого-либо свойства вещества, но всех его свойств. Поэтому под «количеством материи» у Ньютона подразумевается некоторая величина, имеющая в одинаковой мере отношение ко всем свойствам веще-

ства. Предполагается, что, какие бы из свойств вещества мы ни взяли, в количественном отношении оно будет пропорционально прежде всего количеству материи, обладающей этим свойством. Таким образом Ньютон указывает, что, производя измерения двоякого характера (плотности и об'ема), при чем при измерении не принимается во внимание ни химический состав тела, ни его структура, можно, тем не менее, получить результат, количественно характеризующий все без исключения свойства тела.

Но как возможно говорить о разнородных химических телах, что они заключают в себе равные количества материи? Пусть мы имеем кусочек свинца и некоторый об'ем воздуха. Если Ньютон находит возможным приравнивать материю свинца материи воздуха, то очевидно, что он допускает нечто третье, некоторый масштаб для количественного сравнения. Таким масштабом может быть только первичная материя, из которой составлены и свинец, и воздух, и все другие тела. Итак, здесь подразумевается гипотеза, без которой Ньютоново определение лишается смысла; эту подразумеваемую гипотезу можно формулировать так: существует первичная материя, из которой состоят все тела; масса тела должна равняться количеству первичной материи, содержащейся в теле.

Подлинная мысль Ньютона именно такова. В начале третьей книги «Principia...» (первое издание 1687 г.) среди основных гипотез мы находим следующую: «Каждое тело может преобразоваться в тело другого какого-либо рода, проходя через все промежуточные ступени качеств». Без такой гипотезы, высказанной или подразумеваемой, определение массы оказалось бы ничего не значащей фразой.

Но откуда Ньютон взял указанные идеи первичной материи и превращения тел? Эти идеи были популярны в его эпоху, они принадлежат алхимии, которая еще не была окончательно скомпрометирована к тому времени. В широких кругах естествоиспытателей неизвестно, что и сам Ньютон был отчасти алхимиком, что он не только в теории был уверен в возможности превращения тел, но и производил опыты в указанном направлении. Следы его алхимических воззрений можно найти как в первом, так и во втором издании «Principia...».

«Пары, производимые солнцем, неподвижными звездами и кометными хвостами, могут от своего тяготения падать в атмосферы планет, здесь сгущаться и превращаться в воду и в влажные спирты и затем от медленного нагревания постепенно переходить в соли, в серы, в тинктуры, в ил, в тину, в глину, в песок, в камни, в кораллы и другие земные вещества» («Principia...», кн. III, 588 стр. русск. пер.).

Здесь интересна также алхимическая терминология. Но, так или иначе, идея первичной материи или возможности превращения тел логически необходима для определения Ньютонианской массы. По существу же мы видим, что Ньютон не ошибся, допустив первичную материю, так как на наших глазах первичная материя стала осязательной. Современная физика учит об электрической природе всякой материи. Отрицательные электроны одинаковы во всех атомах; после открытия Астоном изотопов мы то же самое с уверенностью

можем сказать и о положительно заряженных атомных ядрах. Раньше допущение, что все атомные ядра построены из одной простой единицы, встречалось с тою трудностью, что атомные веса элементов представляют собою дробные величины. После того, как Астон элементы с дробным атомным весом разложил на изотопы, имеющие в качестве атомного веса целое число, указанное затруднение исчезло.

В новой физике мы встречаемся с направлением, отрицающим самое существование материи. Для этого направления определение массы Ньютона, конечно, неприемлемо; оно стремится заменить определение Ньютона определениями чисто формального характера. Сравним с Ньютонианским определением массы те определения, которые дают позитивисты.

«Телами, имеющими равные массы, мы называем такие, которые при взаимодействии сообщают друг другу равные и противоположные ускорения. Если мы примем за единицу взятое для сравнения тело А, то массу m мы припишем тому телу, которое телу А сообщает в m раз большее ускорение по сравнению с тем, которое оно само получает от тела А. Отношение масс есть отрицательное и обратное отношение взаимных ускорений... В нашем понятии массы не заключается никакой теории; «количество материи» в нем совершенно излишне, в нем содержится лишь точное установление, описание и обозначение факта» (Мах, «Механика»).

«Даже в хороших учебниках можно найти в качестве определения массы бессмысленное выражение: масса есть «количество материи», при чем не дается никакого указания, как это количество измерять. Из предыдущих соображений вытекает подходящее к делу определение массы, как емкости энергии движения» (Оствальд, «Натурфилософия»).

«Во-первых, мы видим, что масса какого-нибудь тела находится в отношении к некоторому тельцу—эталону, или что масса есть всегда относительное количество. Во-вторых, масса оказывается простым числом, представляющим отношение ускорений. Мы имеем, таким образом, перед собой вполне ясное и понятное определение» (Пирсон, «Грамматика науки»).

Нельзя, конечно, отрицать логической строгости подобных определений. Но дело в том, что определение Ньютона дает бесконечно больше! Количество энергии движения, поглощаемой телом, есть осязательный факт; но и количество всякой другой энергии, находящейся в теле, также пропорционально массе тела! Количества потенциальной энергии, химической, тепловой точно также пропорциональны массе тела. Если мы разрежем хлеб и будем сравнивать два куска между собою, то не только емкости по отношению к ускорениям, но и питательности этих кусков будут пропорциональны массам. Совершенно непонятно, как, исходя из позитивных определений массы, можно связать эти разнородные свойства и об'яснить, почему питательности обратно пропорциональны ускорениям. Между тем материалистическое определение Ньютона делает указанный факт само собою разумеющимся.

Позитивист со своим определением массы неизбежно попадает в смешное положение человека, у которого теория расходится с практикой. Пусть хотя бы тот же самый Оствальд желает приобрести для своей лаборатории

несколько миллиграммов радия. Ему не придет в голову сомневаться, что за два милиграмма радия следует заплатить вдвое больше, а за три—втрое больше, нежели за один миллиграмм. Откуда же берется подобная уверенность в том, что активная энергия также окажется обратно пропорциональной ускорениям? Очевидно, что с понятием «миллиграмм» против воли связывается именно понятие о некотором количестве материи. Таким образом утверждать, что масса есть не что иное, как единица, деленная на ускорение и взятая с обратным знаком, или что-либо подобное—значит убеждать себя в том, что мы знаем меньше, нежели знаем на самом деле.

Позитивисты просмотрели ценную идею, заключающуюся в определении Ньютона. Эту идею можно выразить так: существует универсальный коэффициент пропорциональности, или масса, который должен войти во всякое выражение, количествено характеризующее тело, коэффициент пропорциональности, не зависящий ни от строения, ни от химической природы тела, зависящей только от количества первичной материи, содержащейся в теле.

Поэтому, с точки зрения материализма, вполне понятно, почему инертная масса равна тяжелой массе, почему недавно открытые колоссальные запасы внутри-атомной энергии в телах также пропорциональны массе и т. п.

Оствальд пытался заменить понятие материи понятием энергии. С отвлеченно-философской точки зрения такая замена не меняет существа дела, так как энергия, точно так же, как и материя, является внешней реальностью, независимой от сознания человека и возбуждающей ощущения своим действием на организм. Но в физическом отношении понятие субстанциальной энергии не удовлетворительно. Понятие субстанциальной энергии не диалектично. Каждая отдельная форма энергии представляется в виде особой, совершенно самостоятельной застывшей сущности. Притом невозможно об'яснить, почему различные формы энергии не существуют изолированно, но образуют всегда комплекс, пропорциональный массе. В самом деле, в теле мы всегда имеем энергии формы, об'ема, положения, движения, тепловую, химическую и проч. в неразрывном единстве. Только материализм может об'яснить тесную связь и единство различных форм энергии, как свойств вещества.

6.

Третье и четвертое определения Ньютона указывают на весьма важное для его системы различие между врожденной силой материи и извне приложенной силой.

Хотя Ньютон относился отрицательно к основному труду Декарта по физике, хотя он исходил не из субстанциального протяжения Декарта, но из атомов и пустоты, но он все же усвоил многие картезианские идеи, которые были общепризнанными в его эпоху. Так он принимал, вслед за Декартом, что тела могут действовать друг на друга только посредством толчков и давлений, при чем давления он также представлял как сумму толчков. Такие внешние

толчки Ньютон и называл приложенной силой. Замечательно, что Ньютон считал силой, врожденной материи, только силу инерции; все же остальные силы, в том числе и силу тяжести, он рассматривал, как силы извне приложенные.

Согласно третьему определению, телу врождена способность сохранять состояние покоя или равномерного движения по прямой; это значит, что телу не врождена способность ускоренно стремиться к другому телу. По отношению друг к другу частицы материи обладают не способностью взаимного влечения, но способностью сопротивления этому кажущемуся влечению. Нелепо было бы допускать, что материи врождены две способности: стремление к равномерному и стремление к ускоренному движению. Но Ньютону и нельзя приписывать такой нелепости. Ньютон определенно заявляет: «Я отнюдь не утверждаю, что тяготение существенно для тел. Под врожденною силою я разумею единственно только силу инерции. Она неизменна. Тяжесть при удалении от земли уменьшается» («Principia...», III, 451 стр. русск. пер.).

В известном письме к Бентлею Ньютон ясно высказал свой взгляд на природу тяготения. «Нельзя представить себе, каким образом неодушевленное грубое вещество могло бы без посредства чего-либо постороннего, которое не материально, действовать на другое вещество иначе, как при взаимном соприкосновении. А так должно бы быть, если бы тяготение было в смысле Эпикура присуще материи... Допустить, что тяготение врождено материи, присуще ей, так что одно тело должно действовать на расстоянии через пустоту на другое без посредства чего-либо постороннего, помощью которого действие и сила от одного тела проводится к другому, есть для меня такая нелепость, что, полагаю, в нее не впадает ни один человек, способный к мышлению о философских вещах».

В другом месте Ньютон говорит, как он представляет себе тот механизм, посредством которого тела, находящиеся на расстоянии друг от друга, все же вступают во взаимодействие.

«Следует прибавить о некотором тончайшем газе, проникающем все твердые тела и находящемся в них; деятельность этого газа и является той силой, вследствие которой частицы тел на малых расстояниях влекутся друг к другу и, соприкасаясь, сцепляются. И наэлектризованные тела действуют на более значительное расстояние, отталкивая и притягивая соседние легкие тела» («Principia...» III, Scholium generale).

Впрочем, Ньютон оставил этот вопрос открытым, так как ему не удалось «из опыта и наблюдения дать удовлетворительное доказательство существования той среды и способа, каким она действует, производя явления природы».

Итак, мы видим, что третье определение изложено в наивно-картезианской форме. Но оно содержит также и оригинальную, весьма важную идею, которой не было у Декарта. Та мысль, что тело, предоставленное самому себе, будет сохранять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, взята Ньютоном у Декарта, равно как и принципы невозможности действия на расстоянии. Но идея пропорциональности сопротивления массе — вполне оригинальная идея Ньютона; а только после введения этой идеи по-

лучился этот принцип инерции, который лежит в основе механики. Ньютон вводит здесь понятие инертной массы и указывает на его связь с количеством материи.

Но фактически тела отклоняются от равномерного прямолинейного движения; из третьего определения следует, что причиной подобного отклонения является не внутреннее свойство тела, а нечто внешнее—приложенная сила. Таким образом третье определение вызывает необходимость в четвертом.

Четвертое определение равносильно следующему положению: в природе или среде, в которой помещены тела, существуют силы, т.-е. причины механического характера, которые стремятся изменить состояние покоя, или равномерного движения тел, по прямой, посредством толчков или давлений.

Из предыдущего следует, что мысль Ньютона именно такова. Что же именно представляют собою силы?

Критики Ньютона причисляют силу к тем понятиям, которые должны быть изгнаны из физики. При этом указывают на то, что понятие силы носит антропоморфный характер: по мнению критиков, понятие силы создается на аналогии с переживаемым нами чувством усилия, при чем тела произвольно наделяются различными свойствами, способностями и сущностями.

По отношению к «врожденной силе материи» мы можем, пожалуй, согласиться с этим возражением. Мы теперь не так наивны, чтобы утверждать, что такая-то сила непосредственно врождена материи; а, может быть, она является производным эффектом?—скажем мы теперь. Например, согласно современным взглядам, инерция также не «врождена» материи, а обусловлена электрическими свойствами материи. Но по отношению к внешней приложенной силе указанная критика обнаруживает только полное непонимание Ньютона. Идея приложенной силы является одной из удачнейших идей Ньютона, одной из наиболее принесших пользы науке.

В четвертом определении Ньютон не приписывает материи никакой особой способности, но только допускает, как упомянуто, существование механических причин, сообщающих ускорения телам. Каковы же эти причины? Это могут быть толчки, давления, вихри, как думали в эпоху Ньютона, это могут быть напряжения упругие или электрические, какие принимаются в новейшей физике; вообще, это могут быть какие угодно причины. Ньютон в известных случаях считает возможным игнорировать детали и природу скрытых механизмов, сообщающих ускорения телам, и изучать только общий результат их действия. Так как, например, тяжесть, по Ньютону, не есть способность, врожденная материи, то должен существовать особый механизм, побуждающий тела устремляться друг к другу. Но для астрономии, например, природа механизма, производящего тяготение, вполне безразлична. Каковы бы ни были детали этого механизма, общий результат, который можно выразить посредством математической формулы, будет тот же самый. Поэтому Ньютон говорит о тяготении, как о приложенной силе, действующей пропорционально массам и обратно пропорционально квадрату расстояния.

Итак, приложенная сила, по Ньютону,—это общее название для скрытых механизмов, сообщающих ускорения телам, природу которых (т.-е. механиз-

мов) можно временно игнорировать, выразив математической формулой общий эффект их действия. Такой метод общей характеристики сил природы оказал в естествознании огромные услуги. Это оригинальный прием Ньютона; такой прием не был известен Декарту. Последний во всех случаях стремился a priori воспроизвести все детали скрытых механизмов; Ньютон же избегал таких произвольных построений.

Его известное изречение «Hypotheses non fingo» (я не строю гипотез) направлено непосредственно против картезианцев. Исторически несомненно. что Ньютон к гипотезам прибегал, но произвольные конкретные построения картезианцев он заменял понятием приложенной силы.

Его приведенное изречение следует понимать в том смысле, что Ньютон отвергает априорный метод в физике.

7.

Несмотря на колоссальные успехи новейшей физики, мы нигде не видим принципиального разрыва с прошлым; важнейшие идеи Ньютона сохраняют свое значение и до настоящего времени, при чем расхождение между идеями Ньютона и современной физикой является скорей кажущимся.

Возьмем хотя бы понятие массы. Согласно современным воззрениям, масса электрона есть «кажущаяся масса», имеющая электромагнитное происхождение; масса не является величиной постоянной, но зависит от скорости; кроме того, в зависимости от направления, различается продольная и поперечная масса. Повидимому, полное противоречие с Ньютоном! Но при этом забывают, что Ньютон и не думал определять массу, как величину, обратную ускорению, но как количество материи. В известном выражении $\frac{e}{m}$, понимаемом обычно, как отношение электрического заряда к ньютонианской массе, в действительности ньютонианской массой, по смыслу определения Ньютона, является величина e, а вовсе не величина m. В самом деле, инерция частицы или ее емкость по отношению к ускорениям, взятая изолированно и абстрагированная от всех прочих свойств, вовсе не подходит под Ньютоново определение массы—масса есть количество материи; но так как выяснилось, что всякая материя имеет электрическую природу, то, следовательно, количество электрической материи или заряд частицы и есть ее ньютонианская масса, и самое выражение $\frac{e}{m}$ представляет собою отношение ньютонианской массы электрона к инерции этой массы.

Впрочем, намечается и другое истолкование указанной формулы, также согласное с Ньютоном. Есть основания допускать, что инерция m не связана с электроном непосредственно, но с окружающим электрон силовым полем или же с напряженным эфиром, окружающим электрон. В этом случае инерция тесно связана с количеством эфира, которое переносится вместе с электроном при движении последнего. Переменная масса означает при этом переменное количество эфира.

Точно так же вполне согласуется с идеями Ньютона и другое известное уравнение $m = \frac{E}{C^2}$, т.-е. масса равняется энергии, разделенной на квадрат скорости света. В другом месте мы детально разобрали указанное уравнение [1]). Там же рассмотрена теория движения Ньютона и важнейшие идеи его динамики.

Учение о материи в современной физике нельзя считать чем-либо законченным; физика находится еще в процессе брожения. Обнаруживается следующее противоречие во взглядах на материю. В то время, как для разрешения одних задач всего выгоднее рассматривать электроны и пустоту, видеть в электронах единственную субстанцию и носителя всех свойств,—для разрешения других задач выгоднее рассматривать эфир, окружающий электроны, как истинную субстанцию, связывать с ним электромагнитную энергию, инертную массу, гравитационные действия и проч.; электроны же просто рассматривать, как узловые пункты в эфире. Указанное противоречие нельзя считать примиренным. Но, без сомнения, оно принадлежит к тем противоречиям, которые ведут вперед.

Отыскание диалектического синтеза является делом будущего.

---

[1]) „Под знаменем марксизма“ № 3 за 1924 г.: И. Орлов „Классическая физика и релятивизм“.

Очередные задачи потребительской кооперации.

Л. Хинчук.

I. Условия развития потребительской кооперации.

Развитие кооперации в капиталистических странах совпадало с моментом поражения рабочего класса в его активной борьбе за свое освобождение. В Англии возникло Рочдельское общество пионеров-ткачей после неудачи чартистского движения. В России развитие кооперации совпадает с поражением первой пролетарской революции 1905 г. (Советов Рабочих Депутатов).

Следующие данные достаточно характеризуют это явление в России:

Период:	Число открытых обществ.	Среднее число обществ в год.
1865—1870 г. (6 лет)	76	12,6
1871—1880 „ (10 „)	41	4,4
1881—1891 „ (11 „)	157	14,3
1892—1897 „ (6 „)	332	55,3
1898—1905 „ (8 „)	1.198	149,7
1906—1914 „ (9 „)	10.554	1.173,0
1915—1917 „ (3 года)	12.000	4.000,0

Развитие потребительских обществ в период империалистической войны не имело здорового характера. Много обществ было искусственного образования. Их называли «сахарными», «мучными» и т. п. кооперативами, так как входили в кооперативы с исключительной целью использовать временную кон'юнктуру. В этот период изобиловали так называемые «лжекооперативы».

Исключительное значение кооперация может приобрести только в стране господства диктатуры пролетариата. Прав был Владимир Ильич Ленин, который говорил, что только в Советской России кооперация получает исключительное значение.

«В мечтаниях старых кооператоров,—говорит он,—много фантазии. Они смешны часто своей фантастичностью. Но в чем состоит их фантастичность? В том, что люди не понимают основного, коренного значения

политической борьбы рабочего класса за свержение господства эксплоататоров. Теперь у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью»... «И вот, не все товарищи отдают себе отчет в том, какое теперь гигантское, необ'ятное значение приобретает для нас кооперирование России».

В настоящее время вопрос о кооперации является у нас одним из самых ударных. Место, которое занимает частный товарооборот, поставило перед Советской властью вопрос о кооперации и госторговле во весь рост. Намечена твердая линия дальнейшей работы кооперации в интересах полного обслуживания потребителей, овладения рынком и борьбы на этой почве с частным капиталом.

Потребительская кооперация вступила в новую экономическую политику без средств. Средства создавались в условиях торговой работы. Обороты 1921 — 1922 г., а также увеличение товарооборота за 1922 — 1923 г. необходимо отнести за счет заемных средств в виде банкового кредита и товарных кредитов геспромышленности.

Политика высоких цен на фабрично-заводские товары, на-ряду с пониженными ценами на продукты сельского хозяйства, осенью 1923 г. привела к «ножницам», т.-е. к кризису. Необходимость для потребительской кооперации подготовиться к реализации урожая хлеба сделала потребительскую кооперацию обладательницей больших масс фабрично-заводских товаров и потому она особенно сильно пострадала от кризиса.

В интересах правильного разрешения очередных задач, стоящих перед потребительской кооперацией, рассмотрим положение потребкооперации в 1922 — 1923 г. и в первую четверть 1924 г.

II. Центросоюз в 1922—1923 г.

1922 — 1923 г. характеризовался главным образом стремлением к возможно широкому продвижению фабрикатов геспромышленности в деревню и вообще потребителям.

В настоящее время мы располагаем уже более точными сведениями о работе кооперации за 1922 — 1923 г., но сведения эти в общем подтвердили ту общую оценку, которая была нами дана раньше.

Вся система потребкооперации сделала за 1922 — 1923 г. валового оборота на сумму 853 милл. черв. руб.; чистый же товарный оборот всей кооперативной системы в целом, т.-е. за исключением всего внутреннего товарного оборота между отдельными звеньями системы, исчислен в сумме около 520 милл. черв. рублей.

Продуктов крестьянского сельского хозяйства реализовано через систему потребкооперации за 1922 — 1923 г. на сумму около 105 милл. черв. руб.; главную же массу по ценности составили в оборотах кооперации фабрикаты промышленности: за 1922 — 1923 г. потребкооперация приобрела

у госпромышленности 7,3% всей ее продукции, что составило 13% ее рыночной части, и 15 — 16% произведенных госпродукцией товаров потребительского ассортимента.

По отдельным группам товаров роль кооперации была более значительной: так, кооперация реализовала около 30% всей выпущенной на рынок соли, около 22% товаров силикатной группы, одну пятую всей продукции текстильных товаров, а также керосина, около 35% всей продукции сахара, 14% резиновых изделий и т. д.

Для некоторых товаров роль кооперации, и в частности Центросоюза, была исключительно велика: так, один Центросоюз продал почти половину (47,5%) всего количества чая, обращавшегося в стране, и приблизительно четверть кофе и цикория.

Вся система потребкооперации заготовила в 1922 — 1923 г. около 13 милл. пудов ржи, свыше 5 милл. пудов пшеницы и около 9 милл. пудов других хлебов.

Льна и пеньки потребкооперация заготовила в 1922 — 1923 г. 1.300 тыс. пудов, что составило приблизительно 30% всей заготовки СССР, а вывоз льна за границу через потребкооперацию составил 35% общего вывоза, госпромышленности кооперация поставила полмиллиона пудов льна-волокна, что составило одну пятую общей потребности.

Потребкооперация заготовила пушнины в переводе на белку 7½ милл. штук, что составило 40% общей заготовки.

В заготовительной работе истекшего года впервые было проведено в жизнь участие производителей, поставщиков сырья, в прибылях: один Центросоюз выделил для этой цели 600 тыс. зол. руб. из прибылей, реализованных по экспорту сырья, и передал их периферии, а вместе с отчислениями крупнейших губсоюзов это составило уже более полутора миллионов руб., переданных крестьянам, пропорционально сданному ими количеству продуктов.

Потребительская кооперация об'единяет немного менее половины всех маслозаводов республики с продукцией около 600 тыс. пудов, что составляет половину общей продукции всего Союза.

Вся система потребкооперации располагала приблизительно 1½ тыс. собственных промышленных предприятий с 13 тыс. служащих и рабочих: в их числе больше всего мельниц, круподерок, пекарен, гончарных и кирпичных заводов, маслодельных, кожевенных заводов, кузниц и мастерских по изготовлению обуви, — этого рода предприятия составляют больше половины всех предприятий и занимают подавляющее большинство всех служащих и рабочих.

Товарный оборот всей системы в 1922 — 1923 г. составил в червонных руб. на одну душу городского населения 12 р. 80 к., на одну душу сельского населения — 1 р. 43 к. и на одного крестьянина-домохозяина — 6 р. 50 к. золотом.

Сеть потребительской кооперации изменялась в течение 1922—1923 г. следующим образом:

Состояло действовавших	Потребительных обществ в деревнях	лавок	Общественных обществ в городах	лавок	Итого: обществ.	лавок.
На I/X—22 г. . .	19.965	29.586	2.927	2.522	22.892	32.108
„ I/I —23 „ . .	19.958	29.244	2.319	2 655	23.277	31.899
„ I/X—23 „ . .	16.742	23.045	2.343	2.445	19.085	25.490

Таким образом сеть потребительской кооперации в течение 1922—1923 хоз. года почти неуклонно сокращалась, что было вызвано главным образом своего рода естественным отбором наиболее жизненных единиц и ликвидацией всякого рода мертвых душ.

Это подтверждается тем, что одновременно с сокращением сети росли обороты ЕПО: так, за первый квартал 1922 — 1923 хоз. года средние ежемесячные обороты ЕПО губернского города исчислялись в сумме 37,7 тыс. черв. руб., обороты ЕПО и ЦРК уездных и рабочих гор. поселений—6,9 тыс. черв. руб., сельского общества РСФСР — 476 черв. руб., по Украине — 444 черв. руб., а соответствующие цифры на четвертый квартал того же хоз. года были уже следующие: 83,9 тыс. черв. руб., 15,3 тыс. черв. руб., 883 черв. руб. и 688 черв. руб.; таким образом обороты первичной кооперации увеличились за это время в полтора-два раза.

III. Кооперативная периферия за 1-е полугодие 1923—1924 хоз. г.

Первая половина 1923—1924 хоз. года прошла под знаком изживания октябрьского кризиса сбыта, денежной реформы и кампании по реорганизации кооперации на началах добровольного членства и мелко-районного строительства.

В движении сети уже за 1-й квартал этого полугодия наметился определенный перелом:

Состояло на:	Обществ.	Лавок.	В том числе: В городах обществ.	лавок.	В деревнях обществ.	лавок.
I/X—23 г.	19.085	25.490	1.897	3 216	17.188	22.274
I/I —24 „	20 120	28.063	1.825	3.406	18.295	24.657

Итак, за этот квартал увеличилось более чем на 5% общее число потребобществ и на 10% общее число лавок; это явление резче выявилось в деревне и слабее в городе, где, повидимому, как это подтверждается ростом числа лавок при одновременном некотором сокращении числа городских обществ, преобладает процесс укрупнения обществ над ростом их числа.

За 2-й квартал только что истекшего полугодия в нашем распоряжении не имеется пока достаточных полных сведений, однако, по данным анкеты, произведенной к последней сессии совета, развитие сети потребкооперации продолжалось и за этот квартал.

Изменения, происходившие за рассматриваемое полугодие, не так велики количественно, как значительны по своему существу и экономическому смыслу. Число сельских ЕПО возросло за это полугодие на 1,3%, а число лавок у них — на 7,5%; число гор. ЕПО сократилось при почти не-

изменном числе лавок; общее число кооперированного населения возросло по этим сведениям за полугодие более чем на 40%.

Число союзов за это время увеличилось, но аппарат их упростился, и они стали ближе к населению; число контор и районных отделений союзов сократилось за это полугодие на целую четверть; число вновь возникших потребительских обществ более чем в 5 раз превысило число ликвидированных за то же время.

Число промышленных предприятий возросло за полугодие приблизительно на 20%.

Обороты большинства союзов показали за последнее полугодие определенный рост: в среднем обороты за второй квартал превысили обороты первого квартала почти на 25%, по месяцам года особенно резкий под'ем наблюдался в феврале, а в марте размеры оборотов остались почти без изменения по сравнению с предыдущим месяцем.

Осенний кризис сбыта в острой форме поставил перед кооперацией задачу пересмотра и усовершенствования своей работы и своего аппарата.

Не везде удалось достичь в этой области желательных результатов, но во всяком случае эта задача была повсюду поставлена, и все союзы сделали все возможное для ее разрешения.

То, что уже достигнуто, дает достаточные основания надеяться, что болезнь осеннего кризиса приведет в конечном счете лишь к оздоровлению кооперации. Почти все союзы приняли меры к сокращению накладных расходов, и большинству из них это в большей или меньшей степени удалось: размеры этого сокращения колеблются большей частью в пределах от 25 до 50% по сравнению с прежним уровнем.

Повсеместно было проведено в жизнь, и большей частью неоднократно, широкое понижение продажных цен на товары, большей частью в пределах от 15 до 30% в октябре и почти столь же значительное в марте.

С осени прошлого года распространилось в кооперативной практике также применение точных калькуляций продажных цен, при чем размеры накидок за это время, несмотря на неблагоприятные общие финансовые и экономические условия, а в частности громадные курсовые убытки, все время сокращались: до денежной реформы слабо, а после — сильнее.

За это время союзы теснее связались со своей низовой сетью и большей частью более чем в полтора раза увеличили размеры кредитования последних. Почти повсеместно были приняты меры к сокращению и улучшению ассортимента, и сейчас местная кооперация разгрузилась от неходовых товаров и работает почти исключительно с товарами массового и преимущественно крестьянского потребления.

Некоторые союзы, однако, жалуются на тормозящее еще влияние принудительного ассортимента госпромышленности, а также на затруднительность его пополнения в связи с общим недостатком товаров и со сжатием кредитов.

По полученным нами сведениям, соотношения кооперации с государственной и частной торговлей очень разнообразны, однако, в значительном

числе случаев, в связи с последними понижениями цен, позиция кооперации по отношению к частной торговле значительно усилилась.

Необходимо при этом иметь в виду, что большей частью в мелких городах, в отличие от крупных, в особенности в розничной торговле, удельный вес кооперации значительно выше, чем госторговли.

В деревнях же кооперация почти всегда является единственным конкурентом частного капитала.

Сжатие правительственного и банковских кредитов, а в некоторых случаях и ухудшение взаимоотношений с госорганами после кризиса неблагоприятно влияли на работу кооперации, в большинстве, однако, деловые отношения с госорганами, в особенности первичной кооперации, за это время расширились и частью улучшились.

Очень сильно страдала потребительская кооперация, а особенно сельская, от курсовых убытков: размеры их в последние месяцы перед реформой колебались в пределах от 2 до 15% к сумме оборотов и измерялись большею частью несколькими тысячами, а иногда несколькими десятками тысяч червонных рублей в месяц.

Очень значительны были также и убытки, понесенные потребкооперацией от частых переоценок товаров, в общей сложности за полугодие они составляли, по союзам средних размеров, от 50 до 250 тыс. черв. рублей.

Некоторые меры, связанные с проведением денежной реформы, как-то: сжатие кредита, иногда недостаточно осторожно проводившееся снижение цен, а также разменный голод, тяжело отразились на работе потребительской кооперации.

Однако уже и теперь на местах наблюдается целый ряд благотворных последствий денежной реформы: уничтожение курсовых убытков, рост покупательной силы крестьянства, а вследствие этого сельских ЕПО, большая устойчивость оборотов, снижение цен, значительное упрощение техники расчета, возможность строгого учета операций и составление надежных торговых планов и т. п.

В дальнейшем же денежная реформа сулит для кооперации, и особенно первичной, очень большие выгоды и поможет, наконец, действительно перебросить экономический мост между городом и деревней.

Соотношения продажных цен кооперативной, государственной и частной торговли по данным систематического их изучения за первый квартал 1924 г. в общем довольно благоприятны для кооперации: потребительские общества, как в городах, так и в деревне, торгуют в среднем по всем важнейшим товарам на 6—9% ниже частного рынка, и приблизительно по одним ценам с госторговлей, не считая скидок, предоставляемых членам кооперативов, в размере большей частью от 5 до 7%; по группам товаров следует отметить, что кооперация продает фабрикаты большей частью несколько дороже (на 1—2%) госорганов, а продукты сельского хозяйства на столько же приблизительно дешевле последних.

IV. Центросоюз в 1922—1923 г.

Центросоюз сделал за 1922 — 1923 хоз. год оборотов по продаже (без Церабсекции) на 138 милл. черв. руб., а его конторы и отделения, по неполным еще данным, сверх того, на сумму свыше 44 милл. руб. Обороты по кварталам были следующие: за 1-й квартал — 23½ милл. зол. руб. (с переводом по курсу котировальной комиссии), за 2-й — 22 милл. руб., за 3-й — 30 милл. черв. руб. и, наконец, за 4-й квартал на 62,5 милл. черв. руб.; однако обороты последнего квартала, как это отчетливо выявил осенний кризис, несомненно, были искусственно взвинчены стремлением Центросоюза осуществить в максимальных пределах продвижение товаров госпромышленности к местам потребления их.

Вместе с Церабсекцией обороты за год составили немного менее 150 миллионов рублей.

В общем, сравнительно с предыдущим 1921 — 1922 хоз. годом, истекший год дал большие достижения и, безусловно, способствовал восстановлению хозяйственного значения Центросоюза, как всесоюзного центра.

Существеннейшее значение, поскольку работа Центросоюза на две трети выражается в продвижении товаров госпромышленности в деревню, имели для работы Центросоюза политика госпромышленности, ее цены и ассортимент.

В составе контрагентов по продаже преобладающую роль всегда играли кооперативные организации, как покупатель: за 2-й квартал было продано кооперативным организациям 60,4%, за 3-й — 52% и за 4-й — 70% всех продаж.

V. Центросоюз за 1-е полугодие 1923—1924 хоз. год.

Работа Центросоюза за указанный период протекала в общем под влиянием тех же факторов, как и работа потребительской кооперации в целом, а именно: осеннего кризиса сбыта, денежной реформы и специальных организационных условий кооперативной деятельности.

Общие итоги работы Центросоюза за это полугодие, а именно его обороты по продаже, по сравнению с теми же оборотами за 1-е полугодие 1922 — 1923 г., увеличились в золотых рублях приблизительно вдвое, а в товарных, ввиду падения курса червонца, значительно менее, а именно: приблизительно на 9%.

По отдельным месяцам этого полугодия обороты по продаже, начиная с октября, непрерывно сокращались до января 1924 г. включительно, затем до марта включительно продолжалось увеличение оборотов, и мартовские итоги превысили октябрьские на 14%.

Апрель дал вновь небольшое понижение оборотов, вызываемое, очевидно, главным образом сезонными факторами.

В оборотах Центросоюза за последний квартал немного менее половины падало на промышленные товары, 37% — на продовольственные сельско-хозяйственные продукты и 17% — на сырье.

За это полугодие Центросоюз в области работы с промышленными товарами наиболее сократил свой ассортимент (на 400 названий), а также всячески стремился к замене складских операций комиссионными.

Большое участие принял Центросоюз в хлебных заготовках, а также в снабжении хлебопродуктами важнейших промышленных центров: Москвы, Ленинграда и др.; всего на 1 апреля Центросоюз запродал на внутреннем рынке приблизительно 11 милл. пудов хлебопродуктов, преимущественно муки, и приблизительно 85% этого количества уже сдал.

Из отдельных сырьевых товаров Центросоюз за это полугодие сбыл 285 тысяч пудов льна, 121 тыс. пуд. кудели, 1.789 тыс. штук белки, 74 тыс. пудов шерсти и пр.

За рассматриваемое полугодие окрепла и расширилась непосредственная связь Центросоюза с низовой сетью, обороты с которой в 1-м квартале составили около 8%, а во втором — уже 17%; роль частных покупателей снизилась за это время до незначительной величины (2,9%).

Привлечение кредитов в Центросоюз осуществлялось за это время очень медленно и в незначительных размерах; Центросоюз же, со своей стороны, учитывая громадное значение кредитования кооперативной периферии, особенно в период кризиса, сохранил его прежний абсолютный размер и даже несколько удлинил сроки.

В целях сокращения накладных расходов Центросоюз ликвидировал за это время значительную часть своих местных контор, изменил характер оставшихся для избежания параллелизма с работой местных союзов.

За последнее полугодие Центросоюз экспортировал товаров на 24.600 тыс. руб., а ввез на сумму около 4 милл. руб. зол.

Экспортная работа Центросоюза осложнилась за последние месяцы валютной депрессией и неблагоприятным соотношением курсов иностранной валюты и червонца.

VI. Итоги.

Подведем итоги.

Уже 1922 — 1923 хоз. год был для потребкооперации истинно переходным годом, так как в этом году стихия рынка впервые основательно встряхнула всю систему снизу до верху и побудила ее стать на путь коренной перестройки на началах действительного хозяйственного расчета. Однако в 1922 — 1923 году были сделаны на этом пути только самые первые и далеко еще не умелые шаги.

Осенний кризис сбыта, этот самый сильный, пожалуй, толчок, полученный кооперацией от рынка, широко и глубоко всколыхнувший всю ее систему, разразился уже на исходе минувшего хозяйственного года.

Его уроки могли быть осознаны и использованы, и притом еще далеко не в полной мере, лишь за первое полугодие 1923 — 1924 хоз. года.

Так оно и было в действительности.

В это именно полугодие, после декрета 28 декабря, начались усиленная реорганизация кооперативной системы на началах добровольного членства и новое интенсивное строительство районных союзов.

На это же полугодие выпал период агонии совзнака, повлекший за собой тяжелые последствия для всего товарооборота вообще и для кооперативной торговли в частности.

И, наконец, на исходе того же периода началось проведение в жизнь денежной реформы, и был об'явлен твердый выкупной курс совзнака.

Вот почему первая половина 1923 — 1924 хоз. года должна была явиться и явилась действительно переломной в развитии потребкооперации.

В прошлом году различные линии развития еще скрещивались между собой и затемняли друг друга. Одновременно продолжалась экстенсивная работа по пробуждению хотя бы к ничтожной деятельности всех действовавших когда-то кооперативных звеньев (обществ и лавок), и в еще большей степени влияла уже начавшаяся новая работа по отбору и усилению более жизненных из них с ликвидацией обреченных на слом.

Это сказалось на неустойчивом развитии сети с общей тенденцией к ее сокращению.

Еще более отчетливое выражение этот двойной процесс получил в движении числа кооперированного населения: одновременно шло привлечение новых членов-пайщиков, с одной стороны, и отметание старых «мертвых душ» — с другой.

Так как при этом самые методы регистрации членов и самое понятие активного члена-пайщика в то время не были достаточно установлены, то движение числа членов-пайщиков за 1922 — 1923 хоз. год не дает отчетливого представления о действительных тенденциях.

Однако в начале 1923—1924 хоз. года из этого организационного хаоса стали уже вырисовываться значительно более определенные очертания, и сейчас можно уже с некоторым правом говорить о довольно явственном переломе вверх и о безусловных достижениях.

Это тем более ценно, что перелом этот достигнут не в атмосфере спокойного экономического развития, повышающейся кон'юнктуры и усиленной поддержки государственной власти, а, наоборот, в процессе борьбы для преодоления жесткого кризиса сбыта, в атмосфере коренной организационной ломки и проведения в жизнь административно-хозяйственного районирования и, наконец, в условиях резкого сжатия государственных и банковских кредитов.

Кооперация не только выжила и даже окрепла в экономическом и торговом отношениях, но одновременно стала за это время в значительно большей степени обслуживать действительные интересы потребителя.

Потребкооперация, может быть, еще не в полной мере нашла, но уже во всяком случае находит себя: Центросоюз за это время теснее связался со своими членами, а местные союзы тесней сплелись со своей низовой сетью, и, наконец, последняя стала в большей мере обслуживать своих пайщиков.

Более половины всех потребительских обществ перешло в настоящее время на начала добровольного членства, сеть, особенно сельская, растет, как было указано выше, число вновь возникших обществ более чем в 5 раз превышает число ликвидируемых, неуклонно растет численность кооперированного населения.

Уроки осеннего кризиса не пропали для кооперации даром.

Кооперация научилась лучше считаться с рынком и больше полагаться на себя.

Денежная реформа уже дала некоторые выводы потребительской кооперации и еще больше сулит в дальнейшем.

Кооперация осознала необходимость обслуживания по возможности в полной мере потребительских нужд рабочих и крестьян и их хозяйств и с этой целью необходимость борьбы с частным капиталом.

VII. Очередные задачи.

За последнее время достаточно выкристаллизовались и очередные задачи потребительской кооперации в настоящий момент.

Только что закончившаяся XI Сессия Совета Центросоюза выработала ряд конкретных положений, которые не только оценивают итоги уже произведенной работы, но и определяют политику потребкооперации на ближайшее будущее в духе тех директив, которые были установлены пленумом ЦК РКП.

Отметим основные постановления Сессии Совета.

Совет признал, что Центросоюз, работая в крайне тяжелых и сложных экономических условиях, все же достиг сравнительной устойчивости в своей торговой работе, своевременно и полностью покрывая свои обязательства, и что вместе с тем Центросоюз, принимая на себя удары кризиса, ослабил его последствия для кооперативной периферии и сохранил ее кредитование.

Отметив недостаточную концентрацию средств и хозяйственной деятельности Центросоюза, недостаточно энергичное отстаивание перед госорганами интересов периферии в осуществлении уже принятых Советской властью решений и некоторые другие недочеты, Сессия Совета, вместе с тем, признала, что сейчас более, чем когда-либо, громадное значение имеет наличие всесоюзного кооперативного хозяйственного центра не только для развития работы, но и для самого существования всей периферии.

По вопросам о торговой и финансовой политике потребкооперации Совет признал, что вся система потребкооперации должна направить все свои силы на удовлетворение основных потребительских нужд рабочих и крестьян, в особенности в части борьбы с частной торговлей; необходимо провести дальнейшее упрощение аппарата и усовершенствование товарного ассортимента, твердо держать цены на уровне ниже средне-рыночных цен частной торговли, борясь также и с чрезмерными увлечениями понижения цен, влекущими за собой крупные убытки; исходя из принципа наибольшей взаимной выгоды, необходимо избегать как излишней централизации в товародвижении, так и чрезмерной распыленности торговых сделок.

Центросоюз должен сосредоточить свои операции на сокращенном ассортименте и развить комиссионно-посредническую работу.

Сейчас необходимо, как никогда ранее, единство фронта госорганов и кооперации; кооперация должна влиять на строение цен рынка. Необходимо принять ряд решительных мер к восстановлению средств и кредитоспособности целого ряда кооперативных организаций, до того нормально работавших, а сейчас оказавшихся в тяжелом финансовом положении.

Крайне необходим для кооперации в настоящее время доступный кредит, более дешевый, чем существующий.

По вопросу о хлебозаготовительной кампании Сессия Совета, признав, что потребкооперация проникла в самую гущу крестьянского рынка, способствовала усилению товарооборота, кооперированию крестьянского населения, постановила расширить и улучшить работу в этой области, обязав все союзы представить в ближайшее же время ориентировочные планы заготовок и заявки о своих потребностях.

Необходимо продолжить и углубить взятый Центросоюзом курс на усиление переработки хлебопродуктов с тем, чтобы по возможности все заготовленное количество предложить потребителю уже в переработанном виде.

По вопросу о паевых взносах Совет признал необходимым повсеместно увеличить эти взносы с установлением минимума до 5 р. с каждого члена-пайщика.

По вопросу об организационных задачах потребительской кооперации Совет признал, что в первую очередь необходимо обратить внимание на укрепление низовой кооперативной сети. К этому должны свестись все мероприятия союзных организаций, при проведении которых необходимо основываться исключительно на действительной самодеятельности населения и материальной заинтересованности членов потребобществ в своем кооперативе и этого последнего в своем союзе.

Признавая, что в общем и целом произошел процесс оздоровления сети и ее укрепления, Совет рекомендует принятие дальнейших мер в том же направлении.

Совет разрешил на ближайшее время образование следующих новых областных союзов: Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного, Киргизского и Юго-Восточного, и, наконец, определил на будущее время следующим образом характер самого Центросоюза: 1) он должен быть идейным и организационным центром кооперации СССР, 2) союзным торговым центром по товарам союзного значения и по комиссионно-посредническим операциям, 3) торговым центром кооперации центрально-промышленного района и др. прилегающих к нему областей и районов, 4) представительным и хозяйственным центром потребительской кооперации СССР и, наконец, 5) союзным центром по товарам экспортного и импортного значения.

Членами Центросоюза должны являться все союзы кооперативов и все крупные рабочие городские кооперативы с числом членов не менее 5.000 чел.

Работа потребкооперации, и в частности Центросоюза, за последнее время подверглась всесторонней и иногда даже слишком суровой критике.

Сейчас на только что закрывшейся Сессии Совета представители крупнейших союзов вновь пересмотрели и проверили свою прошлую работу и наметили вехи для предстоящего пути.

Принятые меры кооперацией содействовали деловому сплочению кооперативных организаций между собой и способствовали тому, что кооперация за последнее время стала экономически более самостоятельной, крепче оперлась на свою низовую сеть и постепенно становится на собственные ноги.

В настоящий момент единство фронта кооперации и promышленности подсказывает более благоприятную обще-экономическую и кредитную политику по отношению к кооперации, в проведении которой лежит залог успеха борьбы с частным капиталом за овладение рынком.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Путевые очерки.

Лариса Рейснер.

Билимбай.

(Рудник).

I.

Дорога похожа на извилистый, жесткий корень, на котором «коробок» подскакивает ежеминутно и с грохотом. Мокрая земля со своим красноватым, железистым румянцем во мху, в холодной росе, в первых незаметных фиалках. Стволы сосен, светлея вековым загаром, стоят над холмами, как рукояти огромных лопат, воткнутых искателем, и так забытых. За ними веселая синеглазая речка — как будто прошедшая мимо этих лесистых пригорков, даже не взглянув на них, отвернувшись к далеким приисковым деревням. На самом деле она потихоньку вернулась, просочилась известковыми скважинами, пробилась через глины, увлажняя их тихими подземными слезами, и, наконец, толкая перед собой жидкую земляную кашу, выползла в глубокий подземный коридор-шахту. Стены поддержаны обрубками столетних деревьев, перекрыты могучим тесом. Старинный мачтовый лес продолжает расти, вбитый в эту темную подземную землю, без листьев и корней, без головы и давно безногий — одними стволами, широкой грудью своих столетних кирасс. Он не только стоит и держит землю над собой — он наступает на обвалы, продолжает тянуться усеченной вершиной к свету, которого никогда больше не увидит. Вода ручьями стекает с подпорок, шелестит в темноте, дробится в воздухе, течет вдоль рельс, собирается, стоит, бежит дальше, опять исчезает. И вдруг целый ряд стволов, пригвожденных к стене, падает на колени, сломанный пополам, обессиленный, в холодном поту всепроникающей воды.

В конце каждого коридора—маленькая пещера, освещенная керосиновой лампой. Она не коптит, ее дыхание чисто и не отравляет воздух. Но свет мал и слаб, смотрит, как глаз больного из-под надвинутой на лоб подушки. Еще издали, в облаке пара виден желток этого тусклого огонька, слышно непрерывное, хриплое, равномерное дыхание забойщика и зубастый

стук его кайла. Он стоит на колене, выбивая из-под ног упершейся стены мягкую глиняную скамейку, с которой она должна будет соскользнуть. Выше, над его головой, из стены торчат три рукояти, указывая место, где будет заложен динамитный патрон. Эти три стержня, три железных пальца, которые шахтер втиснул между зубов этой железной баррикады.

Подготовительная работа закончена. Вся мягкая порода выбита. Каталь, набросав ее в корзину, потащил прочь свою вагонетку, согнутый вдвое, мокрый, отпихиваясь ногами от скользких стен, почти волочась животом по лужам и маленьким оползням. Забойщик закуривает, сидя на куче щебня. Спички отсырели и не горят. К пару сырости примешивается пар человеческого тела, которое наслаждается минутой покоя, дымится, как в бане, курится и курит вонючую «козью ножку». В совершенной тишине издалека равномерно, как сердце через толстую одежду, стучит кирка соседнего забойщика. Ничто не похоже на эту подземную тишину. Журчанье и шумок незаметно осыпавшейся земли слышится, как будто уши залиты водой и только железный дятел в соседнем дупле долбит безостановочно — тук-тук, тук-тук.

Папироска докурена. В густых ручьях пота лицо забойщика бело, без единой кровинки, — остыл. Чтобы было светлее, зажигает запасную свечу, вставляет в кольцо и ногтем прицепляет к стене.

Динамит серый, мягкий, легко режется ножом, похож на дрожжи. Собственно, вставляя в него фитиль, полагается раньше проткнуть дырку, иначе капсуль может взорваться в руках у рабочего. Забойщик смеется:

— Мы столько рискуем, работая в этой яме,—немножко больше, немножко меньше.

Фитили заложены, чтобы не потухли в сырости, их хвостики разлохмачивают: делают на конце серебристые одуванчики из стальной проволоки.

Ожидая взрыва, рабочие садятся покурить шагах в 30-ти, «на свежем воздухе», где острый сквозняк просвистывает в шахту по «трубке». Невыразимым холодом и затхлостью веет из колодца, соединяющего этот штрек с поверхностью земли. При свете свеч блестят мокрые бревна, которыми он выложен, и мокрые ступеньки деревянной лестницы, отвесно спускающейся в пустоту. По этим гниловатым, сырым и кривым деревяшкам рабочие, смена за сменой, идут в шахту и выходят из нее. Оторвавшиеся камешки с особенным, стукающимся при падении о стенки, совершенно неописуемым шумом срываются в черную трубу. Свеча в руке вяло горит, обжигая руку воском. Тяжелые сапоги, мокрые, глиняные, осклизлые, осторожно переступают со ступеньки на ступеньку. От времени до времени в стене открываются темные отверстия, в их глубине трепещет отдаленный свет, если прислушаться — сквозь непрерывный осенний плач подземных вод доносится глухое долбление кирки, и, если забой близко,—горячее, окутанное паром, захлебывающееся дыхание забойщика. Это дыхание—точно оно вырывается не из человеческой груди, а из живой шахты, где по стенкам легких тоже струится темная сырость, где в глубине дыхательных ходов, вместо лампочек, мерцают тусклые туберкулезные очаги.

Через несколько минут три сильных, но как бы ватных взрыва. Штейгер смотрит на часы. Торопиться нечего. Дым только через полчаса дойдет до нас и лениво потянется вверх по холодному, темному колодцу.

— А правда ли, что нам хотят рабочий день двинуть с 6 на 8?

Секретарь Билимбаевской компартии, т. Волегов, сам бывший горняк, пришедший в партию со дна этой самой ямы, которую сперва помогал выдирать у бывшего ее владельца, а потом защищал с винтовкой в руках, отвечает не торопясь:

— Будем отстаивать.—может быть, и не двинут.

— А если придется встать на 8-часовую?

— Встанем...

У молодого забойщика голос срывается, как пустая бадья, летящая в шахту на размотанной цепи, пока не разобьется вдребезги.

— Ты сам здесь работал, знаешь, что не можем мы восемь часов. Не можем... Вентиляции почти что нет. Все ползет. Лестница, весь колодезь почитай-что гнилой. Чинить надо—а на какие деньги? Выйдешь — садишься на дороге, пока домой-то дойдешь. Нет, брат, ползти-то некуда. А прозодежда? Не резина, а холст один. Спирт нам полагается после работы—где он? Не видали. Знаем, ты бумажки-то исправно пишешь, — да толку-то мало. Давай хошь папироску, сукин сын, поживимся от тебя маленько. А восьми часам не бывать! Так и запиши.

Один из рудокопов идет посмотреть за дымом. Уже близко, пора уходить. Колодцем спускаемся еще ниже, на самое дно. Здесь потолки так нависли, что головы не поднять. Все чаще под ногами свежие кротовые кучи оползней, все больше надломленных, скривленных сосен, на которые с неимоверной силой напирает жирная грязь. Наконец, приходится ползти на четвереньках между толстых скрещенных столбов, лежащих на боку и сосновыми плечами поддерживающих друг друга. Здесь рудокоп копошится под самым животом земли, навалившимся, почти раздавившим людей, их фонарики, стук их лопат и игрушечный отголосок взрывов. Дышать нечем. А снизу, под наслойкой из досок — уже не каплями, не ручейками — но белесоватыми, невозмутимыми полыньями, везде на одном уровне, стоит глубокая, ровная, вечная вода: шахта достигла уровня реки. Напрасно забойщик преследует исчезающую руду через жидкие прослойки глины, через эти тела жирных допотопных моллюсков, расползающихся под его киркой. Напрасно он все глубже вгрызается в пустой кварц, шаг за шагом двигаясь вместе со своей каменной могилой, непрерывно расширяя ее перед собой, и за спиной снова застраивая тесовыми перекладинами. Достигнув поверхности речных вод, богатейшие залежи руды исчезают под ними. Чтобы итти дальше, нужны новые машины, электричество, всевозможные технические усовершенствования, огромные деньги. А денег нет, и не скоро будут. Между тем, старинный этот рудничек, где прежде работали ссыльные политические, где во время войны пытались пристроить на каторжные работы немецких военнопленных (что не удалось из-за их организованного, мужественного сопротивления), эта маленькая яма, подпертая гнилым деревом и освещаемая керо-

сиповыми коптилками снабжает рудой Билимбаевский чугунно-плавильный завод и является одним из живых производственных колесиков, работающих на возрождение Урала. Его хотели закрыть — рабочие не дали. В неимоверно трудных условиях они продолжают свою борьбу с водой, глиной и переутомлением. Чтобы не повысить себестоимости руды — отказались от электрификации. Наткнувшись на подземное озеро, забойщики, как улиточный домик, волоча за собою свой каменный мешок, пошли на разведку. Весь рудник, руководимый особым, охотничьим чутьем, в темноте и тверди еще нетронутых подземелий, угадывает мощный пласт, залегший где-то по близости над уровнем воды. Его ищут — и, вероятно, найдут. А пока все расходы, все бесплодные поиски подземных разведчиков, все напрасные блуждания в сырых, черных, ползучих глубинах — ложатся на плечи самих рабочих.

Забойщик за шесть часов своего нечеловеческого труда получает 1 рубль 12 коп. за смену. К этому минимуму он может, путем величайшего напряжения, приработать, сверх нормы, 30 — 35 копеек. Каталь получает еще меньше, копеек 50 — 70. И то еще не всегда деньгами, которые, в связи с реформой, часто запаздывают, или приходят в недостаточном количестве. Так, например, пожертвования, сделанные горнорабочими и рабочими-металлистами Билимбая, в пользу голодающих детей Германии (более 500 взносов), до сих пор не могли быть реализованы из-за острого денежного голода. Можно себе представить, как живут рудокопы. Правда, многие из них имеют собственную избу и миниатюрное сельское хозяйство. Но эти же крошечные хозяйства привязывают рабочего к месту, ставят его в крепостную зависимость не только от рудника, но от собственного огорода и хлеба, от козы, пары поросят и пегого теленка с водянистыми младенческими глазами.

В одном из последних забоев, который мне пришлось повидать, снова спросили о 8-часовом рабочем дне. «Неужели правда? Ну, ладно! Если без этого нельзя — согласимся. Хоть уж много лет мы эту песенку слышим: — потерпите-де, еще год, другой — и наладим. Пока не наладили. Хорошего мало видели. Ну, допустим, теперь денежная реформа, и взаймы нам англичане не дают»,—говоривший был коммунист, и поэтому ничего не было удивительного в том, что на дне этой мокрой могилы прозвучал отзвук великих мировых событий, и только глубокая бледность человека, говорившего о социальных судьбах мира с киркой в руке; только полное молчание 30-саженного колодца; только клубы пара, окутавшие его стынущие плечи облаком морозной испарины, придали этим немногим словам особенную каменную серьезность, заставили почувствовать всю ответственность партии, которую она несет на себе за исполнение своей социальной программы, во имя которой люди подземелья продолжают нести свой каторжный труд. Каждый взмах кирки на этих дьявольских рудниках совершается в надежде на скорое наступление жизни более человеческой и справедливой. «Но одно вы, товарищ,—простите, не знаю, как вас зовут,—запишите. Мы очень болеем грудью. Много бывает чахоточных. Посылают нас в отпуск, лечиться на свои же, Уральские курорты. Ванны там с серой, но очень

холодно. Солнца нам надо, после этой-то работы. А на теплое море только одного человека в год мы имеем право послать отсюда, и то с заводом вместе. Очень уж мало».

II.

Завод Билимбай—старое, стариннейшее промышленное гнездо. Строено было крепостными руками: сперва баре им владели большие, потом купцы нрава дикого и большой предприимчивости. Семь сел крепостных возле завода осело — и много леса к нему приписано. Люди освободились, а бор до сих пор отдан на милость завода. На десятки верст тянутся крепостные леса: ели, сосны, колки веселой белой березы — в легких зеленых платках дворовых девок, можжевельник,—казачок, успевающий шалить в столетней тени, и поближе к жилью — прирученные дворовые породы: рябина, дикая яблоня и белая холодная черемуха — росистая, любимая, из девичьей прибежавшая в сад, да так и оставшаяся, с белыми кистями платка, свесившимися через изгородь. Их вырубают по очереди и без очереди, оставляя на семя одинокие сосны, похожие на колокольни среди погоревшего села.

Старый крепостной барин и завод, и беседку в саду, и конюшню, на коей пороли, и церковь придворную строил под стать своей вотчине: бело, широко, весьма прельстительно спереди — и со всем грязным житейским мусором и людской теснотой сзади, заставленной от чужого глаза колончатым, соразмерным фасадом стиля русского ампир.

Церковь Билимбаевская до сих пор сохранила эту роскошь вида, стоит на зеленом холме, как дворец, белая и залитая солнцем, в зеленом шлафроке березовой рощицы, с белыми воротами, выступающими, как кружевные манжеты, из сочной зелени садов. Только утреннего чайного стола не хватает на паперти, самовара и барыни, разливающей чай мраморными своими, строгановскими руками.

И даже главный фабричный корпус сохранил нечто от тех расточительных, падких до внешнего блеска, времен. Какие-то венки еще завиваются на фасаде, нечто вроде декоративных колоннок жмется у входа в плавильный цех. Но здесь живее другая быль, менее вельможная, менее беззаботная, поровшая крепостных уже не на барской конюшне, но в государевом остроге; портившая не столь девок, сколь молодых и сильных мужиков, пудрившая не летучей пудрой XVIII века, а угольной пылью, поучавшая не размашистой барской ручкой и не охотничьим арапником, но тюремным батогом и крупною, неуклюжей пулей того времени. Память жестокая и неизгладимая о золотом веке поссессионных крепостных фабрик, о тяжелой руке первых русских промышленников из «третьего сословия», хозяйствовавших еще на казенной рабочей спине, но нередко и на вольнонаемных рабах, и с тою беззастенчивой рациональной жестокостью, до которой далеко было даже старому барству с его капризным, но неряшливым и непоследовательным самодурством. Очень устарели машины Билимбаевского завода. Многое в его устройстве и оборудовании покажется смешным европейски-образованному инженеру, но сейчас старик-завод, несмотря на выслугу лет, еще раз призван

на действительную службу, и в годы тягчайшего для революции, экономического кризиса, помогает строить и производить. Его старое машинное сердце стучит медленно, но все еще ровно и крепко. Медлительные локти 50-летних водяных турбин двигаются неспеша, с некоторой старомодной величавостью. Чугунная затейливая решотка, которой они обнесены (таких теперь нигде нет), несколько походит на решотки, какими на старинных барских кладбищах бывали обнесены могилы почетных, давно вымерших семейств. Но ничего; Алексей Алексеич Кашин, хранитель и полновластный хозяин домны, маленький человечек с добродушнейшим лицом, весьма любимый рабочими за совершенную свою уступчивость, но до тонкости знающий дело, умеющий отличить малейшие оттенки угля и руды, спец, которому стоит одним глазом, сквозь свое синее стеклышко, засаленное, как и обшлага его тужурки, заглянуть в белый зев печи, где, как листики, как лепестки, трепещут и растворяются в белом молоке чугуна пудовые глыбы металла и угля, чтобы отличить качество сплава, чтобы узнать, не слишком ли много было брошено в этот железный крюшон березы и ели, этих легких, нестойких пород, которым далеко до белого жара, до чистого, неподражаемого пламени, заключенного в твердом, как железо, маслянистом и сочном, как кедровый орешек, безукоризненно-стройном теле столетней сосны. Так вот, Алексей Алексеич, состоящий при домнах уже 35 лет, тот самый Алексей Алексеич, что при Колчаке вместе с белыми должен был куда-то, в неизвестность и разор, бежать от своих машин, однако же, отбежав верст 17, застрявший и совершенно неожиданно оказавшийся на месте как раз во-время, к выходу чугуна, влекомый к этому черному плавильному котлу страстью более сильной, чем обывательский страх и вздорные политические предрассудки,—Алексей Алексеич утверждает, что эти машины еще поработают и себя покажут. С гордостью указывал он на поток воды, омывающей какие-то особые, очевидно, очень нужные и доброкачественные «перья» старого двигателя, к стыду моему—увы!—очень напомнившие лопаточки обыкновенной водяной мельницы. При электричестве вода, текущая на дне турбины, кажется неподвижной, как лунный свет на полу.

К счастью, Алексей Алексеич не мог угадать этих моих, к делу не относящихся, в высшей степени безграмотных впечатлений, и гордо повел нас к самому сердцу домны.

Это каторжный труд: в котел, до края наполненный рудой, углем, снова рудой, и опять углем — над исполинским чаном, из которого поднимается столб жара, дыма и огня, уходящего затем в открытый колошник (колпак, трубу, дымоход. Ал. Ал., простите, но так понятнее)—рабочие непрерывно подбрасывают новые пуды и десятки пудов руды и горючего. Подвешенный как бы к подвижному железному плечу, большой совок ходит над пламенем от одной кучи к другой, везде просительно протягивает руку и со всех сторон собирает железную милостыню. Уголь, разбежавшись к огненному обрыву в подвешенном чане, опрокидывается в него в столбе искр, — нескромный, феерический самоубийца. Только по особому приказу старшего мастера добавляется флюс — особые химические составы, очищающие руду. Они как

бы нарывают в огне; собирая вокруг себя всю больную, гнойную кровь металла, золу и вредные составы, соединившись со всем, что есть в сплаве худшего, эти очистительные элементы вскипают прежде, чем созреет чугун. Их выпускают наружу вместе с кипящими отбросами, которые они выводят наружу, как бы жертвуя своим самостоятельным бытием.

На горячем пепле эта лава стынет, как выпавшие из котла, красные внутренности огня. Возле печи стоит тропический жар. Но спины рабочих обдувает ледяной сквозняк. Ночи Урала холодны, почти морозны. От взмокших рубах идет пар. Лица в поту, тело то растворяется в нестерпимом жаре, то стынет и трясется, как после долгого холодного купанья.

Что хорошо для домны, железную рубашку которой снаружи все время поливает холодный душ, — то смертельно для рабочих.

Оплачивается этот труд по 4, 5 и 6 разряду, с некоторой сверхурочной добавкой, т.-е. мизерно, при этом нигде на заводах, до сих пор виденных мною, не пришлось встретить такого глубокого сознательного отношения к жесткой политике, проводимой сейчас Рабочим Государством по отношению к своему правящему классу, обреченному на каторжные работы впредь до налажения хозяйства. Рабочие отлично понимают, что за счет их скудной зарплаты, ценою все большей интенсификации их труда наполняются зияющие прорехи бюджета, недостаток денег, отсутствие нового оборудования, удешевляющего производство.

За их счет, их потом и трудом удешевляется черный металл. Производительность отдельного рабочего во многих местах, в частности на Билимбае, достигла довоенных норм, и даже через них перешагнула. Каким образом, какой ценой? Ведь штаты рабочих сокращены. Где раньше стояло три, теперь работает один. Машины за десять лет износились, их продукция должна была пасть? Палки, которая прежде выколачивала «прибавочную», не стало. Рудники истощились и понизилось качество руды — а между тем старинный Билимбаевский самовар, садясь на бок, пыхтя пыльными ноздрями своих воздуходувных машин (одна из них вовсе старая, лежачая мамонтиха, более не употребляемая), орудуя печными заслонками, через которые наблюдают течение вдыхаемых домной и выдыхаемых ею газов, не бросающихся к выходу только из уважения к нашей труд-дисциплине,—Билимбаевский самовар не только исполнил свое «квартальное задание», но вместо заданных 46 на сто пудов руды, ухитрился дать 46,47 чугуна на выход. Технические усовершенствования? Да, отчасти. Но гораздо больше неслыханное мужество рабочих, несмотря на все протесты и неудовольствия, на своем горбу вытаскивающих Россию из экономической трясины. И не надо забывать, что это мужество— на голодный желудок. Лебеды и крапивы 1919—1920 г.г. уже нет, но и мяса рабочие не видят месяцами.

Одно, о чем они спрашивают, отложив на время молот, лом, гигантские щипцы, вытирая лоб угольным рукавом — скоро ли?.. Что им ответить?

Между тем, наступает час «выхода»—повторяющийся ежедневно, и тем не менее всегда радостный и тревожный в заводе. С особенным, только ему одному свойственным спокойным величием, течет кипящий чугун в пригото-

вленные ложницы, наполняя их сот за сотом, медленно подергиваясь первой пурпурной тенью. Рабочие то подгоняют огонь к своим грядкам, то заграждают его течение. Похоже на игроков, особыми длинными лопаточками собирающих на игорном поле потоки жидкого золота.

Ревда.

I.

«В Ревду воровская шайка злодейственно, — доносили в 1774 г. священники духовному Правлению,—вступила генваря 28-го; чтоб не впасть тем злодеям в руки, для сохранения себя от'ехали в Екатеринбург, где и пробыли до 28 февраля».

Единовременно доносил Петр Демидов, владелец Ревдинского завода в Берг-Коллегию: «По случаю усилившейся злодейской, около ревдинского завода толпы, бывшие в оном приказчики и сторожа, оставя Ревду, спаслись бегством по лесам, но таковыми разбойническими усилиями Ревдинский завод злодеями действительно разграблен и опустошен... в прежнее действие привести вскоре никак не можно, ибо не малое число мастеровых и рабочих людей при многократных сражениях злодеями до смерти побито или к означенным передалось».

Однако преждевременно сиятельный был обеспокоен. Уже 20 генваря доносил отважный капитан Ерапильский, что, «быв уведомлен от пришедших к нему с Шайтанки трех мастеровых о слабости занявших оный завод воров, предводитель коих, отставной солдат Белобородов — полковник Пугачов,— теперь претерпевающий во всем бедность, имея последнее средство разжиться грабительством, решился сделать небольшой над ними поиск, вследствие чего отправил туда. . конных до 20 человек — здешних мастеровых, и в резерв — сержанта Маркова, 100 человек при двух солдатках, да с Ревдинского завода до 50-ти».

«Злодеи собрались противиться, а наши, увидав их, расположились в боевой порядок. Бунтовщики, сколько им робость и страх дозволяли, расположились против наших кучами, прикрывая взятую с собою пушку, но как наши люди были к ним очень близки, то уже и не дождались исполнения своего расположения, принуждены были с ними схватиться. При начальном с нашей стороны залпе злодеи рассыпались по лесу, и также стреляли, что принудило и наши расстроиться, и особливо и по неспособности места... при всем том, не без урону злодеи к продолжению сражения остались и многие из наших не только их подстреливали, но брали в полон. Но, хотя 21 числа полковник Бибиков, приняв рапорт, и счел возможным всем, бывшим в сем деле, по мере их храбрости, за верность и усердие ее императорскому величеству нашей всемилостивейшей Государыне, из казны награждение дать повелел, однако, на злодеев еще партию... с военною командою и казаками двинуть. А вся оная компания составилась из нижеописанного числа людей и орудий, а именно: поручик Костин с двумя обер-офицерами; военной ко-

манды 60, здешних мастеровых 216 и из крестьян до 202 человек при 4-х малых фалконетах и 2-х пушках.

«23-го числа в 7 часов выступили все на злодеев, которые, наконец, из лесу выступили вдруг, но рассеяны были... выстрелами пушек по лесу, однако артиллерию свою имели также прикрытою. Наши, наступая на них в должном порядке... преследовали рассыпанных воров до самого завода, и беспрестанно стреляя из пушек как на оных, так и на собравшиеся толпы, около четырех часов. Злодеи же из лесу против наших показаться не смели, но одна большая пушка у них от собственного сильного порыва разорвалась, то и принуждены были, от нас отстреливаясь, отступить; однакож, кроме 8 человек, они не могли легко наших ранить. Сколько же побито сих извергов, по человечеству нельзя без внутреннего движения и сказать; но зло, причиненное ими государству, заставило бросить их в презрении»...

Так двести с лишним лет тому назад была погромлена одна из частей уже погибшей Пугачевской вольницы, а с нею деды и прадеды рудокопов, угольщиков и мастеровых людей, и поныне питающих старую Ревду.

Сто лет спустя, обстоятельный и многограмотный мужик Умнов, сперва казачком бегавший при заводской конторе, потом в господский дом взятый за отменное перо и чудный, церковные стены сотрясавший бас, записал в изумительном своем дневнике еще одну страницу Ревдинской крепостной фабрики. Жил он долго, писал не часто — но все важнейшее, чем отмечен был его тяжкий век, внес в книгу. Все, кроме освобождения крестьян. Мимо окаянного 61 года прошел в гневном молчании, даже близким своим запретив говорить «про это». Начинали тогда историю с француза. И вот:

1812 г. Была отечественная война. Наполеон I приходил в Москву.

1830 г. Сентября 1 на 2 часа шел снег и продолжался целую неделю.

1835 г. Апреля 13 спихнуты баржи, отправлены в ход 17 дня.

1836 г. Его Высокоблагородие Алексей Петрович Демидов выехал в С. Петербург.

1840 г. Мая 2 в четверток пополудни зачался пожар. Выгорело домов 510.

1843 г. После полуночи сгорел на охотном дворе манеж (стоящий 4.000 р. с.) и господский театр.

1844 г. Апрель 22. С утра шел снег и продолжался до 17 мая.

И. наконец,

1848 г. В понедельник Фоминой недели зачался бунт — в 15 мая было решение, стреляли боевыми зарядами, убито мущин — 160 чел., женщин—5 ч. и 2 девочек и мальчиков двое. Раненых собрано 48 мущин и всего было убито и ранено 256 ч. Солдат было 200 ч., командиров: Берг-Инспектор и Горный исправник, а командовал подполковник Степан Парфеныч Кураев...

Так кратко сказано об этом отклике великого 1848 года, запоротого на барской конюшне, возле пожарной каланчи, близ угольного сарая, хлопающего на ветру оторванной ставней, над устьями двух каторжных рудников, ныне залитых водой, против Сороковой горы, синеющей справа, против лох-

матой горы Волчихи, на которую, 10 лет до того, поднимался Гумбольдт, определив ее высоту в 2.271 парижский фут, по-нашему — 2.420.

Второй Умнов, отец нынешних двух, которые оба были добровольцами в Красной, оба коммунисты, и из старого страшного гнезда давно выселились, утопил летопись в описании драк, несметного пьянства, приказчичьих заметках про пожары, погоду и убытки. Обрывается его рассказ, вышедши из поножовщины Великой Мобилизации, проводив своих рекрут на станцию в пьяном бреду, с черемухой у картуза, с неистовой гармошкой и последней дракой на перроне, под плясовую, вой баб и матерщину. Дальше нет. Умер в 1915 году. С сорок восьмого — еще век. Советская Ревда на старом месте; контора и фабзавком, где по Умнову — в белом доме-дворце жили грозные владыки Демидовы. Псарня и прачечная, устроенные под садом, обвалились, от дома жив только нижний этаж, верхний обгорел до круглых бровей над узкими окнами. Но вход в завод как раз между старой конторой и запасными воротами, у которых расстреляли тех 260 ч. Ближе всех ко входу — кирпичное отделение. Женщины жалуются: не любят его ни заведующие, ни спецы, ни завком, редко кто-нибудь заходит в этот рукодельный цех, всю фабрику роняющий своими кустарными приемами и пачкотней. По температуре этот цех среднее между оранжереей, в которой пухнут мягкие кирпичи, и кухней, где их стряпают. Все, от начала и до конца, вредно для человеческой жизни.

В первой мельнице, на которой два сумасшедших колеса дробят каменную муку из огромных обломков кварца, работают два напудренных, белых мельника, сгребая в кучу и просеивая через решето песок, который машина непрестанно отскабливает железным ногтем от грохочущей, скачущей, дымящейся ступы. Дышат им и задыхаются. Во второй дробилке машина четырьмя чугунными ногами, поставленными в ряд, топчет более мелкий щебень. Во рту и горле шершаво и сухо — как промокательная бумага.

Отделение, где огнеупорную глину, похожую на грязный творог, месят, смешав с толченым каменным сахаром. Нестерпимый воздух сырого, едва достроенного дома, не просушенного и так сданного в наем. Смесь мокрой извести, сырости и холода. Работают исключительно женщины. Наконец, кухня: низкое двух'этажное здание, баня, теплица, тюрьма, прачечная, подавившаяся своими собственными испарениями,— все вместе. Полки, уставленные рядами сырых кирпичей и труб,— полых, с отверстиями по бокам—всяких. Здесь не теряют ни минуты. На огромного обжору, на ненасытного едока — саму Мартэновскую печь стряпают десятки стряпух. Для ее огненной утробы, испепеляющей все, самые стойкие перегородки, катают на столах глиняный хлеб, раскатывают сырые колбасы, густым белесым тестом наливают кирпичные формы.

За первые 260 пирогов повариха получает в день, в долгую 8-часовую смену, 52½ копейки. Столько же за 60 труб плюс надбавку за все лишнее. В скобках: в этом цехе работают исключительно вдовы и одинокие с 3 — 4 детьми на руках. Почти все — члены партии. Две пожилые работницы — 45—49 лет — записались еще во время войны. Старшая из сестер потеряла двух сыновей, добровольцев в Красной.

— Сколько вы вырабатываете?

Розовый уполномоченный отвечает из глиняной ямы: «Триста» и укатывает с тачкой глины, предназначенной для особой мясорубки. Вернувшись: «80 пудов глины перетаскаешь, и... мыла вы нам почему не даете?». Заведующий заводом организованно отступает. Т. Наташа, которую весь завод знает и любит, грозит ему кулаком из своей ямы. «Зажали наше мыло. Неправильно, неправильно, обязаны дать. Не лопнет ваша себестоимость от корочки мыла...»

Обжигательные печи — одни наполняются, и возле них приготовлены магнезитовые кирпичи, красные, как мясо, другие—горячие, как преисподняя, стоят взломанными или разгружаются. Похоже на корку, в которой запекают ветчину. Вокруг сухая и душная жара. Говорят, нет летом работы более утомительной.

II.

Он действительно имеет право пренебрегать кирпичной кухней, всякими углевыжигательными самоварами, порубкой дров — всей этой примитивной работой, еще только ждущей своей механизации — гордый черный цех — прокатки и литья. Техника не знает труда более сложного и квалифицированного. Человеческие руки не только не вытеснены машиной — они-то и связывают в единый производственный процесс отдельные его фазы, требующий от рабочего величайшего внимания, быстроты и уменья.

Нагревательная печь накаливает слитки металла, прежде чем они лягут под механический нож; но мастер, подведя под восьмипудовый обрубок лопату, похожую на гигантский ключ от сардин, поддерживаемый с боков двумя помощниками, одним взмахом, надвинув щит на глаза, сажает ее в белую печь. Он же ведет быстрые и опасные роды металла, которые могут быть испорчены малейшей проволочкой. Наложив страшные щипцы на красный и мягкий череп новорожденного слитка, он одним движением вырывает его из пылающей матки и бросает в железную колыбель — на тачку, обшитую стальными пеленками. Рядом, в черной детской, полной грохота исполинских гремушек, молодой металл делится на куски, и рулевой, защищенный от горящих плевков оператора особой будкой, издали руководит взмахами его ножа. У печи рабочие в перерыве между двух судорог, опрастывающих ее всегда полное чрево:

— Получаем? — Старший — 27 рублей в месяц, остальные — 18 и 9. Девять, это—мальчик, подымающий заслонку, маленькая юркая ящерица, едва успевающая отпрыгнуть то от шипящей свинки, то от пылающих инструментов, кинувшихся к воде, чтобы потушить свою красную загоревшуюся голову.

— За месяц сапог сробить не можем. Сапоги—24. Берегись!..

Черная очередь к огню. Сотни слитков лежат в ряд. Спина и спиночугунные овцы, которые толкач проталкивает в печь ударом железного сапога. Из нее они передаются в первую прокатную машину, которая из визжащего

красного обрубка вытягивает воспаленный, все еще пылающий, но прямой и длинный ствол. Схватив за загривок щипцами, его тащут под резец. Три удара — сзади остается красный, сквозь первые пепельные тени похожий на окурок сигары, огненный отброс. Из следующей прокатной машины выскальзывает уже узкая, гибкая, красная змея. Но едва выглянет из пресса ее бешеная пурпурная головка — рабочий берет ее за шею двумя пальцами клещей, и втискивает назад, в следующую нору, еще более тесную. Хвост стальной гадины свищет вокруг его ног, судорожно обвиваясь вокруг железных крючьев, предохраняющих мастера от ее пылающего прикосновения. А из жолоба уже ползет вторая, третья ждет, наполовину выскользнув из черного кольца, извиваясь в руках помощника.

Но одна из полос застревает в горле машины. Бьет колокол. Остановка. Ее остывшее. уже помертвелое тело, скрутившееся судорожными узлами, как змею на конце шпаги, выбрасывают из машины. Мастера сумрачно отмечают потерянные секунды. Машина безучастно отдыхает. Мимо проносят на носилках искривленный горячий слиток, похожий на обгорелого человека.

В мастерской скандал. Заведующий заводом т. Юшков вывесил об'явление: мотки проволоки весом меньше 2 пудов не принимать. Рубить не на три, а на четыре части, что значит—лишний момент напряженного внимания. более короткий быстрый темп работы.

Облепили Юшкова со всех сторон и напали так, что у него все вз'ерошенные белые волосы стали дыбом. Через шум он выкрикивает в придвинутые уши и прямо в белые лица, с потоками пота, стекающего, как через щетину, сквозь редкие блестящие как бы вымытые им бороды; в лица, освеженные жаром, красные от огня печей, возле которых сменяются каждые полчаса, меловые, с отливом в костяную желтизну,—лица старших рабочих, несменяемых, незаменимых, облизанных жаром, с мумизированной кожей, которая уже не пропускает ни пота, ни краски, ни волнения.

—Пусть об'ясняет, как хочет—не согласны!

Между тем заказчик, могущественный трест, вернул несколько вагонов неполновесной проволоки. Интенсификация труда,—а если нет, разорванный контракт. Выбирайте!

Старая бунтовщицкая кровь не легко уступает. Они тоже знают производство. Доводы и возражения, как шипящая проволока на столб, кольцо на кольцо наматываются на Юшкова. Что скажет фабзавком? Козырина! В старину они также звали: Козырина, Горланова! эй, — Мокрецова с братьями! Старинные в Ревде имена, не раз их поминает умновская летопись по драке, по бунту, по неистовой гульбе, по расправе, чиненной над «добрым» приказчиком, да так, что доказать барин ни на кого не мог, хоть всю деревню перепарывал. Теперь—мастер и заведующий, председатель завкома и чернорабочий, стоят друг против друга — ближайшие товарищи и ожесточенные враги в этой трудовой схватке. Стенка на стенку. Между ними завком.

— До-военные нормы хотите? А где мясо? С пустым брюхом, на одной картошке?

Т. Юшков не уступит. Не может уступить.

— Нельзя? Врете, я сам на этих станках работал.

— Зато тебе и спускам, что работал. Другому давно бы морду набили.

— А у нас Советская, или старая?

— Нет, не согласны. В РЕКАИ (РКИ) шли своих граммофонов с наказом,—будем говорить.

За Юшкова—синяя толстая тетрадь протоколов Уралпромбюро. Сухие цифирные отчеты за истекшую четверть года. Неумолимые итоги, короткие, в три строки приказы по трудовому фронту, спокойные замечания и еще более сухие и редкие, почти незаметные на этих деловых страницах, сдержанные похвалы. Над головой Юшкова, коммуниста, хозяйственника, завкома, угрозой висит графа прокатки, где не хватает 27,25% исполнения, несмотря на суточную производительность сверх нормы, несмотря на 29 трудовых единиц, брошенных на бухгалтерские весы ценой величайших усилий.

За прокатный цех: его переутомление, молодость и сравнительная неопытность мастеров, тягчайшие условия труда, плохое питание и, наконец, триста лет непрерывного, неустанного, сперва рабского, потом хуже, чем рабского, и, наконец, добровольного и по-прежнему неумолимого труда.

Вечером Мокрецов, один из самых измученных и ожесточенных рабочих, сидя у себя за воротами, изредка прерываемый назойливым звоном одной из трех колоколен, у которых пропитой голос старых фабричных котлов, и лицо, как торт с об'еденными украшениями, загибая пальцы, излагал все огромные минусы своей и заводской жизни. Изредка он нагибался и отгонял свинью, упорно подрывавшую ближнюю березу, зябко завернувшуюся в свой зеленый оренбургский платок.

От неловкости, от того, что нечего было ответить на все эти «почему» и «доколе», зачем-то вылез глупый вопрос:

— А вы сами свиней не разводите?

— Так ведь их тоже чем-нибудь надо кормить!

Мимо прошла гармонь, мимо проехала бочка с удобрением, со зловонием, медленно идущим вслед за дрогами, как родственник идет за своим покойником. И холодные вечера на Урале.

Потом Мокрецов спросил:

— Вы все это будете печатать?

— Буду.

— Хорошо, пусть все знают.

Спустя немного в его голосе, как кончик папиросы, которую он потушил плевком, потухло все злорадное.

— А, может быть, сейчас иначе и нельзя.

Шайтанка.

Жара дышит, как ветер. Под полуприкрытым веком дверцы мерцает его закатившийся, неподвижный белок. Согнутые пополам, надвинув на глаза стальные козырки, рабочие руками бросают в белую щель куски старого железа, бесформенную заваль, сваленную кучей. Как охотники, загнавшие

в яму огромного белого зверя, к которому еще не смеют подойти, а издали добивают камнями. Но все старое и мертвое, попав в тело Мартэновской печи, вскипает ее дыханием, становится частью белой крови, текущей по огнеупорным жилам стальным молоком. Старые металлы молодеют, ржавчина становится оттенком пламени. Отжившие, пораненные, исковерканные формы радостно растворяются в огне, чтобы выйти из него для новых воплощений. В течение шести часов полную печь кормят и оберегают, как беременную накануне ее гигантских родов. К концу смены старые мастера по оттенку бесцветной лавы, по силе зноя, давно превзошедшей все доступные человеческому телу границы тепла — угадывают время полной зрелости сплава. Рот печи снова открывается — мальчик дергает веревку, продетую сквозь ее верхнюю губу, и на пол, металлический, как палуба броненосца, течет ее воспламененная слюна. Она быстро остывает, принимая какой-то неописуемо бледный, лунный цвет. Мастер смотрит и отрицательно качает головой. Нет, еще не готово. Рабочий, отбив кусок остывшей стали от пола (так зимой скалывают лед с мостовой), бросает пробу назад в огонь, движением рыбака, швырнувшего обратно в море полузадохшуюся, окоченелую рыбу.

У печи — все сильные, молодые здоровые люди. Как ни жарит Мартэн, жить под чистым уральским небом все-таки легче, чем в вонючей тесноте нашей Выборгской.

Удивительно присуща высоко-квалифицированному рабочему способность каждую паузу, каждую передышку в труде использовать для максимального отдыха. Пока печь, в тяжкой пищеварительной истоме осиливает дымящимся животом последнюю груду металла, обливая ее желчью огня, — они, закурив, стоят поодаль, придав своим отдыхающим телам гибкую и небрежную, в поясе едва перегнутую ленивость, которая каждую минуту готова выпрямиться и войти в работу, и между двух затяжек табаку, все видя и замечая, дремлют, стоя с открытыми глазами. Так же, верно, с рукой упертой в бок, с неопределенной усмешкой, стояли они где-нибудь на перекрестке деревенской улицы, когда, страдая от бесчеловечного обращения господина владельца, Ефима Александровича Ширяева, искали от него так или иначе избавиться. Часто, собравшись в кучу, говорили между собой: «Довольно было бы богомольцев за того, кто убил бы Ширяева». И в конце концов господин был убит по наущению и с ведома фабричных известным на Урале разбойником, атаманом Рыжанко.

Последняя проба. Старший печной, подручные, наборщик шахты — все на своих местах. В кожаном, внизу по горячим углям шагает директор. Инженеры заглядывают в печь с уверенностью молодых врачей, однако очень оглядываясь на безграмотную, но опытнейшую повитуху — старшего печного. Из сплава достают ложку самого чистого и ослепительного сияния, чего-то ни с чем не сравнимого, кроме несуществующей человеческой души. Это блистательное нечто, эта белая радость льется в маленький чугунный стаканчик с легким шипением стального шампанского, по нем бьют обухом, оно розовеет, и под страшными ударами молотобойца показывает всю свою твердость и мягкость.

Кипящее вино руды обратилось червонцем. Набат.

Артели бегут по своим местам со свистом, с улюлюканьем — как раньше на пожар, или бить конокрада, или спускать на Чусовую, заигравшую весной, первый караван барок.

Все окна освещены, в них ходит большой свет, как прежде в играющем бальном зале Демидовского дома. И не свечи проносят мимо них — целые деревья из света, и по дорожкам из пламени белые павлины играют жаркими искристыми хвостами.

Ее Величество сталь выходит белоснежным ручьем, молочная, пенистая, играющая, и встречена такой игрой огненных фонтанов, таким фейерверком, какого самому графу Петру не придумать было в честь Екатерины Алексеевны. Как на большом пиру, наполняет руда один пудовой кубок за другим, шумя и вскипая со дна, как источник, и убирая чугунные края венками искр. Точно великаны собираются поднять эти в ряд поставленные, вместо льда, пеплом охлажденные чаши за мощь и радость труда. Нигде и никогда не бывает металл дальше от своего темного рождения, и ближе к нему, чем на празднике выхода. Ничто, в минуты кипящего просветления, не напоминает о шахте, о сырой и черной Билимбаевской яме и уже через несколько минут на обугленном полу остаются иссерна-сизые, тусклые слитки, покрытые тем налетом металла и угля, от которого на руках горнорабочих образуются несмываемые перчатки.

Представление кончено, барский театр сгорел и, одев старое посконье, крепостные актеры разбежались: кто в кузницу, кто на скотный, кто на барский двор.

Сталь переходит в следующую фазу своих трудовых перевоплощений.

Барометр выборов.

К. Радек.

За последние шесть месяцев пущена была в движение демократическая машина проверки политических тенденций по всей буржуазной Европе. Шестого декабря выбирала Англия, за ней последовали Германия, Франция, Италия, Прикарпатская Русь и Болгария. Выборы являются, вопреки демократической теории, несовершенным барометром настроений и стремлений народных масс. Выборная механика, социальный нажим,—все это представляет ряд помех для выявления фактического положения дел. Но все-таки, если учесть эти помехи, то выборы дают картину, позволяющую подсчитать, систематизировать и обобщить наше знание о политическом положении в Европе. В этой статье мы пытаемся дать это обобщение. Ее можно дополнить оценкой выборов в Японии, где мы видим тот же исторический процесс, который происходит в Европе, на другом конце мира. Выборы в Соединенных Штатах Америки, которые должны состояться в ноябре, позволят, со своей стороны, закруглить картину до мировых размеров. Мы разбиваем нашу статью на основе результатов нашего анализа на три группы:

1) Выборы в Англии и Франции дают картину провала попытки крупной буржуазии при помощи политики сильной руки обеспечить развитие капитализма и решение его противоречий.

2) Выборы в Германии и Италии дают картину усиления политики спасения капитализма при помощи усиления нажима на народные массы.

3) Выборы в Прикарпатской Руси и Болгарии дают картину формирования новой силы, до сего времени не играющей решающей активной роли, а именно — картину активизации крестьянских масс.

Бесплодность империалистско-консервативного режима.

Начнем с Англии. Английские выборы декабря 1918 года были первыми «демократическими» выборами. До 1832 года участие в выборах принимало только 3% населения. Выборная реформа этого года повысила число изби-

рателей до 4,5%; в 1867 году Дизраэли повысил это число до 9%, в 1882— Гладстон дошел до 16%. «Совокупность избирателей, которые через своих представителей приняли вызов Германии в 1914 году, и была таким образом ответственна за вступление Англии в самую кровопролитную и разорительную войну, когда бы то ни было ею веденную, и представляла лишь одну шестую часть населения или около одной трети взрослой его части. Общая воинская повинность обратила внимание страны на несправедливость такого положения. Миллионы граждан были вынуждены рисковать своей жизнью в силу политики, в направлении коей они не принимали никакого участия. Миллионы женщин перенесли бесконечные бедствия и муки за своих близких, более жуткие, чем сама смерть; эти муки вызваны той же политикой, а между тем ни одна женщина не имела права высказать свое мнение при избрании правителей, которые ответственны за эти жертвы. Эта несправедливость настолько ощущалась населением, военная экзальтация коего довела его до высших ступеней понятия справедливости, что оно добилось исправления несправедливости. Таким образом появился на свет величайший из «освободительных актов», акт 1917 года, который впервые обратил английский государственный строй в демократию».

Так говорит великий мастер черной демократической магии, Ллойд-Джордж, в статье от 19 марта 1923 года («Мир ли это?», Ленинград 1924 г,. стр. 167). Мы не будем ссориться с ним насчет того, насколько массы английских избирателей были ответственны за вступление Англии в войну. Всем известно, что правительство Асквита, к которому принадлежал Ллойд-Джордж. путем тайных переговоров министра иностранных дел лорда Грея и генерального штаба поставило не только страну, но и парламент перед совершившимся фактом. Мы увидим еще, как выглядит демократия, введенная Ллойд-Джорджем в 1917 году. Но факт налицо, что в 1918 году, скоро после окончания войны, 22 миллиона взрослых мужчин и женщин имели право высказать свое мнение об участии Англии в войне, о том, велась ли она в интересах рабочих масс. Все мужчины и замужние женщины, старше 25 лет, и незамужние, старше 30 лет (не знаем, почему Ллойд-Джордж считал предпосылкой выборных прав для женщин обладание семейным контрактом), получили выборные права. Как же они ими воспользовались? Половина избирателей совсем не принимала участия в выборах. Этот факт бросает яркий свет на существо режима буржуазной демократии. Четыре года потрясала война весь мир. Англия израсходовала (мы говорим только о чистых государственных издержках) 100 миллиардов зол. руб. Англия потеряла два миллиона людей. Вся картина мира изменилась. Англия стала перед рядом вопросов, таких сложных, каких не разрешал еще ни один парламент. Половина населения,—населения, живущего в тягчайших условиях, не принимала участия в выборах, заявляя этим, что ей все безразлично, что она ничего не хочет и ни во что не верит. Причины этого понимает Ллойд-Джордж не хуже нас. В статье посвященной выборам, которые привели к власти Рабочую партию в декабре 1923 года, он пишет: «С каждым днем в мозгах и сердцах народных

масс росло возмущение против тех социальных условий, которые освещают радужным светом жизнь маленькой части народа, но которые оставляют громадные массы в грязной темноте. Я всегда удивлялся, что народ так долго выносил эти условия. Почему же он их выносил? Шелли уже век тому назад знал правду и провозглашал ее: «Вас столько, а их так мало!» Но укоренившаяся вековая привычка, привычка рабства и гнета прижимала массы, по крайней мере, их большинство. Кроме того, действовал еще другой фактор, который задерживал и уничтожал намерения и стремления реформаторов. Сколько раз народ требовал улучшений, он наталкивался на стену приобретенных прав, у которой заламывалось его стремление, умирала его сила раньше, чем сделан был хотя бы один шаг вперед. Начиналось разочарование и усталость, и народ возвращался на старые рельсы и проклинал своих вождей, которым не удалось сдержать своих обещаний об улучшении жизни. Приобретенные права проявляют по сегодняшний день свое влияние. В обеих партиях действуют силы, не дающие пионерам новой жизни свободы действий. Кирка в руках этих пионеров была так слаба, что не могла устранить тяжелых препятствий на своем пути. Я никогда не забуду моего собственного опыта с земельными податями 1909 года, не забуду, как притупилась и сломилась моя кирка, благодаря внешним и внутренним препятствиям. Маленький шаг вперед был сделан при громадной затрате сил. Внесение этого закона в парламент требовало больше времени, чем внесение какого бы то ни было другого. И когда, наконец, предложения попали в парламент, они были исковерканы, если не уничтожены».

Хорошо пишет историю английской демократии господин Ллойд-Джордж. Он ее пишет даже со слезой и автобиографической меланхолией. Но это не полная история. Когда английский народ вставал на борьбу за демократию и преобразование жизни, ему выбивали кирку из рук преследованиями, которые были не меньше тех, каким подвергалось революционное движение в России. Штык и пуля против демонстрирующей массы, виселица для героев народного движения, каторга и ссылка для его вождей,—это были средства, при помощи которых английская буржуазия гарантировала себе, что рост процента избирателей с 4,5% до 9%, с 9 до 16% и т. д. требовал десятилетий. А как же выбирали эти 10 миллионов, которые пришли к выборным урнам в декабре 1918 года? Ллойд-Джордж стал во главе коалиции консерваторов и правых либералов. Пресса Нордсклифа и Бивербрука работала с ним рука-об-руку. Выборы шли под лозунгом: кайзер будет повешен, Германия уплатит все, а герои войны получат дома. Несмотря на все, Ллойд-Джордж не получил большинства голосов для коалиции. 5.096.233 голоса были отданы за коалицию, 2.375.202 — за Рабочую партию, 2.218.674 получили левые либералы и другие фракции. Но меньшинство получило громадное большинство мандатов благодаря особенностям английского выборного права, которого Ллойд-Джордж не изменил, которое без перебаллотировки отдает мандат тому, кто получает сравнительное большинство голосов. 50 депутатов было выбрано без того, чтобы им были противопоставлены другие кандидаты, 213 вошло в парламент, представляя меньшинство избирателей. Таким образом, опираясь на

5 миллионов из 22 миллионов избирателей, Ллойд-Джордж завоевал твердое большинство в парламенте и приступил к решению задач, поставленных перед Англией и миром. Первым его делом был ряд военных мер на случай рабочих движений. Приготовив свинец против рабочих, демократ Ллойд-Джордж прибег одновременно к другому испытанному средству современной демократии. Когда углекопы требовали национализации шахт и рудников, отказываясь работать на герцога Нортумберландского только на той основе, что ему отдал эти земли 15-летний король в XVI столетии, Ллойд-Джордж заявил: почему нет? и назначил комиссию для исследования дела. Комиссия признала правоту углекопов, но Ллойд-Джорджу не хватило времени для проведения в жизнь ее решения. «Приобретенные права» герцогов Нортумберландских оказались сильнее. За это Ллойд-Джордж состряпал совместно с Клемансо и Вильсоном Версальский договор, эту великую хартию порабощения народов. Обеспечив таким образом условия внешнего и внутреннего мира, Ллойд-Джордж приступил к войне против Советской России, понятно, с тяжелым чувством, ибо понимал трудность этой затеи. Но приобретенные права Уркартов не позволили ему следовать за голосом разума. Мало того, нельзя поработить центральную Европу, сделать ее колонией и присматриваться спокойно, как на востоке Европы растет и укрепляется мировая держава освобожденных рабочих и крестьян. «Если хотите мира, то надо брать Петроград и Москву», говоря Ллойд-Джорджу Клемансо. И Ллойд-Джордж пошел брать Петроград и Москву и—обжегся на этом. С того момента начинается крушение политики Ллойд-Джорджа,—политики коалиции английских промышленников, финансового капитала с помещиками, военщиной, дипломатическими отравителями и бандой спекулянтов, которая составляла специальную гвардию великого демократического реформатора Ллойд-Джорджа. Германию ограбили по всем правилам искусства средневековых разбойников, которых Ллойд-Джордж так красочно разрисовал в своих речах в 1909 г., когда боролся за социал-реформаторский бюджет. Угнали из нее столько коров, лошадей, вагонов, паровозов, кораблей, сколько было возможно, захватили у нее на 10 миллиардов золотых марок фабрик, заводов, предприятий за границей, но вдруг оказалось, что недостаточно отнять у человека рубаху и штаны, чтобы он стал покупателем нового платья. Средняя Европа в руинах, Восток Европы окружен кольцом блокады. Гром победы, раздавайся! Но последствием явился мировой экономический кризис 1920 года. Англия очутилась вдруг с двумя миллионами безработных, и Ллойд-Джорджу пришлось выискивать методы для покрытия миллиарда золотых рублей, которые из года в год затрачивались на содержание безработных. Ллойд-Джордж решил менять политику. Он выступил с планом уменьшения бремени репараций для Германии, заключения сделки с Россией, которая позволила бы сделать эту страну рынком сбыта. Это должно было привести к уменьшению вооружений. Но Ллойд-Джордж и на этом просчитался. Те социальные силы, на которые опирался он, были неспособны к такой политике. Они были бы не прочь «пощадить» Германию, которой уж не боялись и от которой им немного следовало, но их союзники, короли железа и угля во Франции, отве-

чали: уменьшить бремя тяжести Германии очень хорошо, но тогда уменьшите вы нам бремя наших долгов, которые мы приняли в Лондоне во время войны. Это означало необходимость громадного увеличения налогов на буржуазию в Англии. Этот путь *был* забаррикадирован для Ллойд-Джорджа: ему снова стали поперек дороги «приобретенные права». А сделка с Советской Россией? Это должна была быть сделка приговоренного к повешению с веревкой. Советская Россия отказалась от удовольствия оплачивать долги царя и русской буржуазии. Ллойд-Джордж убеждал наших представителей, что если он провалится, то нам худо будет, ибо он наш друг, а его сменят наши враги. Из Генуи Ллойд-Джордж вернулся мертвецом. Но когда этот мертвец затеял еще войну с Турцией и когда в этой войне его наемник, греческий король, сломил себе шею, и Ллойд-Джордж чуть ли не привел к непосредственной войне между Турцией и Англией, он полетел. Пришли выборы 1922 года.

На этих выборах принимает участие *14,5 миллионов* людей, на 4 миллиона возросло число голосующих. Опыт политики Ллойд-Джорджа, который доказал, что́ означают обещания буржуазного правительства, подействовал больше, чем война. Число избирателей, голосующих за рабочую партию, удвоилось: 4.202.516 голосов пало на кандидатов Рабочей партии. Обе либеральные партии получили 4.130.613 голосов, но и консервативная партия увеличила число своих голосов —5.546.480 голосов было отдано ей. Разорвав с Ллойд-Джорджем, она сбросила с себя ответственность за его политику. Понятно, его политика была ее политикой, и факт, что 5 миллионов избирателей дало себя таким образом обмануть, показывает, какие гарантии для обмана дает буржуазная демократия. Но все-таки консерваторы получили только 38,7% голосов, против них голосовало 60% избирателей; но, несмотря на то, благодаря чудесам избирательного права, они получили 56% мандатов. Рабочая партия, получившая 29,3% голосов, получила всего 22,4% мандатов. Расколотые на две партии, либералы получили 28,8% голосов. но, благодаря взаимной драке, только 19,1% мандатов. 8 миллионов избирателей высказалось против правительства, 5 — за. Бонар Лоу имел власть, и консерваторы могли показать, что они одни сумеют. Освободившись от шарлатанства Ллойд-Джорджа, они выдвинули новый план: во внутри — быть по сему. Эта политика была очень облегчена. Свирепствовала безработица, число членов профсоюзов начало падать с 6,5 миллионов в 1920 г. на 5,1 миллиона в 1922 г., 4,3 миллиона в 1923 г. Рабочие пытаются защищать заработную плату, но проигрывают одну забастовку за другой. С 1921 года падала заработная плата на 140 миллионов золотых рублей в неделю. Число членов Рабочей партии, которое в 1920 году равно было 4,3 миллиона, уменьшилось в 1921 году до 4 миллионов, в 1922 году — до 3,3 милл. В рабочих массах царствовало уныние, всякий боялся за кусок хлеба. Так выглядело спокойствие, которое консервативный премьер-министр Бонар-Лоу сделал своим девизом. Но это спокойствие было спокойствием неустранимой безработицы, спокойствием ослабления связей империи, спокойствием, при котором росла мощь С. Штатов Америки и угроза Франции. Бонар-Лоу должен был согласиться на уплату процентов от долгов, заключенных в Нью-

Иорке. 300 миллионов золотых рублей в год обязалась победоносная Англия уплачивать Америке, не получая ни копейки ни от Франции, ни от Германии, не говоря уже о грешной Советской России. Попытка решения репарационного вопроса кончилась походом Франции в Рур. Тогда выдумал лорд Керзон план, который должен был им обеспечить победу, хотя бы на восточном участке. Он решил делить, чтобы господствовать. Заключил мир с Турцией и пред'явил ультиматум Советской России. После отклонения этого ультиматума должен был начать развертываться новый поход против Советской России, при помощи вассалов Франции и Англии. И одна, и другая затея кончилась банкротством. Лозаннская конференция не решила ни вопроса о долгах Турции, ни вопроса о Моссульской нефти. Поэтому никакой дружбы с Турцией она дать не могла. Разрыв с Советской Россией не удался, ибо английские промышленники испугались этого скачка в неизвестное. Консервативная буржуазная Англия осталась без всякой программы, без всякого выхода. Болдуин, ставший у руля на место Бонар-Лоу, выдвинул программу, которая состояла в уходе из Европы и в попытке спасения английской империи, ее развития при помощи усиления связи с доминионами. План Болдуина был чистейшей авантюрой. Центральная Европа имеет сто миллионов жителей, восточная — 150 милл. жителей, английские доминионы, самоуправляющиеся белые колонии, имеют не больше, чем 20 миллионов жителей. Самый большой доминион—Канада с каждым днем все более вступает в связь с Соединенными Штатами Америки. Что касается цветных колоний, Индии и Египта, то в них выросла со времени войны промышленность. Само по себе это не должно бы являться препятствием к росту английского экспорта, но совместно с развитием колониальной промышленности растут и тенденции колониальной буржуазии защитить свою промышленность при помощи покровительственных пошлин. Мало того, если бы Англия попыталась дать привилегии аграрному ввозу своих колоний в ущерб других земледельческих стран, снабжающих ее хлебом, мясом, шерстью, то в результате эти страны сузились бы как рынки сбыта для Англии. Программа Бонар-Лоу, которая представляла собой обгрызанную и скомканную программу Джоз Чемберлена, была актом отчаяния, была выражением абсолютного отсутствия творческого плана у английских консерваторов. Если они рассчитывали, что при выборах 6 декабря 1923 года им поможет неосведомленность масс, финансовое ослабление Рабочей партии, то выборы показали, что они ошиблись.

Масса торговой буржуазии, буржуазии, представляющей экспортную индустрию и находящей свое выражение в либеральной партии, которая на этих выборах выступала сплоченным фронтом, видела во всяком переходе к политике покровительственной связи с колониями угрозу своему и так уже пошатнувшемуся положению на мировом торговом рынке. Для массы же рабочих, для массы служащих, насколько они вообще принимают участие в политической жизни, политика Бонар-Лоу означала вступление на путь искусственного повышения средств к жизни. Английская мелкая буржуазия удержалась до этого времени только благодаря свободе торговли. Дешевизна

предметов широкого потребления, «дешевый завтрак» являлись с 1846 года главным завоеванием английского рабочего и мелкой буржуазии. Таким образом консерваторы с трудом удержали число полученных голосов. Оно даже уменьшилось с 5.554.648 до 5.527.522. Рабочая же партия увеличила число своих голосов с 4.202.516 до 4.506.935, об'единенная либеральная партия увеличила незначительно число полученных голосов: с 4.130.613 до 4.278.428. В общем можно сказать, что соотношение сил при выборах в декабре 1923 года осталось то же, что и в 1922. Но благодаря тому, что либералы выступали об'единенно, исчезло разбитие либеральных голосов, консерваторы не получили старых относительных большинств и потеряли не меньше 88 мандатов.

Что означает этот исход выборов в социальном смысле?

1) 8 миллионов избирателей не принимало участия в выборах. Это, в первую очередь, рабочая беднота. Они еще не втянуты в политическую жизнь. И это имеет место в наиболее богатой, наиболее просвещенной и наиболее демократической стране Европы.

2) Громадные массы рабочих голосовали еще и за либералов, и за консерваторов.

3) Несмотря на то, что Рабочая партия имеет в своем распоряжении только одну ежедневную газету, с тиражем в 300.000 экз., что сеть еженедельных рабочих газет очень мало развита, что число брошюр, пущенных в агитацию, незначительно, — 5 миллионов английских рабочих отдало свои голоса Рабочей партии, следуя голосу своего пролетарского инстинкта.

4) Ни одна из буржуазных партий не может, опираясь только на собственные силы, руководить страной, а так как коалиция обеих кончилась в 1922 г. громадным крахом, то они должны были пока что оставить власть Рабочей партии, утешаясь, что Рабочая партия неспособна ни к какой революционной политике, не только потому, что у нее нет большинства ни в населении, ни в парламенте, но и потому, что она боится революционной политики.

Если прислушаться к политическим дискуссиям в Англии после выборов, то можно сделать еще один вывод: либеральная партия еще менее, чем консервативная, способна вернуться к власти. У нее совершенно отсутствуют какие бы то ни было перспективы решения стоящих перед Англией и Европой задач. Это приводит к бегству интеллигенции из ее рядов в ряды Рабочей партии и к передвижению капиталистических элементов к консерваторам. Либеральную программу, как ее воплощал во время борьбы за бюджет в 1909 году Ллойд-Джордж, воплощает теперь Рабочая партия. В Англии называли бедных людей людьми «из другой руки» (second hand people), ибо они покупали поношенные костюмы. Политика Рабочей партии есть, по выражению одного из тончайших английских политических публицистов, «либерализм с другой руки». Она, пока что, имела успех в области иностранной политики, она решила ликвидировать наиболее безнадежную глупость консервативной партии, политику угроз по отношению к Советской России. Но признание Советской России есть признание факта. На очереди теперь вопрос об отношении к этому факту. В момент, когда пишутся эти строки, Лондонская конференция представителей английского рабочего правительства

и советского правительства еще не кончена, но мы боимся, что она не двинет вперед наиболее важного для Англии и России вопроса, вопроса об экономических отношениях обеих стран. Так же как Ллойд-Джордж не был в состоянии преодолеть сопротивления «приобретенных прав», так же Рамзей Макдональд выступает защитником прав английских капиталистов, пострадавших от русской революции. Разница только та, что Ллойд-Джордж имел больше влияния на господ из Сити, чем Макдональд. Что касается второй победы рабочего правительства, которая открывала, как казалось, выход из международного тупика, то ею является падение Пуанкаре. Пришедши к власти, Макдональд оттягивал переговоры с Францией до ожидаемого падения Пуанкаре, забавляясь, пока что, перепиской, полной дружбы и любви к французскому народу. Не без помощи английских банков произведено было падение франка. «После мантии падает герцог»,—с франком пал Пуанкаре. Доклад комиссии экспертов, т.-е. условия, продиктованные банковской фирмой Моргана, на которых американский капитал заявляет свою готовность вернуться в Европу, будут приняты и союзниками, и Германией. Но это открывает только виды на медленное выколачивание платежей из Германии, но не перспективу на экономическое возрождение центральной Европы. «Пацифистская» политика Макдональда окажется так же бессильной, как оказалась пацифистская политика Ллойд-Джорджа. Макдональд сам это предчувствует и поэтому ни на один день не прекращает постройки воздушных флотилий. Его жест с отсрочкой постройки морской базы в Сингапуре очень дешево стоит, ибо, благодаря землетрясению, Япония выбита из колеи на пять лет. А как выглядит внутренняя программа правительства Макдональда, как выглядят перспективы внутреннего развития Англии под руководством Рабочей партии? Внутренняя политика рабочего правительства есть политика выжидания и маленьких подачек рабочему классу. Правительство Макдональда и Рабочая партия об'ясняют свое поведение тем, что у нас, мол, нет большинства в парламенте, и поэтому мы должны очень медленно продвигаться. Одна консервативная газета так же об'ясняет политику правительства, заявляя, что, когда чорт был болен, он был очень смирный. Но мы думаем, что прав либеральный журнал «Nation», который говорит, что не отсутствие большинства, а отсутствие желания борьбы со стороны Рабочей партии обеспечивает Англию от «экспериментов». На это указывает не только отсутствие пропаганды больших социальных реформ со стороны английского рабочего правительства, но и то, что оно не делает и того, что могло бы делать. Позиция, занятая английским рабочим правительством по отношению к ряду забастовок, доказывает, что оно боится нарастания той силы, без которой оно ни в коем случае не сможет бороться. Нельзя сказать, чтобы эта политика вызвала уже сильное разочарование в массах. Когда английский рабочий видит своих вождей, снятых рядом с королем, то у него преобладает еще чувство: смотри, как наши людьми стали! Маленькие улучшения, как уменьшение пошлин на сахар, и это принимается с благодарностью. Но одновременно уже видно и другое последствие рабочего правительства. Рабочие думают хитро: не имея большинства, наш Мак немногое может сделать, но в обиду нас не даст и

поэтому начинает понемножку напирать на буржуазию. Учащающиеся забастовки являются доказательством того, что правительство Макдональда самым фактом своего существования усиливает надежды рабочих масс, будирует их. Боясь этого, тред-юнионисты, стоящие за Макдональдом, уже натягивают вожжи. На этой почве начинает расти левое течение в профсоюзах, начинают расти стихийные забастовки; на этой же почве начинает расти недовольство и либералов, и консерваторов. «Я за рабочее правительство, ибо оно лучшее консервативное правительство»,—заявлял умница Гарвин в «Observer'е». Ллойд-Джордж восхваляет либеральный характер бюджета Сноудена. Но это все заявлялось в начале романа с рабочим правительством. Теперь и консерваторы и либералы начинают подготовлять наступление. Это, пока что, предварительная бомбардировка, но не подлежит ни малейшему сомнению, что, когда либеральные и консервативные капиталисты подтянут свои ослабленные организации, они перейдут в наступление в парламенте, дабы провалить Макдональда на вопросах, на которых они могут собрать вокруг себя буржуазию. Макдональд думает продержаться на вопросах иностранной политики до весны будущего года и дать тогда бой на вопросе о бюджете. Этот бюджет должен содержать ряд изменений в пользу рабочего класса. Мы очень сомневаемся, удастся ли Макдональду до этого времени продержаться. Всякая крупная забастовка может сделаться для рабочего правительства Англии камнем, о который оно споткнется. Дальнейшее развитие в Англии зависит от того, на какой почве произойдет столкновение между рабочим правительством и буржуазными партиями. Если оно произойдет на почве классовых интересов пролетариата, то рабочее правительство может, вопреки своей воле, сделаться исходным пунктом для серьезной борьбы. Пока что, можно сказать одно: оно не в состоянии дать этого мира и спокойствия, который по очереди обещали Ллойд-Джордж и Бонар-Лоу и что так широко и громогласно обещает рабочее правительство.

* * *

Судьбы рабочего правительства Англии теснейшим образом связаны с судьбами развития французской политики, которая переживает по существу тот же процесс разжима бесплодной политики империалистского кулака. Очень важно понять существо французского кризиса, ибо победа левого блока не является его завершением, а только его началом. Франция вышла из войны с громадным приростом источников экономического возрождения. Лотарингская руда совместно с рудой департамента Мозели, делает ее руководящей страной европейского капитализма. Победа усилила веру в будущность свою у французской буржуазии. Но она не сняла с нее страха перед опасностью социальной революции и возрождения Германии. Русская революция и германская революция вызвали во французской буржуазии животный страх, что она может оказаться побежденной именно в тот день, когда получила в Версале рычаг для завоевания гегемонии в Европе. Выборы 1919 года прошли под знаком страха перед «революцией». Комитет об'единения эконо-

мических интересов, организация всех капиталистических союзов во Франции, выбросил сотни миллионов на то, чтобы мобилизовать страх мужика и городского рантье перед коммуной в пользу капитализма. Клемансо облегчил победу национального блока, представляющего интересы тяжелой промышленности и банковских акул, при помощи выборного права, которое, называясь пропорциональным, является чудовищным извращением идей пропорциональности. Пропорциональное выборное право служит защите меньшинств. Во Франции под видом пропорционального права даются привилегии крупным партиям или блокам партий. Вся Франция разбита на ряд выборных округов, выбирающих от 3 до 14 депутатов. Список, получающий абсолютное большинство, хотя в один голос, получает все мандаты округа. Ежели нет абсолютного большинства, тогда список сравнительного большинства и так в громадном выигрыше. Допустим, что департамент, в котором отдано 120.000 голосов, выбирает 8 депутатов. Конкурируют 4 списка. Список *а* получил 59.000 голосов, список *б*—28.000, список *в*—20.000, список *г*—13.000. Тогда число отданных голосов делится на число депутатов. Это так называемый коэффициент. В данном случае коэффициент 120.000 : 8 равняется 15.000. Таким образом, список *а* получает сначала 3 мандата, список *б* и *в*—по одному мандату, список *г*—ни одного мандата. Оставшиеся 3 мандата причисляются к списку со сравнительным большинством, значит к первому. Три последних списка, имеющие в совокупности больше голосов, чем первый, обобраны начисто — имеют только два мандата. Об'единение всех буржуазных партий при выборах 1919 года дало национальному блоку громадное большинство. Он оказался полным хозяином положения и приступил к работе под двумя лозунгами: Германия уплатит все, а революцию свернем в бараний рог.

Сначала дела шли великолепно. После военного истощения промышленность начала оживать, безработицы не было, сельское хозяйство начало подниматься. Мало того, Германию грабили, брали то, что плохо лежало. Все предостережения даже буржуазных экономистов, что капиталистическая страна не может брать дань от другой капиталистической страны без того, чтобы не вывозить эквивалентов, т.-е. что в больших размерах вообще дань невозможна, все нравоучения буржуазных экономистов, что Германия может платить дань только с превышения экспорта над импортом,—все это было гласом вопиющего в пустыне, ибо, пока что, в первые годы после войны можно было грабить Германию, отнимать коров, паровозы, уголь, находящееся за границей имущество и т. д. По очень трезвым расчетам американца профессора М у л ь т о н а, автора лучшей книги по репарационному вопросу (What Germany can pay? New-York 1923), союзники награбили у Германии на 26 миллиардов золотых марок. Но в 1921 году, когда в Лондоне был принят план германских платежей в 132 миллиарда золотых марок и навязан при помощи ультиматума Германии, пришло время проверки. Чтобы уплатить первые взносы, германское правительство должно было закупать доллары и фунты. Выброшенные на денежные рынки громадные массы бумажной марки сначала нашли большой сбыт. Нашлись миллионы дураков во всех странах, которые считали, что, покупая по $^1/_{10}$ стоимости германскую

марку, наживут на ней, когда она поднимется, миллионы. Но само собой понятно, что скоро марка начала бешено падать. Германия должна была попросить моратория, а господин Бриан, которому нельзя отказать в остроумии, держа за узду рысака победы, заявил с юмором обреченного на повешение: прекрасный рысак, но дохлый. Господин Бриан умеет делать выводы из изменившегося положения. Он начал подумывать над тем, как бы подороже продать своего дохлого рысака. Если Германия могла торговать гнилой маркой, почему Франции не торговать дохлой победой? Господин Бриан предложил Англии и Америке, что он готов смириться и пожалеть Германию при двух условиях: 1) что пожалеют и его, что Франция будет Англией и Америкой освобождена от долга, который вырос до 6½ миллиардов дол.; 2) он требовал, чтобы Англия заключила с Францией договор, гарантирующий границы Франции. Как известно, такой договор предвиделся в Версале взамен за отказ Франции от Рейнской границы. Но Америка отказалась от ратификации этого договора, после чего и Ллойд-Джордж оглох на оба уха. В момент торгов господин Бриан получил от национального блока пинок. Его сменил господин Пуанкаре, этот отчаянный герой поневоле, герой из дрожащего страха. Франция ударила бронированным кулаком по столу Европы, схватилась за Версальский договор и закричала: это мое право.

Что представлял собой Пуанкаре? Пуанкаре рисуется в глазах современников, как железный человек, представляющий интересы магнатов железа и стали. Но история будет более снисходительна к господину Пуанкаре. Господин Пуанкаре—эльзасец, полный ненависти к Германии и полный страха перед ней. Французский долг равнялся в 1914 году 34 миллиардам франков. В 1924 году он равен 367 миллиардам франков, не считая иностранного долга, стоимость которого во франках определяется в 200 миллиардов. В то время Германия освободилась, благодаря падению марки, от своего внутреннего долга. Если ее не ограбить, то ведь она скоро будет сильнее, свободнее в экономическом смысле, чем Франция. Население Германии не только больше на 15 миллионов, но, и, по старой германской привычке, более способно увеличиваться, чем французское. Германию обезоружили. По ней шныряют сотни контрольных комиссий, ищущих оружия, но господин Пуанкаре того же мнения, что один остроумный критик книги генерала Бернгарди об уроках войны, который сказал, что уроки войны пишутся всегда на основе последней войны, а когда приходит новая война, то оказывается, что за это время условия настолько изменились, что, во-первых, дело выходит иначе, а во-вторых, хуже, чем думали. Если Германия будет развиваться промышленно, то она этим создает, как добавочный продукт своего экономического развития, громадную военную способность, она накопляет дисциплинированные массы фабричных рабочих, этот основной базис в современной войне, она развивает химическую промышленность, дающую все основы для военной химии, она получает средства для развития, хотя бы за границей, громадной авиации. В Германии революция еще не победила, гражданская война, поляризирующая общество, выдвигает в качестве правителей Германии впредь до победы пролетариата во главу нации старый господствующий класс юнкеров, главарей тяжелой про-

мышленности, старое офицерство. Господин Пуанкаре видел глазами своей души возможность военного союза не только между победившей германской революцией и Советским Союзом, но даже и военного союза белой Германии с Советской Россией, ибо и по отношению к Советской России он имел громадный счет, ибо против Советской России он вооружал ее соседей. Враг моего врага — мой друг, в борьбе берем в союзники не только черта, но и его бабушку. Господин Пуанкаре начал стонать от кошмара коалиции, который не давал когда-то спать Бисмарку, и он решил быть неумолимым. Но легче решить быть неумолимым, чем найти поприще для проявления этой неумолимости, т.-е. выход из положения. Господин Пуанкаре стал в фокусе всех противоречащих решений репарационного и вообще германского вопроса.

Главная масса избирателей во Франции это—мужик, который покупал государственную ренту, рантье, помещающий свое имение в государственные бумаги. Для них пришли плохие времена. 5-процентная бумажная рента, купленная за 95 франков, в марте 1924 года имела стоимость 6,5 золотых франков. Пуанкаре предчувствовал эту опасность, он видел за собой хор массы избирателей, которые кричали: восстанови франк, дабы мы не потеряли на нашем доверии к правительству. Для нас не подлежит сомнению, что Пуанкаре по существу представлял то течение во Франции, которое добивалось от Германии денег. Но так как денег не получал, то надо было, по его мнению, нажать на Германию. На основе Версальского договора французские войска стали над Рейном. Перешагни Рейн, и перед тобой лежит Рурская область. Там находится уголь и металл, сокровища германской тяжелой промышленности. Стать твердой ногой в Рурском бассейне—это означает не больше не меньше, как схватить за горло германских капиталистов, властелинов германской демократии, Стиннесов, Круппов, Клекнеров, Рехлингов и заставить их платить. Как, чем, господин Пуанкаре не знал. Этого не знали и его эксперты по репарационному вопросу. Господин Селу вырабатывал каждые два месяца новый план германских платежей. Ни один из них не решал вопроса, как может Германия, которая балансировала перед войной свой ввоз и вывоз только благодаря тому, что имела 40 миллиардов золотых марок, вложенных в заграничные предприятия, как она сможет платить требуемую от нее дань, после того, как потеряла вложенный за границей капитал, как увеличилась ее нужда в заграничном хлебе, благодаря потере западной Пруссии, и в заграничной руде, благодаря потере Лотарингии, после того, как не только катастрофически пал ее вывоз, но как вообще уменьшилась емкость заграничного рынка. Это все не касалось господина Пуанкаре. Немец выдумал обезьяну, пуст он выдумает и платежный план. Французские войска заняли Рур. Вокруг Пуанкаре началась бешеная борьба. Часть тяжелой промышленности толкала его в Рур с совершенно другими целями. Ей начхать на германские платежи, они ей прямо опасны. Целый ряд господ из тяжелой индустрии великолепно понимает, что Германия может платить только вывозом. Товары ее, брошенные во Францию, убьют французскую промышленность, брошенные на заграничные рынки — будут представлять там громадную конкуренцию для Франции. А Франция теперь — страна, которой вывоз нужен

до зареза. Она великая индустриальная страна, страна, которой нельзя развиваться без иностранных рынков. Но господа тяжелой промышленности не только потому боятся германских платежей. Крупные германские платежи могут поднять франк. Это означает ухудшение условий экспорта. Инфляция манит, ибо она сулит громадные прибыли. Не денег германских нужно Франции, а нужен ей германский кокс. Его надо обеспечить сделкой с германскими промышленниками. Но как ни тянет брачное ложе, французские промышленники боятся силы и умелости германской тяжелой промышленности. Сделка при равных условиях могла бы отдать перевес немецким акулам в стально-угольном тресте. Поэтому господа тяжелопромышленники хотели оставаться в Рурском бассейне так долго, пока под давлением французских штыков не будет заключен договор, дающий им перевес. Но и третья группа пыталась под флагом Пуанкаре определить направление его рурской политики. Это— группа военных, которые убеждены, что Франция не будет вне опасности, пока Германия не будет расчленена. Генерал Фош требовал Рейнской границы уже в Версале. За чечевицу англо-американских обещаний, которые были обмануты, Клемансо отказался от Рейнской границы. Франция оккупировала Рейн только на 15 лет. А что будет дальше? Надо держаться за Рур, пока Германия не согласится на потерю Рейнских провинций, надо поддерживать из Рура и из Рейна баварский сепаратизм, надо отдать полякам восточную Пруссию: Тогда Франция будет господствовать в Европе. Среди этих противоречивых тенденций стоял Пуанкаре, повторяя судорожно: дайте денег, тогда уйду. И пришел момент его великой победы: Германия потеряла второй раз войну. Она капитулировала перед Пуанкаре и. германские промышленники бежали вперегонку к генералу Дегуту, чтобы подписывать свои предательские договоры. Один из хороших знатоков кулис французской политики, господин Агенен, представитель репарационной комиссии в Берлине, вернувшись после капитуляции из Парижа, куда ездил к господину Пуанкаре с компромиссными предложениями Германии, разводил руками в кругу приятелей и заявлял: Пуанкаре теперь святой человек, к нему нельзя приближаться. Но судьба приблизилась. В январе 1924 года началось катастрофическое падение франка. 9 марта фунт стерлингов достиг 120 франков. Так подвела международная биржа итоги победы господина Пуанкаре.

Падение франка имеет очень сложные причины. Экономическое развитие Франции поднялось значительно за последние годы. Достаточно назвать несколько основных цифр. Продукция пшеницы, которая в 1913 году равнялась 86.919 милл. квинтилионов, которая в 1919 г. пала до 49.653 милл. выросла в 1923 году до 79.054 милл. квинтилионов. Продукция каменного угля, которая в 1913 году равнялась 40.051.000 тонн, в 1919 году пала до 21.567.000, поднялась в 1923 г. до 37.714.395 тонн. Продукция железной руды, которая с 21.918.000 тонн в 1913 году пала до 9.430.000 в 1919 г., выросла в 1923 г. до 23.428.160 тонн. Потребление хлопка, которое с 268.000 тонн в 1913 г. пало до 201.000 в 1919 г., выросло до 234.000 тонн в 1923 г. Вывоз автомобилей, который с 258.000 центнеров в 1913 г. пал до 59.000 в 1919 г., вырос до 407.000 в 1923 г. Экспортный дефицит, который в 1919 г. равнялся

около 24 миллиардов франков, упал в 1923 году до 2 миллиардов. Таким образом экономический рост Франции за послевоенное время не подлежит ни малейшему сомнению, но половина французского бюджета расходуется на оплату процентов по долгам, хотя Франция еще не приступила к уплате процентов по внешним долгам. Вторая половина уходит в преобладающей своей части на армию. Больше 100 миллиардов франков израсходовала Франция на восстановление северных областей, покрывая эти расходы внутренними займами, которые должна покрыть в будущем Германия. Но Германия — это понял теперь весь мир — не в состоянии будет платить даже десятой части ожидаемой дани. Поэтому пал франк. Пуанкаре очутился на краю пропасти. Он был принужден, несмотря на предстоящие выборы, увеличить на 20% подати. Он имел перед собой растущую дороговизну. В январе 1923 года индекс оптовой торговли равен был 418, в момент победы над Руром, в январе 1924 г., он равен был 505. Дороговизна начала расти, Пуанкаре пришлось обратиться за помощью к английским и американским банкам. Это означало глубочайшее его поражение. Когда Пуанкаре отказывался принять первый доклад экспертов, он заявил в своей речи, что он не позволит мировым банкирам решать интересы Франции. Поход его на Рур был не только походом против Германии, но и походом против Англии и Америки. Он захватывал производственные залоги, дабы иметь в своих руках инициативу не только в отношении Германии, но и в отношении Америки и Англии. Теперь он принужден был обратиться к ним с просьбой о помощи. И Морган и Норман дали эту помощь от имени Уолстрит и Сити. Но они дали эту помощь на основе доверительного сообщения Франции, что она примет предложение экспертов, что значит—согласится на интернационализацию эксплоатации Германии и откажется от территориальных затей по отношению к ней. Хребет Пуанкаре был сломан. Выборы только добили его.

Эти выборы состоялись без всяких драматических сцен, можно сказать, при молчании избирателей, хотя 85% их приняло в них участие. Мужику, торговцу, маленькому рантье, рабочему надоела политика больших жестов, военных походов, военных союзов. Самое удивительное то, что внешняя политика Франции играла минимальную роль в выборной кампании. Настроение, при котором состоялись выборы, имело то последствие, что представители мелкой буржуазии, левые республиканцы, так называемые радикальные социалисты (они так называются, потому что они не социалисты и не радикалы), которые в 1919 году пошли на блок с самыми реакционными партиями, которые не смели голосовать против Рурской политики господина Пуанкаре, набрались мужества, пошли на соглашение с социал-демократами и свалили Пуанкаре. Выборный французский закон обернулся теперь против национального блока. Левые мелко-буржуазные партии, совместно с социал-демократами, с которыми блокировались в 48 округах, отняли у Пуанкаре больше 100 мандатов. Национальный блок вернулся с 274 мандатами против 272 мандатов левого блока и 29 мандатов коммунистов. Поражение Пуанкаре не выражается с достаточной ясностью в этих цифрах, ибо самое важное не то, что он потерял 100 мандатов после своей рурской победы, а т о, ч т о н а р-

тии, идущие за Пуанкаре, не смели выдвинуть старой боевой программы его. Они шли с разбитым хребтом.

Сдвиг налево выражается в усталости народных масс во Франции. Они перестали быть базой для политики авантюр, в чем главное значение выборов. Но кто думает, что эти выборы принесли какое бы то ни было решение, тот коренным образом ошибается. Орган левого блока, «Эвр», следующим образом формулировал его выборную платформу:

1) мы хотим мира, 2) мы хотим репараций, 3) мы хотим дешевых средств жизни, 4) мы хотим устойчивых денег, 5) мы хотим податной справедливости, 6) мы хотим господства демократии над спекулянтами, 7) мы хотим свободы совести, 8) мы хотим свободы профессиональных союзов, 9) мы хотим реставрации разрушенных областей, 10) мы хотим 8-часового рабочего дня и социального законодательства. Это очень хорошая программа, но левый блок похож здесь на барышню, которая заявляла, что она бы хотела еще раз быть в Ницце. А когда ее спросили, вы уже были в Ницце, она ответила: я уже один раз хотела! Левый блок уже много раз хотел всех этих 10 хороших вещей и даже еще больше. Левый блок хочет мира, но первое, что сделал г. Эррио после своей победы, он начал уверять старых вассалов Франции, сторожевых псов Версальского мира, натравливаемых Пуанкаре то на Германию, то на Советскую Россию, что Франция остается их другом, как была. Это его заявление вызвало известное недоверие в Польше и Румынии, но мы думаем, что это недоверие не обосновано. Разжим империалистской политики во Франции усилит, а не ослабит германский национализм, ибо Франция Эррио будет требовать от Германии если не столько, сколько Пуанкаре, то во всяком случае столько, чтобы сделать еще Германию колонией. Рост германского национализма поставит Францию перед вопросом: или полный отказ от политики грабежа, или же усиление германского национализма, усиление опасности для Версальского мира. Мы убеждены,—господин Эррио уже выбрал путь, отдавая военное министерство в руки генерала Нолле, человека, который опутал Германию сетью шпионских организаций, ненавистника Германии. Вивиани, Пенлеве вздыхали о мире и перед войной, но Франции от войны не удержали. Правительство Эррио хочет удешевления жизни. Это требует в первую очередь уменьшения податей. Но разве правительство Эррио пойдет на уменьшение военных вооружений, разве оно пойдет на уплату процентов от государственных долгов маленьким держателям за счет тяжелой промышленности, за счет банковских спекулянтов? Оно никогда на это не решится. Мелко-буржуазные радикалы любят очень много говорить о борьбе с плутократией, но нигде она не опутала так государство, как в стране мелко-буржуазной демократии, во Франции. О социальных реформах при таком бюджете даже не приходится говорить. Историческая роль победы левого блока во Франции состоит в том, что оно ослабит базу французского империа-

лизма в массах, ослабит поневоле его систему международной связи и откроет путь для борьбы между складывающимся только французским фашизмом и рабочим классом.

С этой точки зрения громадное значение имеет результат выборов в рабочих массах. Нельзя установить точно соотношения сил между коммунистами и социал-демократами, ибо социал-демократы шли в 48 округах на совместных списках с мелко-буржуазной демократией. Но основные факты на-лицо. Во Франции десять миллионов рабочих промышленности, ремесла и деревни. Коммунисты получили только 900.000 голосов. Прочие голоса разделились между национальным и левым блоком. Большинство их отдано было левому блоку. В округах, где социал-демократы выступали самостоятельно, они получили 700.000 голосов. Мы назовем несколько очень показательных цифр. В Париже мы одержали блестящую победу: получили 300.000 голосов. Столица Франции подняла высоко знамя революции. На 1 миллион Парижских рабочих 300.000 высказались за коммунистическую партию. Но как же выглядело в целом ряде неслыханно-важных для нас округов? В департаменте Ди-Нор мы получили 64.000 голосов, социал-демократы, идущие здесь самостоятельно, 161.000, в Па-де-Кале, угольном районе, мы получили около 20.000 голосов, социал-демократы 84.000. В промышленном районе на фабриках в Крезо, Моншанен, Шалон победа за социал-демократами. На оружейных заводах Шнейдера в Крезо национальный блок получил 3.200 голосов, социал-демократы 5.200, а мы — около 500. Во всем округе мы получили 6.400 голосов против 67.000 социал-демократов. Товарищ Трен правильно замечает, что рабочие массы отвергли политику Пуанкаре, которая была политикой империалистских внешних авантюр и политикой порабощения внутри страны. Но в большинстве своем рабочий класс еще полон реформистских иллюзий. Он воображает себе еще, что может всего достигнуть, благодаря добродетели левого блока, социал-демократов и Лиги Наций, на парламентском пути в пределах существующего общества. Во всей Франции профессиональные союзы насчитывают 700.000 членов. Если французской коммунистической партии не удастся скоро и энергично закрепиться в главных индустриальных районах, если ей не удастся создать массовые пролетарские организации, то при предстоящих боях она не сумеет сыграть той роли, которую она должна сыграть, чтобы Франция не сделалась заново центром контр-революции, более умелой, более энергичной, чем та, которую олицетворял Пуанкаре.

И Франция и Англия—это доказали выборы—находятся в процессе глубокого брожения. Контр-революционные силы в них очень ослабли, но силы революции только что начинают организовываться. В Англии этот процесс еще не вышел из стадии самых предварительных шагов, во Франции он уже дальше подвинулся. Мы там уже имеем массовую партию — 60.000 членов партии и 900.000 голосов; это во французском масштабе уже большая организованная сила; эта партия

возмужала за последние годы и месяцы умственно, политически и идейно, но она есть еще партия десяти процентов пролетариата. Она не имеет массовых организаций в качестве базы. А ждут ее громаднейшие задачи.

Фашистский вал против пролетариата.

Победа фашизма в Италии летом 1922 года представляет собой то новое в буржуазной политике, что дало послевоенное время. Белый террор не представляет ничего нового. Он следовал по стопам всякой побежденной революции, всякой победоносной контр-революции. Новым не является тоже факт, что после победы победивший класс накладывает все тяжести на класс побежденный. Так как господствующим классом в капиталистическом мире является буржуазия, то победа ее должна выразиться в попытке укрепления основ буржуазного строя за счет рабочего класса. Так как в современных капиталистических государствах перевес имеет тяжелая промышленность, то неудивительно, что ее интересы являются господствующими при победе контр-революции. Тов. Гвидо Аквилля, в своей великолепной брошюре о фашизме, совершенно правильно указал на то, что фашизм ликвидирует преобладание в итальянской буржуазной политике помещиков, что он является первым правительством промышленной буржуазии. Но если это представляет новое явление с точки зрения развития Италии, то не эта черта является специфически новой в фашизме с точки зрения международной. Специфически новым в фашизме является то, что победа крупной буржуазии, победа интересов тяжелой промышленности, происходит при помощи широких мелко-буржуазных масс, против интересов которых она направлена. Формы, в которых мелкая буржуазия помогает крупному капиталу набросить себе на шею петлю, будут различны в различных странах, как мы это увидим, когда перейдем к положению в Германии. Но сущность вопроса в том, что крупный капитал укрепляет свою власть руками мелкой буржуазии. В чем причины этого явления? Революция и контр-революция во всякую историческую эпоху связаны той же самой почвой исторического процесса, составляющего содержание данной исторической полосы. Современный консерватизм начинается книгой Эдмунда Берки, направленной против французской революции. Берки мобилизует английское общественное мнение Англии конца XVIII века против французской революции. Но критический анализ содержания его знаменитой книги показывает, что целый ряд основных элементов революционного переворота уже ассимилирован Берки. Так же обстоит дело с фашизмом. Он отрицает буржуазную формальную демократию, которая в Италии обанкротилась, которая привела не только к полной парламентской коррупции, но и к полному бессилию буржуазного государства перед лицом широчайшего революционного движения рабочего класса, посягающего на власть. Он провозглашает диктатуру контрреволюционного меньшинства, возглавленного вождем не божьей милостью, а вождем—гением контр-революции. Он прокламирует, что фашистская диктатура подчинит все классовые интересы интересам возрождения нации. Но

процесс капиталистического распада вызвал к жизни громадное движение народных масс. Не только рабочий класс поднялся, но поднялся и разоренный войной мужик, расшевелилась многообразная масса лавочников, ремесленников, учителей, резервной офицерии. Всех их разбудил гром войны. Все они страдают от ее последствий. Все думают над тем, что будет дальше. И нет такого волшебного жезла контр-революции, который мог бы приказать этим массам вернуться в состояние исторического небытия. Фашизм базируется на этом разнообразном народном движении, он пытается сделать это движение средством спасения капитализма. В продолжение многих лет рабочие демонстрировали против капиталистического общества, бастовали, сражались с полицией, летом 1920 года чуть не захватили власти. Благодаря своей слабости они не завершили победы. Капитал начал наступать, на рабочих сыплются преследования, среди них вспыхивает паника, начинается разложение. Фашизм говорит рабочему классу: ты шел неверным путем, поддайся моему руководству, ты не будешь больше бастовать, будешь работать, но я заставлю капитал считаться с твоими интересами, я делаю тебя соучастником нового коллективного творчества. Он апеллирует к его отвращению к демократическо-парламентской болтовне, обещая ему создание сильной, энергичной власти. Он находит источники даже национальных чувств у итальянского пролетариата. Миллионы итальянских рабочих нужда заставляет эмигрировать. Они являются навозом капитализма во Франции, в Северной и Южной Америке, в Северной Африке. Италия должна быть сильна, чтоб позаботиться об них. И фашизм создает свои профсоюзы, в которые вгоняет позже при помощи нажима капиталистов тех рабочих, которые добровольно не поддались его соблазну. Мужик боится коммуны, страдает от податей, от бюрократии; фашизм говорит ему: я создам сильную власть, которая будет охранять твои поля от рабочего, ворующего твою картошку, я выжму бюрократическую нарость, выросшую на теле государства, ты не будешь стоять часами перед окошком в податном учреждении, где ленивый чиновник чешет себе затылок. Я устраню господство парламентских клик, выращивающее бездельников, бюрократов из-за кумовства. Государство откажется от управления железными дорогами, почтой, амуниционными заводами, которые капиталист из-за прибылей дешевле сорганизует. Государство будет дешевое. С войны вернулся учитель, аптекарь. Он был маленький человек в городишке. Крутил пилюли, обучал детей грамоте, в воскресение читал газету. На войне он командовал. Чем больше выбывало кадровое офицерство, тем больше росло его значение. К нему держали речи министры, он учил других геройству. Вернулся с войны и должен сосать лапу в своем захолустьи. Долой дармоедов, придворных офицеров! Долой бюрократическую знать с громадными окладами! Герой войны спасет отечество!—Так звал его фашизм под свои знамена. И фашизм рос в силе. Когда опасность рабочего переворота оказалась реальной, крупный капитал, не доверяя разбитой государственной машине, трещащим по швам старым буржуазным партиям, обратился за помощью к фашизму. Фашизм получил деньги на агитацию, оружие для черноблузников, грузовики для их переброски. Фашизм сделался силой. Опираясь на массовое движение

мелкой буржуазии, не встречая достаточного отпора в рабочем классе, он об'явил себя претендентом на власть. Старая власть подумала на момент о сопротивлении, но войска ее были разложены фашизмом. Организации капиталистов требовали от короля примирения с фашизмом, сдачи ему власти. Король призвал Муссолини, в громадном смотре своих сил в Неаполе показавшего, что взять власть он сможет. Фашизм стал у власти. В выборах в мае месяце он дал отчет за полтора года своего хозяйничанья. Мы не собираемся писать отчет о деятельности фашистского правительства за минувшие годы. Его найдет читатель в обозрении, написанном для V с'езда Коминтерна тов. Гвидо Аквилля. Мы хотим указать только на нескольких решающих пунктах как выглядит на деле финансовая и экономическая политика фашизма. Сотрудник «Манчестер Гвардиан» устроил анкету среди выдающихся представителей итальянской буржуазии. В этой анкете заявляет сенатор Конти, председатель об'единения итальянских акционерных обществ: «Финансовая и экономическая политика фашистского правительства—это именно та политика, которой в продолжение многих лет добивались итальянские фабриканты и деловые люди перед приходом к власти фашизма. Вы можете это проверить на основе речей, которые держали в сенате и парламенте я и другие представители делового мира. По существу это — возвращение к здоровой либеральной политике Кавура, который создал современную Италию. Политический метод фашизма может быть суровым и неконституционным, но положение страны было таково, что требовало самых энергичных мер. Я повторяю: фашистское правительство является с экономической точки зрения либеральным правительством, и оно проводит политику, которой всегда добивалась либеральная партия, но которую не в состоянии была проводить в жизнь». Это последнее замечание указывает на то, что в предвоенной Италии промышленная буржуазия не была в состоянии проводить свою экономическую политику в чистом виде, ибо правительство находилось в руках помещиков. Фашизм, по свидетельству сенатора Конти, является, таким образом, в глазах промышленной буржуазии завершением ее господства. А как смотрят на его господство представители других классов? Центральный орган, примыкающий к католической партии «Пополяри», партии, которая теперь, после ухода католической крупной буржуазии к фашизму, является партией исключительно мелко-буржуазной, «Il Domani d'Italia», в № от 11 ноября 1923 г. следующим образом подводит итоги фашистского режима:

«Перед захватом власти фашизмом говорили, что источником хозяйственных затруднений мелкой буржуазии является высокая заработная плата рабочих, поэтому перешли мелко-буржуазные элементы в массах на сторону фашизма. Но теперь заработная плата понижена до минимума, рабочее время очень продлено, рабочие семьи еле-еле имеют самое необходимое для жизни. Но положение мелкой буржуазии не улучшилось ни на гран. Одновременно с тем, как пролетариат катится к голоду и мелкая буржуазия впадает в растущую нищету, выигрывает крупный капитал и крупный помещик».

Партия «Пополяри» помогла, под руководством католической буржуазии, Муссолини взять власть, не запретив своим членам принять участие в его пер-

вом правительстве. Ватикан, организатор этой партии, связал ее по рукам и ногам в ее борьбе с фашизмом, получая взамен от Ватикана клерикализацию школ. Масса членов партии «Пополяри», это—мелкая буржуазия, которая теперь начинает понимать, что фашизм обманул ее надежды, что он представляет интересы крупной буржуазии, что он выдает крупной буржуазии с головой мелкую. Но какое же настроение среди самих фашистских масс? Мы не знаем мнения фашистских рабочих. Но для оценки начинающегося банкротства фашизма вполне достаточно послушать мнение вождей фашистских профсоюзов. Оно, наверно, отстает от радикализма настроения фашистских рабочих. Секретарь фашистских профсоюзов Туринской провинции пишет в апреле 1924 года: «Промышленники говорят о сотрудничестве классов только для того, чтобы обмануть рабочих. С ними надо говорить языком силы и энергии, они ведут классовую борьбу против рабочих. Рабочие будут защищаться. Нельзя толковать сотрудничество классов, как это делают промышленники, как сотрудничество господ и рабов, мы за сотрудничество равных с равными». Месяцем позже, об'ясняя, почему рабочие севера Италии не голосовали за фашистов, тот же самый фашистский профессионалист говорит представителю фашистской газеты «Nuovo Paese»: «Рабочие и служащие симпатизируют фашистским профсоюзам, но они ожидают от них дел—не слов. Когда они видят, с какой решительностью предприниматели ведут свое наступление против рабочих и служащих, безразлично, идет ли дело о рабочих социалистах или фашистах, когда они видят, что уничтожаются их материальные и моральные завоевания, то они дезориентируются. Когда они видят, что не только фашистские профсоюзы, не только вмешательство правительства, но даже вмешательство самого Муссолини не в состоянии удерживать предпринимателей от их безудержного антирабочего курса, то они сомневаются в возможности классового сотрудничества и если не возвращаются к красным, то, во всяком случае, уходят от фашизма и ждут лучших времен. Массы идут с более сильными. Они пришли к нам, когда думали, что мы сильны, но когда они увидели, что союз фабрикантов сильнее нас и хочет нас задушить, то они уходят от нас».

Несколько цитат указывают ярко на направление развития фашизма, на пружины его развала. Фашизм ухудшил по всей линии положение рабочих, крестьян и мелкой буржуазии. Он выдает в руки крупной буржуазии железные дороги, почту. Но это никоим образом не означает уменьшение податей, а, наоборот, увеличивает эксплоатацию масс. Он не устранил старой бюрократии, но прибавил к ней массу жадных до наживы фашистских спекулянтов, которые злоупотребляют властью для личных целей. Результатом этого является начало развала фашистского режима. Этого развала Муссолини не может задержать террором. Он его не мог прикрыть при помощи избирательного права, которое даст партии, получившей при выборах 25% голосов, 75% парламентских мест. Состоявшиеся 6 апреля выборы дали очень интересную картину положения, если их сравнить с выборами 1921 года. Фашистско-либеральный блок получил в 1921 г. 3.500.000 голосов, теперь, после трех лет бешеного террора, массовых убийств коммунистов и социалистов, число голосов, поданных за список фашистского блока, равно 4.200.000. Это больше

чем ожидал Муссолини. Это—65% поданных голосов (Италия насчитывает 12 милл. избирателей, голосовало 7½ милл.). Самое интересное, это—распределение фашистских голосов. Фашистский список получил большинство голосов в деревнях и маленьких городках Средней и Южной Италии, где население не могло противостоять напору и нажиму фашистской администрации. Это великолепно показывает ряд цифр, подобранных тов. Террачини из выборной статистики. Так, напр., в Тиволи поданы были за фашистов все 2.100 голосов вообще поданных, хотя в той же местности в 1921 году большинство получили социалисты. В городке Лястра а Сагно подано было 2.653 голоса, из этого за фашистский список 2.646 голосов. В Лоретто а Прутино подано 96%, и все за фашистов. В Каппаро подано 5.417 гол.; из этого за фашистов—5.397 и т. д. и т. д. Другой оборот приняло дело в городских и промышленных центрах. В Пьемонте и провинции Ломбардия-Венетто фашисты оказались в меньшинстве. В Лигурии фашисты получили 102.000 голосов, а оппозиция—100.000. Пройдем по очереди главные промышленные центры — в Милане: фашисты 61.831, оппозиция 96.824 гол.; в Турине: фашисты 28.934, оппозиция 50.174 г.; в Венеции: фашисты 35.446, оппозиция 43.500 и т. д. и т. д. Промышленные центры Италии голосовали против фашистов. Из каких элементов состоит оппозиция? Партия «Пополяри»: число ее голосов упало с 1921 на 1924 г. с 1.300.000 на 645.000, благодаря предательству Ватикана и отходу католической буржуазии к фашистам. Социал-демократы получили в 1921 г., перед своим расколом, 1.632.000,—в 1924 г., разбитые на две партии, они получили 790.000, при чем открыто-реформистская партия Турати получила 408.000 гол. Значительная часть ее избирателей принадлежит к мелкой буржуазии. Но и Итал. Соц. Партия, партия центра, оказалась еще, вопреки ожиданию, значительной величиной. Самым неожиданным был исход выборов по отношению к коммунистам. Несмотря на полную нелегальность нашей партии, несмотря на громадные ошибки, совершенные партией, несмотря на отсутствие в ней твердого руководства, она получила больше 300.000 голосов, т. е. не только удержала, но даже увеличила рабочие кадры итальянского коммунизма. В 1921 году партия находилась везде в меньшинстве по отношению к социалистам, в этом году она получила перевес против социалистов в Пьемонте, Лигурии, Тоскане, Венеции-Джулия и округе Публио.

Что говорят нам итальянские выборы? Они говорят, что фашизм держится, в первую очередь, террором, направленным против деревни и мелких городов, что во всех промышленных центрах он теряет почву не только среди рабочего класса, но и среди мелкой буржуазии, что народные массы понимают его неспособность к решению задач, стоящих перед Италией. События, разыгрывающиеся в Италии в момент, когда мы пишем эти слова, в связи с убийством социалист. депутата Маттеоти, уяснили только разложение фашизма и растущее против него возмущение народных масс. Одновременно выборы показали силы, направленные против фашизма. Это — силы рабочего класса и мелкой буржуазии города и деревни. Если где, то в Италии положение требует властно энергичного, систематического применения единого фронта в рабочем классе и тактики союза с мелкой буржуазией города и деревни против круп-

ного капитала, идущего под знаменем фашизма. От того, сумеет ли наша партия применить эту тактику с размахом, с энергией, зависит — кончится ли кризис фашизма возвращением Италии к режиму буржуазно-якобы-демократическому, или пойдет она вперед по пути пролетарской диктатуры.

Если в Италии уже начался процесс распада фашизма, то в Германии еще не завершился процесс его консолидации. Ни одна страна Европы, кроме России, не пережила таких социальных перегруппировок, как послевоенная Германия. Перед войной в Германии господствовала крупная буржуазия руками помещичьего класса. Германские помещики, в свою очередь, представляли, несмотря на свою первобытную грубость, очень современный капиталистический слой. Специальная их роль в политическом строе Германии была результатом того, что, благодаря особенностям германской истории, они имели все навыки, необходимые для держания в ежовых рукавицах народных масс в то время, когда буржуазия в Германии непосредственно никогда не господствовала. В экономическом смысле помещики опирались на два фактора: на покровительственную политику государства, обеспечивающую юнкерам высокие цены на хлеб, и на приток дешевой рабочей силы с востока, в первую очередь из Польши и Украины. Революция 1918 года подорвала все позиции юнкеров. Пошлины на хлеб отпали; наоборот, для борьбы с революцией правительство было принуждено расходовать громадные суммы на удержание цен хлеба ниже уровня мировых цен. Не только кончился приток иностранных сельско-хозяйственных рабочих, что само по себе уже передвинуло соотношение сил на рабочем рынке в пользу германских сельско-хозяйственных рабочих, но сами сельско-хозяйственные рабочие, охваченные революцией, перешли в наступление на юнкеров. Из позиций своих в администрации юнкера в значительной мере вытеснены ноябрьской революцией. В промышленной, финансовой и торговой буржуазии война вызвала целый ряд крупнейших перегруппировок. Перед войной намечалось подчинение промышленного капитала финансовому, банки сделались господствующим элементом хозяйства. Три Д.-Банка (Дейтше Банк, Дрезднер Банк и Дисконто Гезельшафт) чуть ли не сделались хозяевами германской промышленности. Во время войны с ее громадными потребностями в металле разбухла тяжелая промышленность за счет государства в таких громадных размерах, что не только старые руководящие промышленные концерны освободились от преобладающего влияния банков, но возникли новые гигантские концерны, как Стиннесовский и Вольфовские, которые сами начали закупать себе банки. В то время как в руках банков очутились бумажки, подлежащие обесценению, в руках концернов оказались растущие реальные ценности. Версальский договор, который отнял у Германии Эльзас-Лотарингию, торговый флот, принудил одновременно германское правительство уплатить возмещения своим капиталистам. Одновременно они были принуждены продать целый ряд крупных предприятий, находящихся за линией аннексий и оккупаций, и получили таким образом в свои руки громадные средства, которые позволили им расширить свои промышленные владения в Германии, модернизировать их технически, реорганизовать, построить новый торговый флот. На Германию пала тяжесть Версальской дани. Дабы только

приступить к ее уплате, надо было решиться на финансовую реформу, которая на место частных трестов поставила бы государственные тресты и отдала бы в руки государства, на его платежные нужды, половину прибыли. Короли промышленности саботировали эту финансовую реформу. Тогда осталась как выход только инфляция. Даже неслыханное обременение рабочих и мелкой буржуазии рядом прямых и косвенных податей играло чисто подсобную роль по сравнению с инфляционной податью. Беспрерывное падение ценности денег означало не только экспроприацию находящихся в руках мелкой буржуазии денежных запасов, внутренних германских займов, но и экспроприацию реальных ценностей, находящихся в руках мелкой буржуазии. Как бы ни повышала мелкая буржуазия цены продаваемых ею товаров, она была принуждена покупать их, если хотела дальше заниматься торговлей, ремеслом и т. д. по ещё высшим ценам. Мелкая буржуазия в Германии, в самом широком смысле этого слова, подвергалась экспроприации в пользу крупного промышленного и спекулятивного капитала. Экспроприированы были мелкая торговая и промышленная буржуазия. Крестьянство, которое нажилось за счет города во время войны и первых лет революции, не только потеряло накопленные бумажки во время инфляции, но попало с началом 1923 года, благодаря росту цен на промышленные изделия, в тяжелейший кризис. Интеллигенция, чиновничий мир, все, что зависело от заработка,—все эти элементы попали в неслыханное бедствие, были культурно отброшены. Эти экономические процессы создали, совместно с опасностями полного национального порабощения Германии, основы германского фашизма.

В 1919 году для борьбы против пролетарской революции буржуазии удалось мобилизовать только студенчество. Капповский путч в 1920 г. повис в воздухе благодаря отсутствию поддержки мелкой буржуазии. Для этого состояния очень характерны цифры исхода выборов в Учредительное Собрание. На этих выборах обе социал-демократические партии получили около 14 миллионов голосов. Католический центр и демократическая партия получили 11 миллионов голосов. Если сосчитать голоса помещичьей партии и партии крупной промышленности (т.-е. Немецко-национальной и Немецко-народной партии), то они получили не больше 4½ милл. голосов. Если сосчитать голоса соц.-демократии, центра и демократов, то можно сказать, что при выборах в Учредилку 25 милл. рабочих и мелких буржуа высказались за политику демократии, за политику далеко идущих социальных реформ, против режима старых господствующих классов. Уже выборы в рейхстаг в 1920 г. дают значительный сдвиг направо. Обе соц.-демократические партии получают только 11 милл. голосов, центр и демократы—6 милл. голосов, т.-е. совместно 17 милл. голосов вместо 25 милл. Партии юнкеров, крупной промышленности плюс менее контр-революционные партии, как баварская народная партия, получили больше 10 милл. голосов. Сдвиг направо несомненный. Но полным ходом он пошел с момента бешеного роста инфляции.

Ошалевшие от крушения всех своих демократических и пацифистских иллюзий, мелко-буржуазные массы города и деревни начали искать спасения от гибели. Кто виновник? Во-первых, Антанта с Францией во главе. Пацифизм

уступает место дикому национализму, мечте о реванше. Но есть и внутренние враги. Это—евреи. Они не занимаются честным трудом, а спекулируют на бирже, зарабатывают на падении марки, вырывают все национальное богатство из рук трудолюбивого мелкого буржуа. Почему рейхстаг бессилен против них. Потому, что социал-демократы им помогают, а соц.-демократов создал еврей Маркс. «Марксисты» кричат против господства капитала, но за кулисами обделывают свои дела с еврейскими королями биржи. Эти короли держат в своих руках и демократическую партию. Разве ее вождь, главный вдохновитель политики выполнения обязательств по отношению к Антанте, Ратенау, не еврей? Разве он не написал черным по белому, что 300 человек, находящихся в родственной связи, руководят мировым хозяйством? А отец Веймарской конституции Прейс, разве он не еврей? «Марксисты», евреи и католический центр губят страну. Почему это делает католический центр, что он имеет общего с евреями? Рим—исконный враг протестантской Германии, он хочет расчленить ее, создать из Австрии и Баварии новое католическое государство на юге, он хочет усилить католическую Польшу за счет протестантской Пруссии. Интересы Рима совпадают с интересами Парижа, потому центр идет с лакеями Антанты. Долой рейхстаг! Долой демократию! Да здравствует национальная диктатура!

Так создалась струя германского фашизма. Это был именно фашизм, ибо германская контр-революция пыталась опереться на мощную волну потока мелкой буржуазии, двигающего направо. Кормили этот фашизм в первую очередь не помещики, а короли тяжелой промышленности. Значительная часть денег шла от Стиннеса через его директора Фоглера. И когда южно-германские фашисты подготовляли государственный переворот, то одним из трех, двигавших ими диктаторов, являлся Мину, б. фельдфебель кайзерской армии, которого директор Круппа Витфельд выдвинул из писарей городской управы в директора газовых предприятий гор. Эссена и которого, перехватив, Стиннес поставил во главе своего финансового правления.

Германский фашизм должен был уничтожить остатки буржуазной демократии в Германии, отдать управление государством в руки представителей военщины и тяжелой промышленности для того, чтоб, сломив сопротивление рабочего класса, принудить его работать столько, сколько сможет вывозить товаров германская промышленность, покончить с умирающей уже инфляцией (доллар стоил уже 10 миллиардов) и найти ряд финансовых мер, позволяющих задержать Германию над краем пропасти. Эти меры состояли, в первую очередь, в продаже железных дорог представителям тяжелой промышленности, которые смогли бы сократить на половину железнодорожных рабочих, уничтожить жел.-дорожный дефицит. Эти меры должны свестись к уничтожению 8-часового рабочего дня, уменьшению заработной платы, дабы путем удешевления производства не только открыть новые источники податной силы государства, но одновременно сделать возможным увеличение экспорта. Фашистская диктатура должна была собрать в один кулак силу Германии и, демонстрируя ее, заставить Антанту итти на уступки. Это были цели крупно-капиталистических руководителей фашизма. Мелко-бур-

жуазные массы, идущие за ними, прельщались другими надеждами. Они надеялись, что фашистская диктатура будет охранять труд, мужика и ремесленника, охранять их от новой финансовой кабалы (Zinsknechtschaft), будет поддерживать мелко-буржуазные кооперативы, создаст новое государство труда. Это расхождение целей нашло свое выражение в двух особых штабах фашизма. Один из них состоял из представителей помещиков и тяжелой промышленности, из главарей немецко-национальной и немецко-народной партии. Другой— из Гитлера, Людендорфа и Греефе. Один опирался на организации прусского офицерства и унтер-офицерства—на Стальной шлем, другой—на военные организации национально-социальной партии. Но это разделение не исчерпывало разногласия в лагере фашистов. Вне нелегальных организаций фашизма стоял рейхсвер—главная вооруженная сила германской контр-революции. Не подлежит ни малейшему сомнению, что генерал Сект и стоящие за ним капиталистические круги вполне разделяют всю социальную программу фашизма. Но Сект великолепно понимал: во-первых, международное положение не позволяет в данный момент итти на монархический переворот в Германии, ибо восстановление монархии означает для Запада, в первую очередь для Франции, победу политики реванша; во-вторых, фашизму тем легче удастся провести свою программу, чем легальнее он проведет переворот; в-третьих, разгром рабочего движения должен явиться предпосылкой, а не последствием победы фашизма; в-четвертых, только оттягивая решение вопроса о монархии, можно избегнуть борьбы между претендентами на престол, между Гогенцоллернами и Вительсбахами, которая, разгоревшись, поставила бы под знак вопроса самое победу фашизма. Стратегия ген. Секта выражает то, что отличает германский фашизм от итальянского, она учитывала все затруднения, стоящие на пути германского фашизма и вытекающие из внутреннего и международного положения Германии.

Отрицая парламентский выход из кризиса, фашизм выдвинул лозунг переворота. Он надеялся, что государственная власть, представляющая партии средней буржуазией, капитулирует перед ним, как капитулировал перед Муссолини итальянский король и итальянская буржуазия. Фашизм не ошибся, германская буржуазия капитулировала, но она имела выбор между фракциями фашизма. Она имела выбор между претендентами в Муссолини. Она капитулировала не перед тайными фашистскими организациями, находящимися в беспрерывной драке друг с другом, а перед рейхсвером и генералом Сектом, дающим гарантии, что фашистская политика будет проведена с учетом международного и внутреннего положения. Генерал Сект не меньше националист, чем генерал Людендорф, но, зная военную слабость Германии, имея перед собой картину развала Антанты, генерал Сект не выдвигал лозунга разрыва Версальского мира. Он умел ждать. Генерал Сект—враг демократии не меньше Людендорфа и Гитлера, но человек холодного расчета. Сект не считал необходимым ломиться в открытые двери и вырывать власть, которую ему Эберт и Штреземан добровольно отдавали. Генерал Сект—враг социалдемократии, не потому, что боится ее социализма, который давно улетучился, а потому, что может вычистить из государственной администрации социал-

демократов, в которых видит также самых ненадежных слуг контр-революции, как они были ненадежными слугами революции. Но Сект ничего больше не боится, как единого фронта пролетариата, и, поскольку можно, он хотел разрушить социал-демократию по частям. Нападение на красную Саксонию при поддержке социал-демократических министров в центре открывало надежды на такое разложение социал-демократии вообще, что вторая операция— устранение из прусского правительства и прусской администрации — обещала быть безболезненной.

Переход власти к Секту и его отказ об'единиться и с северными и с южными нелегальными фашистскими организациями привел к банкротству их попыток захвата власти. На севере дело кончилось хуже, вспышкой в Кюстрине, на юге—столкновением Гитлеровской организации с рейхсвером и их крупным поражением. Единственная ошибка в расчете Секта состояла в том, что ему не удалось разгромить рабочее движение в открытом бою, благодаря тому, что коммунистическая партия, видя раскол единого рабочего фронта с социал-демократами и несравнимое превосходство вооруженной силы противника, уклонилась от боя. Отсутствие открытой победы над рабочим классом и его развал, который был бы неминуемым последствием военного разгрома, наличие живой силы противника, хотя и находящегося в отступлении и отчасти деморализированного отступлением без боя, не позволило генералу Секту, несмотря на полноту власти, находящейся формально в его руках, провести рядом обще-государственных актов программу фашизма. Фашизм был принужден отнимать у рабочих 8-часовой день, понижать заработную плату путем частичных боев, но он создал при помощи введения рентенмарки базу для фашистской финансовой реформы, сваливающей все тяготы на рабочий класс. Предложение экспертов, дающее переходную передышку Германии, одновременно создает условия для полного осуществления фашистской программы.

Выборы, состоявшиеся после этих неразыгранных до конца классовых боев, дали следующую картину: рабочий лагерь, который при выборах в Учредилку получил 17 милл. голосов (социал-демократы большинства и независимые), который при выборах в 1920 г. получил 11½ милл. голосов (из них полмиллиона—коммунисты), получил при выборах 4 мая 1924 г. 9½ милл. гол. (5.973.770 социал-демократы и 3.712.001 коммунисты). Лагерь буржуазии, стоящей формально на платформе существующей конституции (центр, немецко-народная партия), получил 8 милл. голосов; партия фашизма, т.-е. немецко-национальная партия, баварско-народная партия, немецко-социальная партия и национально-социалистическая партия, получили 9 милл. голосов. Но если смотреть на разделение сил не с точки зрения формальной, а с точки зрения фактической, с точки зрения политики партии, то лагерь революции, лагерь рабочего класса, насчитывает около 4 милл. приверженцев, лагерь мелко-буржуазной демократии—11½ милл., лагерь же фашистов, к которому надо добавить немецкую народную партию, насчитывает тоже 11½ милл. Если бы политика состояла в подсчете голосов, то можно было бы об этих выборах сказать, что они представляют собой неразыгранную партию (partie Nemi), но ни центр, ни демократы, ни социал-демократия не представляют собой

плотину против фашизма. Они это доказали в октябре месяце, когда сдали власть генералу Секту. Социальная борьба между ними и фашизмом будет итти только об известных облегчениях для перерабатывающей промышленности и мелкой буржуазии, но простой факт, что рамки этой борьбы создает доклад экспертов, который руководители фашистов отклоняют на словах, но через который на деле перепрыгнуть не могут, показывает безысходность положения мелкой буржуазии. Понимание этой безысходности только усилится, если принять во внимание два факта: мелко-буржуазные партии центра, демократов и социал-демократии не в состоянии заключить блок против фашизма с революционной частью рабочего класса. В Германии, даже на переходное время, неправдоподобна такая комбинация сил, которая создалась во время наступления Корнилова в России; ибо в то время, когда победа Корнилова угрожала существованию Советов, поэтому на момент сомкнулся мелко-буржуазный и пролетарский фронт, мелко-буржуазная демократия в Германии настолько выхолостила все свое содержание, в такой мере предала формы даже буржуазной демократии, так бесстыдно ликвидировала все завоевания рабочего класса, что нет никакой почвы для совместной борьбы мелко-буржуазной демократии и рабочего класса. Существо положения в октябре состояло именно в том, что невозможна уже была защита мелко-буржуазной демократии, которая, понятно, представляет собою более удобную почву для борьбы за власть, чем фашистский режим, но недостаточно еще было сил революционного пролетариата для борьбы за диктатуру пролетариата. Второй факт, представляющий собой маховик германского фашизма, это—экономическое положение Германии. Проф. Мультон оценивает стоимость того, что Германия должна ввозить для прокормления своего населения, и работу своих фабрик в 14 миллиардов золотых марок. Так как Германия потеряла доходы от инвестированного за границей капитала, то она должна для покрытия этого ввоза вывозить товаров по крайней мере на 14 миллиардов зол. марок. Но германский вывоз в лучшее время инфляции, т.-е. когда германская промышленность могла конкурировать демпингом, дешевизной своих товаров, не равнялся даже половине этой суммы. Мы не говорим ничего уже о суммах, которые нужны для уплаты дани союзникам, предписанной докладом экспертов. Германия перед войной, когда мировой рынок был на ¼ больше, вывозила только на 10 миллиардов золотых марок. Это положение является безысходным, если в ближайшее время не начнется громадный экономический под'ем, для которого теперь не видно никаких предпосылок. Но, даже при существовании громадного экономического под'ема, фашизм может взяться за решение этой задачи, отбросив германский пролетариат в положение китайских кули. Уже сегодня германские рабочие зарабатывают в лучшем случае половину довоенной заработной платы. Таким образом ясно, что бои на жизнь и смерть предстоят только впереди.

Это требует внимательнейшего отношения к той картине соотношения сил в рабочем классе, которую рисуют выборы. Обе рабочие партии, социал-демократия и коммунисты, получили на выборах 9.727.943 голоса. Буржуазные партии получили 19.529.173 (при предыдущих исчислениях мы нарочно не

указали ряд мелких буржуазных партий). Промышленный пролетариат и пролетарские элементы города и деревни насчитывают около двадцати миллионов. Таким образом половина их голосовала за буржуазию. А если взять соотношение сил между социал-демократией и коммунистами, то оно показывает, что из той половины, которая отдала свои голоса за рабочие партии, 6 милл. пошло за социал-демократию, а только около 4 милл. — за коммунистическую партию. Таким образом 10 милл. пролетарских элементов голосовало за подчинение буржуазии, 6 милл. голосовало за соглашение с ней и только 4 милл. за борьбу против нее. Незачем утешаться, что социал-демократия не чисто рабочая партия, ибо если принять, что часть мелкой буржуазии голосовала за социал-демократию, то надо было бы сказать, что прямо за буржуазные партии голосовало еще больше, чем 10 милл. рабочих и пролетарских элементов. На деле социал-демократия потеряла мелко-буржуазных попутчиков, которые ушли к фашистам. Передовики-рабочие перешли к коммунизму. 6 милл. рабочих осталось за социал-демократией. Коммунисты завоевали большинство рабочего класса в решающих промышленных центрах оккупированных областей, Верхней Силезии и Берлина. Но эти центры не могут прокормиться ни одной недели, если мы не завоюем рабочих и батраков Мекленбурга, Померании и Восточной Пруссии. Предстоят громадные бои, для которых мы не завоевали еще главного оружия — большинства рабочего класса.

В странах наиболее потрясенного капитализма—в Италии и Германии, фашизм или вполне и формально победил, или же определяет содержание политики правящих классов. Но в Италии мы присутствуем уже при сумерках богов. В Германии находимся перед решающей окончательной схваткой. Ни тут, ни там фашизм не в состоянии решить проклятые вопросы истории перед народными массами. Только пролетарская революция в состоянии их будет решить.

Новый фактор.

В странах, о которых мы до этого времени говорили, крестьянство не сыграло никакой самостоятельной роли. В Англии оно представляет вообще незначительную силу. В Италии на него именно обрушился весь террор фашизма. Во Франции оно разбилось между национальным блоком и левым блоком. В Германии, захваченное аграрным кризисом, оно голосовало за фашистские партии, которые ему обещали покровительственные пошлины. Ни в одной старой капиталистической стране пролетариату не удалось перетянуть на свою сторону значительных масс крестьянства. Коммунистические партии даже не подошли еще к вопросу о постановке массовой работы среди крестьянства. Эта работа требует не только признания на словах необходимости союза рабочего класса с беднейшим крестьянством, т.-е. признания на словах ленинизма. Эта задача требует применение его на деле, т.-е. создания программы, отвечающей интересам порабощенных крестьян, как и борьбы пролетариата за эту программу. Без решения этой задачи, без подхода к ее решению западно-европейские коммунистические партии еще не ленинские партии. Крестьянский вопрос, не выдвинувшийся еще как самостоятель-

ный вопрос в западно-европейских капиталистических странах, встал перед пролетариатом в Чехо-Словакии и Болгарии самым наглядным образом.

Так называемая Карпато-Русь оторвана в 1919 году Чехо-Словакией от тела Советской Республики Венгрии, это страна мелких крестьян, ремесленников, еврейской бедноты. Чехо-словацкая буржуазия не допускала никаких выборов в этой стране, надеясь вытравить из нее всякое воспоминание о венгерской революции, надеясь задавить всякую самостоятельную мысль крестьянства при помощи бешеного нажима бюрократии и жандармов. В продолжение четырех лет страна находится в клещах этого режима. Первые буквы названия Чехо-Словацкая республика (Ч.-С. Р.) крестьяне Карпато-Руси переводят: «чех словака рабит» (порабощает). Наконец, 16 марта 1924 г. состоялись, после такой подготовки, в первый раз выборы в чешский сейм из Карпато-Руси. Агитация чехо-словацкой коммунистической партии была неслыханно затруднена не только трудностями сообщения, аналь-фебетизмом населения, но и невиданным, даже в Карпато-Руси, террором. Если добавить еще конкуренцию чешских, словацких, еврейских и венгерских националистов, то, казалось бы, не было никаких шансов на победу. Несмотря на то, из 240.000 отданных голосов 100.000 подано за коммунистическую партию, которая получила из 9 мандатов в Сейм 5, из 4 мандатов в Сенат 3.

Еще более наглядную картину дают выборы в окружные правительственные советы Болгарии. 1923 г. был годом тяжелейших поражений народных масс Болгарии. Крестьянская партия, так наз. земледельцы, находящаяся с момента окончания войны у власти и представляющая собой на 90% организацию мелкого, бедного крестьянства, на деле проводила политику кулаков. Благодаря этой политике, она принуждена была вступить в бой с деревенской беднотой, ремесленниками, рабочими, группирующимися вокруг коммунистической партии. Порвав с этими единственными элементами, на которых Стамболийский мог опираться в городе, отклонив многократное предложение коммунистов за создание союза рабочих и крестьян, Стамболийский не был в состоянии удержать власти. Немногочисленные, но влиятельные круги буржуазной интеллигенции и старого офицерства смогли, при помощи македонской эмиграции, оттолкнутые от Стамболийского политикой примирения с Сербией за счет независимости Македонии, путем военного заговора сбросить правительство Стамболийского. Правительство Цанкова взялось сразу за создание в стране спокойствия. Оно разгромило легальные организации коммунистической партии, конфисковало ее имущество, взялось беспощадно за истребление крестьянского движения. Этим оно спровоцировало осенью прошлого года рабоче-крестьянское восстание, в котором погибло много тысяч рабочих и крестьян. Немедленно после ликвидации восстания проведенные выборы дали союзу коммунистов и земледельцев 186.000 голосов, т.-е. 26% всех отданных голосов. В мае месяце этого года мы имели вторую проверку: выборы в областные советы, в которые число голосов, отданных за разгромленную коммунистическую партию, идущую в блоке с земледельцами,—31% всех отданных голосов. Значение этого результата выборов определяет орган национал-либеральной партии «Независимость» следующими словами:

Самым существенным результатом выборов является не тот факт, что правительство удержало большинство, а тот, что блок рабочих и крестьян усилился и укрепился. 4 мая поднялась в стране снова коммунистическая волна. Ее считали разбитой. Она теперь еще более сильна и об'единена, партии правительственного большинства пытаются скрыть, что они застигнуты врасплох, они успокаиваются тем, что коммунисты и крестьянская партия в прошлом еще больше голосов получили, но они не в состоянии скрыть своего беспокойства за будущее страны. Для всякого, кто ответственен за будущее Болгарии, исход выборов в Болгарии означает предупреждение, что мы стоим перед новыми потрясениями и что неустойчивость является постоянным признаком нашей политической жизни. Единый фронт коммунистов и крестьян не есть переходное явление.

Буржуазная болгарская газета вполне права. Единый фронт рабочих и крестьян является не переходным не только для Болгарии. Он вырос в Болгарии не из специальных условий жизни болгарских крестьян, которые принадлежат к западно-европейскому типу капиталистического мелкого хозяйства,—он вырос в Болгарии благодаря слабости болгарской буржуазии, которая позволила крестьянству посягнуть на власть. На Западе, по мере роста капиталистического распада, по мере роста силы коммунистических партий, по мере ухудшения положения крестьянства будет расти и среди рабочих и среди беднейших крестьян стремление к союзу, который определит окончательно участь буржуазии.

Что же дальше?

Картина, которую развернули выборы в целом ряде стран Европы, содержит все краски, все тона, но в ней отсутствует—спокойствие. Военный хаос (как говорят либеральные писатели) не уложился. Но военный хаос—это слово без содержания, выражающее только испуг буржуазии перед тем, что она сама создала. Мировая война — выражение громаднейших противоречий капиталистического строя, самая острая форма конкуренции, обострила до высшей степени классовые противоречия, доводя их в ряде стран до гражданской войны и революции. Из бурного океана повоенной истории вынесли подземные взрывы русский Советский остров. За русской пролетарской революцией последовали революции в Германии, Австрии и Венгрии. Наше скороживущее время скоро забывало самые капитальные факты. Кто помнит, что в Берлине была советская власть? Правительство Шейдемана, Эберта, Дитмана и Гаазе получило власть в Советах Рабочих и Солдатских Депутатов Берлина и именовалось Правительством народных уполномоченных. Война, которая была высшим проявлением диктатуры капитала, выдвинула антитезис этой диктатуры — диктатуру пролетариата не только в России, но и в Германии.

Правительство рабочего класса в Германии не было разгромлено силой контр-революции, как это имело место в Венгрии: оно сдало власть буржуазии с согласия громадного большинства рабочего класса, который надеялся

этим путем купить для себя возможность возврата к тихой и спокойной жизни предвоенных времен. Все усилия мировой буржуазии уничтожить Советскую Россию, повернуть колесо истории назад до предвоенных времен, когда существовала международная система только буржуазных государств, кончились крахом. Международной системе буржуазных государств противопоставляется первое пролетарское государство, которое, разбив старую централизованную империю Романовых и создав Союз Советских Республик, является началом новой международной государственной системы. Мозг многоуважаемых европейских буржуа не признает ни рабочего, ни союзного характера нового государства. Буржуазия боится нашего Союза, но она еще не понимает и не верит в то, что он является началом новой исторической эпохи. Революции уже бывали в мире, революционные меньшинства захватывали власть не раз, Советское правительство является для мировой буржуазии именно таким революционным государством, в котором революционная интеллигенция и революционные рабочие захватили власть над крестьянством, как это много раз в истории делала буржуазия. Но из этого ничего не может выйти другого, кроме нового буржуазного строя. Союзный характер революционного государства является для буржуазии простым прикрытием старой централистической России. Но в то время как она утешается, что на Востоке Европы мытьем ли, катанием ли все вернется к старому, самой-то центральной Западной Европе нет возврата к старому. За эти шесть лет, после окончания войны, европейская буржуазия испробовала все методы, которые получила от прошлого, и выдвинула новый послереволюционный метод—фашизм. Все они не в состоянии вернуть классы к старому предвоенному быту. Обанкротились в Англии методы либерального управления Ллойд-Джорджа, как и консервативного Бонар-Лоу и Болдуина. Обанкротились во Франции методы Пуанкаре и уже совершенно ясна будущая линия развала блока мелкой буржуазии и части рабочего класса. Они обанкротятся на том, что не посмеют взвалить тяготы войны на крупную буржуазию и восстановят против себя мелкую, когда попробуют прижать ее. Обанкротилась до последнего германская мелко-буржуазная демократия, она уступила власть фашизму, которого социальную политику она проводит, оставаясь формально у руля правления. В Италии обанкротилась демократическая политика Нитти, и перед банкротством стоит Муссолини. «Фашизм выступил в качестве доктрины, собирающейся заменить те принципы, на которых зиждется политический режим современных стран... Муссолини многократно бросал вызов принципам 1789 г., т.-е. и английским принципам 1686 г., и американским принципам 1776 г., и бельгийским 1830, и германским принципам 1848 г. Пусть он не удивляется, что весь мир теперь смотрит на него», заявляет парижский «Тан», орган меняющихся правительств и бессменной биржи. А «Оссерваторе Романо», орган того же самого Ватикана, который пошел охотно на сделку с Муссолини, заявляет с глубокой меланхолией: «nihil violentum durabile» (ничто созданное насилием не устоит). «Дни» Керенского, верные заветам демократии, заявляют по поводу выступления «Тан» и «Оссерваторе Романо» с радостью, что даже органы самых умеренных кругов в Европе высказались против фашизма. Но эти так

называемые умеренные круги, в отличие от демократических дурачков, не плюют в колодезь, из которого им, наверно, еще придется пить. Буржуазия могла бы отказаться от политики открытого насилия над народными массами только в том случае, если бы волна хозяйственного расцвета сделала существование капитализма для широких масс мелкой буржуазии и мелко-буржуазного пролетариата совместимым с его скромными потребностями. Но никаких видов на этот экономический под'ем нету, и поэтому чередование фашистского и демократического режима, — все это судороги истории, все это попытки спасения капиталистического общества при помощи средств, вытекающих эмпирически из данной обстановки: сегодня так, а завтра иначе. В то время, когда в недрах общества выковывается сила, представляющая новую систему — господство труда — на поверхности должна царить бессистемность господствующего еще капитала, не умеющего уже создать новый порядок. В этой обстановке даже такие явления, как правительство рабочей партии в Англии, которое связано всем своим прошлым с буржуазной системой, не сумеет толкнуть историю вперед, глубоко симптоматичны. Оно представляет собой тень, которую бросают на экран истории будущие крупные классовые схватки. Макдональды не принесут никакого ущерба буржуазии, но они обогатят опыт английского рабочего класса и заставят его мобилизовать свои силы против буржуазии. Никогда не было так наглядно, как теперь, что буржуазная Европа живет еще только потому, что европейский пролетариат, в десять раз материально более сильный, чем русский, не осознал своей силы. Барометр выборов во всей Европе указывает не только на неустойчивость политической погоды, но указывает и на то, откуда грянут бури. Неизвестно только, какие сроки нужны для накопления электричества в атмосфере.

Землетрясение в Японии. Гибель Иокогамы.

(Впечатления очевидца).

А. Матов (А. Степной).

Вторая ночь.

Было около 5 часов вечера. Хотелось пить и есть. Мимо нас проходили японцы и несли в ведерках и тазиках сухой неочищенный рис. Ларев, хорошо говоривший по-японски, спросил, где они его добыли? Оказалось, что на Явата-баси сохранился один склад риса и там можно было его купить. Но нас предупредили, что продают его только мешками. Тем не менее, мы решили сделать попытку, если уж не купить, то выпросить, как милостыню, Пошли. Путь наш лежал через огороды, где лагерями расположились беженцы. Там и сям курились костры и варился рис. В некоторых группах японцы острили наподобие пик бамбуковые палки, в сажень длиной.

— Для чего это вы готовите палки? — спросил Ларев.

— Надо... воры могут быть ночью!

И больше этого мы ничего не узнали.

В Явата-баси сохранилось несколько домов. Подземные толчки, видимо, шли какими-то зигзагами: одна часть улицы разрушена, другая только слегка расшатана, местами разрушен ряд домов, а по соседству целая группа только слегка повреждена. Близ моста Явата-баси стояла толпа. Здесь шла организация самоохраны, так как полиция, столь многочисленная в обыкновенное время, на этот раз как будто провалилась сквозь землю. У некоторых на левом рукаве уже навязаны были красные ленты. Близ самого моста, у сохранившегося кабачка, толпа распивала саке, шумела и о чем-то горячо спорила. Многие уже были пьяны.

За мостом мы отыскали склад. Но здесь сгрудилось так много народу, и такая была длинная очередь, что мы на первых порах уже думали возвратиться назад.

Часа два мы дежурили в очереди и, наконец, нам отвесили в носовые платки 10 фунтов рису. Мы почувствовали себя на седьмом небе. Хоть рис был и неочищенный, все же мы были спокойны, что несколько дней будем сыты.

Мы шли и мечтали о горячей воде. Уже темнело, когда мы возвратились в лагерь. Сейчас же набрали кой-каких гнилушек, обломков от ящиков и

развели костер. Сосед японец дал нам воды в ведре, и мы скоро ее вскипятили. Затем принялись за приготовление риса. Не успели мы его и прополоскать как следует, к нам подошел японец с фонарем и с заостренной бамбуковой палкой.

— Потушите огонь! — грубо сказал он.

— Почему?

— Нельзя разводить огонь. Потушите! Видите, все уж потушили!

Нечего делать — пришлось костер потушить.

— Что сие значит? — спросил я Ларева.

— Чорт их знает, что это такое!

В это время послышался подземный гул, а за ним и легкая тряска. Спокойное состояние опять было нарушено, снова ожидалась тревожная ночь. Мы сидели в темноте и обсуждали положение. Есть страшно хотелось: принялись жевать морковь.

Часов около девяти мы заметили среди беженцев какое-то волнение. То-и-дело сновавшие мимо нас прохожие куда-то скрылись. В лагерях стало тихо. Только кой-где мелькали фонарики.

Проходит японец с фонарем и какой-то допотопной кривой саблей.

— Спрячьте женщин! Сидите смирно!—говорит он тоном начальства.

— Что такое?

— Корейцы хотят перерезать всех женщин. Они все вон там собрались.

И он показал на восточную часть поля.

Наш лагерь был ближайший к корейцам.

Спрятать женщин... но куда? Единственно, что было возможно сделать — это положить их в кустики и густую траву, которая росла по бровкам дороги. Во всяком случае, перспектива нам не улыбалась.

— Чорт знает что такое происходит!—волновался Ларев.—Они просто с ума сходят!

— Но при чем тут женщины? И почему корейцы их будут резать, а не мужчин?

Наши жены волновались.

— Уйдемте отсюда! — приставали они.

— Куда? Куда итти ночью?

— В город!

— Куда же в город? Там никого нет! А если есть, то только мародеры. Надо держаться здесь, ближе к японцам. Не может быть, чтобы они не дали отпор?!

Когда мы вполголоса обсуждали свое положение, вдруг из лагеря корейцев послышались дикие завывающие крики. Японцы тотчас же ответили им таким же диким криком.

Было в этой перекличке что-то животное, страшное. Ужас резни словно повис в воздухе. А вдали еще багровели пожары, и земля изредка потряхивала... Наша женская половина была в отчаянии.

— Я так думаю,—начал Ларев, — обе стороны — японцы и корейцы боятся друг друга. Корейцы, вероятно, больше боятся, потому что за день из них, по крайней мере, десятка два укокошено!

— Возможно!

— Не иначе! А японцы теперь, вероятно, боятся ночного нападения. Вот почему они целый день и вооружались заостренными палками.

Снова послышались крики корейцев. и снова японцы им ответили.

Мимо нас проходят двое охранников.

— Что это за крики?—спрашиваем.

— Это воинственный клич! Корейцы вызывают нас на бой!

— Но почему они хотят перерезать женщин?

— Они грабили и поджигали дома. И ночью хотят напасть на нас. Мы будем защищаться, а женщины не могут. Вы не спите—корейцы близко!

Ответ нас не утешил и ничего не раз'яснил.

Скоро по крикам нам показалось, что корейцы приближаются.

— Пойдемте ближе к японцам!—волновались женщины.

— Зачем? Это хуже будет: нас примут за японцев и расправятся с нами!—говорил Ларев.

— Давайте-ка сделаем так,—даю я совет,—как только корейцы будут к нам подходить, мы встанем на дороге и заговорим с ними. Они увидят, что перед ними европейцы, и нас не тронут!

— Это верно! Так и сделаем!

Женщины залегли в траву, а мы решили бодрствовать и ждать.

Всю ночь напролет шла перекличка в враждующих лагерях и всю ночь мы ожидали нападения.

Уже по-утру мы окончательно пришли к заключению, что ни та, ни другая сторона воевать и не собирались. а просто боялись друг друга и ожидали предательского нападения.

Часов в шесть утра мы развели костер и сварили рис. Но есть уже не хотелось: тревожная и бессонная ночь совершенно отбила аппетит.

Надо было подумать о перемене нашего лагеря. Женщины особенно на этом настаивали.

Проходивший мимо японец сказал нам, что какой-то пароход стоит в гавани и берет европейцев. Моментально мы ожили. Быстро забрали рис и двинулись на пристань чрез Блеф.

На французском пароходе.

Дорога через Блеф все еще была в ужасном состоянии. Только местами ее несколько расчистили. Особенно трудно было пробираться в конце Блефа, близ разрушенной католической церкви и русского кино. Широкий прежде с'езд, ведущий к французскому консульству, оказался так изуродован, что под гору приходилось спускаться по узенькой тропинке, загроможденной упавшими деревьями. Здесь мы снова встретили остов автомобиля с

сгоревшим шоффером. Я заглянул в автомобиль. Все машинные части из него были похищены: мародеры всюду быстро работали. Они без стеснения ходили по развалинам и тащили все, что представляло какую-либо ценность. Полиция отсутствовала. Откуда-то они тащили ящики с вином, куски шелковой материи, разбитые тюки шелку.

Близ французского консульства мы увидали бот с французскими матросами и лейтенантом во главе с парохода «Андре Лебон».

Спрашиваем лейтенанта, нельзя ли попасть на пароход.

— Пожалуйста!—говорит он с изысканной любезностью. — Но вам придется подождать. Сейчас мы приехали похоронить нашего консула. Чрез час все будет кончено, и я возьму вас на пароход.

Мы возликовали. Лейтенант направился к развалинам консульства. Мы двинулись за ним. Здесь, на берегу канала, стоял грубо-сколоченный гроб из необструганных досок и в нем лежал Дежарден, прикрытый каким-то грубым холстом. Матросы приподняли гроб и понесли в гору, на европейское кладбище.

Мы остались на берегу ожидать окончания похорон.

Чрез мост, как и накануне, двигался непрерывный поток японцев. Тут же раскупоривались ящики, вынимались консервы и уничтожались.

Кто-то дал нам банку консервов спаржи и несколько галет. Мы с удовольствием уничтожили их.

Наконец, часов в одиннадцать явился лейтенант. Мы спустились в бот. На нем оказалось уже несколько русских рабочих из числа направлявшихся в Америку.

Выбраться из канала было трудно: устье его было загромождено трупами, обгорелыми бочками, ящиками, разбитыми лодками и т. п. После усиленной работы веслами и баграми, мы выбрались в открытую гавань. По морю фиолетово-желтыми пятнами расходилась несгоревшая нефть. Как и в канале, там и сям плавали трупы и разный лом. Лодка искусно лавировала среди них. Невдалеке стоял, выпуская клубы дыма, «Андре Лебон». Нас с парохода заметили издалека. Публика высыпала на палубу. Махала платками, ощупывала нас биноклями. Многие искали на боте своих родственников и знакомых, потерянных во время общей катастрофы.

Наконец, мы причалили. Публика с палубы сгрудилась у трапа. Только что мы поднялись, как нас встретила знакомая жены семья Куликовых. Начались расспросы: как спаслись, где ютились истекшие дни, кто из знакомых погиб и т. д.

Долго мы говорили на эту тему, пока не прозвонил гонг к завтраку.

В обширной столовой первого класса были прекрасно накрыты столы, каждый на десять персон белыми скатертями и салфетками и на каждом столе стояли две бутылки красного вина и графины с водой.

Обедающих собралось здесь до 200 европейцев и японцев. Многие были в таких оригинальных костюмах, что на первых порах вызывали смех.

Вот католическая монахиня. На ней черный чепец с белыми рюшками, а вместо платья—белый мешок, испещренный черными японскими иерогли-

фами. Оказалось, что это японский погребальный саван, подаренный ей во время бегства.

Вот молодая американка в японской коротенькой фуфайке и таких же трусиках. Плечи закрыты пестрой шалью. Она босиком.

Вот англичанин в одном купальном костюме и также без обуви.

Дама с седыми буклями в японской фуфайке с короткими по локоть рукавами и в широчайших синих китайских штанах. Босиком.

Русский рабочий без рубашки и кальсон, босиком, в порванном японском кимоно. Когда он идет—полы кимоно расходятся и обнажают мускулистые волосатые ноги.

Толстенький, кругленький француз в грязной прогорелой и рваной рубахе с засученными по локоть рукавами и в коротеньких брюках, очевидно, с какого-нибудь японца. Щека его черная, в волдырях и пластыре. Вот пожилой с проседью американец. Очень красивый. Лицо его залеплено пластырем. Смотрит одним глазом, другой перевязан. На нем поварская белая куртка и длинные широкие китайские синие штаны.

Много девушек и дам в странных смешных костюмах. На некоторых мужские пиджаки и брюки. Большинство босиком.

Из расспросов выяснилось, что за несколько минут до землетрясения, перед завтраком, многие принимали ванну, так как было очень жарко. После первых же подземных толчков в панике выскочили на улицу в одном нижнем белье или совершенно голые.

Завтрак состоял из двух блюд и кофе. Ели его с большим аппетитом, так как все изрядно наголодались.

Я очутился за столом визави с англичанином, стариком Смитом. Он уже был одет в европейское платье и даже в крахмаленном воротничке.

— Здравствуйте, мистер Смит!—приветствовал я его.

Он посмотрел на меня оловянными бессмысленными глазами. Голова его дрожала.

— Не трогайте его,—сказал мне сосед-англичанин,—у него голова не в порядке!

После завтрака все высыпали на палубу. Каждый рассказывал, как и при каких обстоятельствах остался в живых.

С каждой поездкой на берег бот привозил с собой новых беженцев. Количество русских увеличилось. На пароходе был недостаток в воде. Случилось это потому, что «Андре Лебон», стоявший в момент землетрясения у пристани, получил такой сильный удар о берег, что у него попортились паровые машины и опреснители. Самостоятельно он не в состоянии был отшвартоваться. Когда же на море загорелась нефть, и пароход очутился в кольце пламени, к нему на помощь поспешил пароход «Стил Фрейтер». Но вывести его на рейд долго не мог, так как его винт запутался в якорных цепях «Андре Лебона». Только после часовой работы, когда пассажиры уже надели спасательные круги и хотели бросаться в море,—удалось винт освободить и вывести пароход на рейд.

Вновь прибывающие беженцы были грязны. Всем хотелось умыться, а воды не было. Естественно, возникло неудовольствие. Администрация парохода дулась, а беженцы негодовали. Почему-то французы особенно были недовольны русскими.

Когда прозвонил гонг на обед, и публика двинулась в столовую,—ее встретил у входа метр д'отель и официант. При входе в столовую они остановили мою жену и горничную Ларева.

— Вы русские?

— Да, русские!

— Идите в третий класс... для русских обед в третьем классе!

— Это почему же?

— Русское правительство платить за вас не будет!

Этот разговор многие слышали и возмутились. Метр д'отель подвергся форменному нападению со стороны двоих англичан и француженки, жены Ларева. В конце концов он извинился, называя это недоразумением. Тем не менее за все время пребывания на пароходе пришлось наблюдать враждебное отношение к русским. Так, официанты, разнося обычно блюда, всем предлагали взять столько, сколько хочется, а русским непременно накладывали сами, очевидно, из опасения, как бы русские не взяли две порции. Эту мелочь заметили даже иностранцы.

— Сантимники, дьяволы!—возмущался Ларев,—думают только о своих сантимах в такое время!..

На другой день это отношение к русским еще более резко было подчеркнуто.

Утром, после первого завтрака, обычно бот отправлялся на берег. На нем всегда с парохода выезжало несколько человек, одни—чтобы разыскать среди развалин своих родственников, другие—знакомых и друзей. Но многие, особенно французы, по виду просто биржевики и спекулянты, ездили с тем, чтобы возвратиться с какими-то свертками, саками, порт-пледами и т. п.

Лареву необходимо было поехать на берег, чтобы разыскать своего помощника и вместе с ним осмотреть в банке сейфы и книги и наложить печати. Он пригласил меня сопровождать его. На бот нас не пустили, а просто грубо оттолкнули от трапа. На вопрос, почему нас не пускают, мы получили ответ, что для спуска на берег нужно разрешение губернатора. Это была очевидная ложь. Вечером мы и еще двое русских рабочих сделали вновь попытку сесть на бот, но нас опять не пустили. Мы подняли шум, но ничего не добились. В то же время мы видели, что бот берет всех, кроме русских. Утром на третий день мы снова пробовали попасть на бот, но нам бесцеремонно загородили дорогу.

Тогда мы с Ларевым решили: если вечером нас не посадят, мы наденем спасательные пояса и вместе с отправкой бота бросимся в море и вплавь доберемся до берега. Когда вечером нас снова пробовали не пустить, мы категорически заявили, что бросимся вплавь. Наше заявление было столь решительно, что нам дали дорогу, и мы сели в бот. Я решил на пароход не возвращаться: создавшаяся атмосфера меня возмущала. Когда на берегу двое

встретившихся англичан сказали, что стоящий далеко на рейде Канадский пароход «Эмпресс оф Острелиа» принимает беженцев, я тотчас написал записку жене и просил ее при первой возможности также переехать на Канадский пароход. Ларев обещал эту записку передать.

Скоро подошел катер с «Эмпресс», и я на нем уехал.

На „Эмпресс оф Острелиа".

И вот, на шестой день мы очутились на Канадском пароходе. Это было громадное, роскошно отделанное океанское судно водоизмещением двадцать тысяч тонн. Прекрасные покойные каюты, ванны, бассейн для купанья, залы для карт, отдыха, детских игр и т. п. Здесь нас встретили чрезвычайно тепло и любезно. Дали мыло, предложили ванну, снабдили обувью, правда, простенькой, но в ней все же было лучше, чем босиком. Так как я был без пиджака и моя рубашка местами прогорела и была грязна, как у кочегара, мне дали старенькую чистую рубашку и белую поварскую куртку. Одним словом, отношение ко всем беженцам, без различия национальностей, было внимательное, радушное и простое.

Здесь собралось еще более русских и особенно много рабочих с Китайско-Восточной ж. д., направляющихся в Америку. Все они были квалифицированные рабочие. Многие приехали сюда из Токио, где они в ожидании виз и парохода работали на заводах. Некоторым из них удалось сохранить коечто из имущества.

Рабочие на пароходе держались кучкой и, как потом я заметил, частенько спорили. Большинство их было уральцы из ижевской дивизии Каппеля. В первый же день вечером, после обеда, я пошел на корму, где были пассажиры-китайцы, чтобы купить у них папирос. Здесь, близ паровых кранов, стояло человек двенадцать рабочих и о чем-то горячо разговаривали. Я встал в тени у борта и прислушался.

Высокий, загорелый мускулистый рабочий, с расстегнутым воротом в синей блузе, горячо доказывал, что надо плюнуть на Америку, а ехать на Урал, тем более, что визы сгорели.

— Опять ты, Кузьма, за свое! — возражал ему беленький рабочий, одетый в кожаную, почти новенькую куртку.—Уж, кажись, сто раз толковали! Решили. И каждый день ты опять сызнова!

— Это он потому,—с ехидной улыбкой заметил другой рабочий,—что генерал его раздразнил!

— Что ты мне генералом тычешь? Генерал, генерал... я на эту харю давно плюнул и растер! Вашему генералу морду набить!

— Не наш, а твой... ты все с ним нюхаешься!

— Я? Сволочь ты, Мишка, ей богу, сволочь! Ты знаешь, кто он?

— Знаю!

— Ну, так и помалкивай! А ежели я с ним цапаюсь, так мне хочется узнать, как эта белая рвань смотрит на Россию!

— Сказа-ал! Россия... где она, Россия-то? Не Россия, а СССР!

— Ну-к что же?

— А тоже... смарали ее с географии-то!

— То-ись, как это смарали?

— Да так... у немцев есть Германия, у австрияков—Австрия, у турок—Турция, а у русских—СССР. Одно слово, страна без прозвания!

Высокий рабочий смутился. Посмотрел себе под ноги.

— А что тут плохого?—заговорил он:—Союз Советских Социалистических Республик!

— Ты скажи, почему не Российский Союз Советских Социалистических Республик? А? Почему, скажи!

Высокий рабочий опять задумался, потом внимательно посмотрел на собеседника и сказал:

— Ты-то чего, Мишка, крутишь?

В это время на китайскую половину прошел в белой куртке помощник капитана и о чем-то заговорил с поваром.

Рабочие замолчали и начали расходиться.

На другой день я увидел и соскочившего с зарубки генерала, о котором упоминали рабочие. Он был хромой, курчавый, в русской ситцевой рубашке, довольно грязной и потертой. Головного покрова он, повидимому, не признавал. Курчавые волосы были всклокочены. Как потом пришлось узнать, он очень нуждался и существовал в Японии продажей пончиков.

Как-то мы очутились с ним за одним столом, за которым сидели исключительно русские. Случайно завязался разговор о политике. Генерал сейчас же начал громить большевиков.

— У нас здесь, на пароходе, есть большевики,—и он посмотрел в мою сторону.—Вот надо донести, чтобы их выбросили отсюда!

— Вы что, генерал,—возмущенно заявила знакомая наша дама М.—Как вам не стыдно!

— А вы что их защищаете? Тоже из большевиков?

— Да вы с ума сошли!

— Может, и сошел для тех, кто присасывается к большевикам!

— Это что, в мой огород камешек?

М. сблизилась с моей женой и частенько со мной беседовала. Это хромой генерал заметил и хотел ее уколоть близостью с нами.

— Знаете? Тем лучше! А на этого советского служаку надо донести!

И снова генерал посмотрел на меня.

Жена моя, сидевшая по близости к генералу, не вытерпела и вспылила:

— Мы шпионов и доносчиков и в царское время не боялись, а вас-то и подавно не боимся! Вам бы, генерал, следовало помолчать,—ведь, мы с вами не дома, а в Японии!..

— Господа, господа, что за споры!—зашумели соседи.

— Вообще, — сказал присяжный поверенный А-ов, — надо политику бросить—ни слова!.. И так уже начинают шептаться, что русские на пароходе пред лицом общего несчастья ссорятся.

— Да вот генерал!..—начала М.

— Неужели вам, генерал, не надоело?—продолжал А-ов, обращаясь к хромому.

— Ну, не стану, не стану. Чорт с ними!

— Да и не по адресу: г. М. вовсе не большевик!

— Как не большевик!?—вскипел генерал.—Он на советской службе!

— Ну, и что же?

— Все равно, раз служит—значит покрывает все их гадости!

— Это вы уж слишком... я сам, когда возвращусь, поступлю на службу!

— Вы?

— Ну, да!

— Поздравляю!

Генерал резко отодвинул от себя стакан с чаем и вышел из-за стола.

Дня два он не садился за один стол с русскими. На третий день пришло известие, что из Владивостока вышел пароход «Ленин» с продуктами для пострадавших от землетрясения и с санитарным отрядом из 60 человек.

Это известие ошеломило белогвардейскую публику. Генерал, севший опять за один стол с русскими, вдруг заговорил в необычайном для него тоне:

— Молодцы большевики! Ей богу, молодцы! Ну и шельмы же! Аяй, какие шельмы!

— Вот-те фунт!—удивился А-ов.—Давно ли вы костерили большевиков, а теперь—молодцы!

— Молодцы! Жулики, проходимцы, а молодцы! Я так и знал, что они выкинут эту штуку—пошлют помощь. Вот де мы первые! Знай наших! Мы, гуманные, демонстрируем международную солидарность! Но это хорошо!

Экспансивный генерал смеялся, потирал руки и, видимо, был страшно доволен «штукой».

Вся белогвардейская публика, при известии о посылке помощи, пришла в большое волнение. Это известие ее ошеломило. И любопытно—во всех проснулся какой-то патриотизм, какая-то национальная гордость: вот де и мы не лыком шиты! Первые, можно сказать, отозвались на несчастье своих врагов, еще так недавно чинивших нам кровные обиды.

Разговоры о политике и разбойниках-большевиках как-то сразу умолкли. Идущая помощь как будто всех об'единила, все почувствовали себя на этот раз русскими, единой кровной семьей.

После обеда генерал подошел ко мне:

— Извините меня, г. М., я погорячился и наговорил вашей супруге много глупостей. Вы, пожалуйста, не обижайтесь!

— Я и не думал обижаться! У каждого свои политические взгляды...

— Простите ради всего хорошего! Я, знаете, так обозлен и издерган, что, верно, иногда выхожу из себя. Не придавайте значения моей горячности!

— Уверяю вас, я совершенно не обижаюсь! Хотя признаюсь, ваша бестактность меня покоробила... Разве можно здесь, на пароходе, сводить политические счеты? Ведь мы здесь гости, больше того—богадельщики, Христа ради!..

— Понимаю! Прекрасно понимаю и еще раз—извините меня, старика! Больно уж наболело... не могу примириться с большевиками!

— А разве кто вас старается примирить?

— Есть такие... Ну, да не будем об этом больше говорить! Прошу вас, забудьте эту неприятность!

— Конечно!

— Ну, вот спасибо!

Генерал ушел и в дальнейшем за все время пребывания на пароходе, а затем и в Кобе держался очень корректно.

В Кобе.

Восемь дней мы прожили на пароходе «Эмпресс оф Острелиа». Последние дни перед отходом его в Кобе, состояние беженцев было очень угнетенное: всем хотелось как можно поскорей определить свое положение. Одни стремились в Англию, Америку, другие—в Китай, третьи—в Россию. Но пароход стоял и стоял. Терпение начало истощаться. И, быть может, он простоял бы долее, если бы у него не истощилась провизия.

Большую часть дня публика проводила на палубе. Стояли чудные сентябрьские дни. Море было спокойно. Его нежная ласкающая бирюза успокаивала нервы. Лишь изредка оно приходило в движение от продолжающихся время от времени подземных толчков. По нему все время, плавно покачиваясь в голубой зыби, плыли трупы, нередко одетые в европейский костюм. Большею частью—женщины. Появление их всегда собирало на борту чуть не всю пароходную колонию. Плыли вместе с ними ящики, бочки, комоды, стулья, тюки с шелком, или ватой.

Домашняя обстановка, как передавали, двигалась из курорта Хайяма, где море бросилось на берег, смыло все прибрежные здания и унесло с собой массу народу. Здесь погибло несколько японских принцев. Волна, бросившаяся от подземных толчков, как говорят, достигла восьми сажен. Люди спасались на деревьях, крышах домов и т. п.

На пятый день начали прибывать пароходы из Кобе и Шанхая. Пришли из Маниллы американские миноносцы и выстроились в ряд на рейде. Целые ночи они обменивались световыми сигналами с другими американскими судами.

Вид с парохода на город в ночное время был феерический! Пожары еще не потухали. В разных местах багровело зарево. Погибший город был безмолвен и погружен во мрак. На него с японских военных судов то-и-дело отбрасывались белые лучи света прожекторов, вырывая из мрака куски развалин, дрожали над ними, и это производило впечатление кладбища, освещенного мертвым холодным светом...

Наконец, тринадцатого сентября нам об'явили, что в одиннадцать часов дня пароход уходит в Кобе. Все заволновалось, забегало. Настроение сразу приподнялось, стало жизнерадостным. Как ни хорошо, как ни сытно и покойно было на пароходе, все же многие боялись повторения землетрясения

и поэтому не чувствовали себя в полной безопасности. Кроме того, всем хотелось поскорее стать на твердую землю, купить кое-что, одеться.

Ровно в 11 часов пароход вышел из гавани.

— Наконец-то! — облегченно вздыхали пассажиры, бросая последний взгляд на несчастный город...

Пароход шел тихо, с одной стороны, потому что землетрясение изменило морское дно, с другой—потому, что машины парохода еще не были в полной исправности. Он направлялся в Кобе главным образом для ремонта и закупки провизии, а назначение его было в Сяттль.

Четырнадцатого сентября в два часа дня мы бросили якорь в Кобе. Здесь нам сообщили, что надо направиться в «Ориенталь-отель», где идет регистрация беженцев и размещение их по квартирам.

Громадный и блестящий «Ориенталь» был переполнен народом всевозможных национальностей. Здесь были списки всех ранее прибывших беженцев, и эти списки брались с бою: большинство искало в них своих родственников и знакомых.

Образовавшийся здесь Международный Комитет помощи беженцам работал не покладая рук. Одна из громадных комнат отеля была переполнена дамами-благотворительницами, которые выдавали одежду, обувь, белье и принимали пожертвования. Обращение их с беженцами было самое теплое, внимательное, участливое: каждому просителю они тщательно примеряли костюм, обувь и т. п. Выдавали пасту, зубные щетки и даже маленькие дешевые чемоданчики. Всюду порядок был образцовый. Не более, как часа через два после нашего прибытия, все пассажиры «Эмпресс оф Острелиа»—а их было около 800—были размещены. Мы получили ордер в Кобе-Колледж, выстроенный на средства канадцев. Сюда было направлено человек сорок русских и около 100 иностранцев. Здесь мы встретили также самое теплое участие. Всем раздали тюфяки, одеяла и постельное белье, накормили хорошим обедом и даже предоставили в пользование прачечную.

Нам с женой одна из учительниц уступила свою квартиру, а сама поселилась в общежитии с ученицами. И вот мы опять на твердой земле и под крышей.

Казалось бы, все испытания, все неприятности закончены.

Но в первую же ночь большинство беженцев несколько раз выбегало из помещения в парк, а некоторые всю ночь спали на прекрасных мягких газонах садика.

Дело в том, что пережитое землетрясение так всех напугало, оставило настолько сильное впечатление, что небольшое сотрясение здания от ветра уже наводило ужас. Между тем в первую же ночь поднялся тайфун. Деревья зашумели, заскрипели. Захлопали ставни окон и японские сдвижные двери— и всем стало мерещиться начало нового землетрясения.

Землетрясению первого сентября предшествовал каждый раз сильный ветер.

Всю ночь свирепствовал ветер, и всю ночь мы не спали.

На другой день мы отправились осматривать город. Всюду в магазинах шла бойкая торговля. Особенно много было покупателей в оптических мага-

зинах, так как во время бегства и разрушения домов большинство потеряло свои пенснэ и очки, а другие попортили свое зрение от пожара. Беженцы ходили группами, в самых оригинальных костюмах, нагруженные покупками. Все отели, все учебные заведения были переполнены. На пристани японцы разбили массу палаток и здесь принимали беженцев.

Вечером я направился в Международный Комитет хлопотать о выдаче бесплатного проезда до Владивостока... Там мне охотно выдали чек на стоимость проезда по ж. д. и на пароходе для пред'явления пароходной компании Осака Кисен Кайся. Но контора компании наотрез отказала мне выдать билет.

— Почему?—спрашиваю.

— У вас нет русской визы, нет документов!

— Но позвольте, где же я могу получить русскую визу, когда здесь нет русских консулов? А документы все у меня сгорели.

— Мы ничего не знаем!

На все мои доводы, что я советский служащий, что это удостоверит Международный Комитет,—японцы не сдавались.

— Мы вам выдадим,—говорили они,—а во Владивостоке вас не спустят с парохода и нам придется вас везти опять обратно!..

— Как же не спустят? Я советский служащий, приехал сюда с документами!

— Не можем!

Контора пароходной компании осаждалась русскими. На Харбин охотно давали бесплатный проезд, а на Владивосток всем категорически отказывали.

Два дня я добивался билета, но японцы были неумолимы.

Наконец, председатель Международного Комитета мистер Стефен написал пароходной компании письмо, которым гарантировал, что он берет на себя ответственность за мой спуск с парохода во Владивостоке. И только тогда я получил билеты.

Шестнадцатого сентября мы выехали с женой во Владивосток через Цуругу, куда и прибыли через три дня.

Этим закончились наши японские злоключения...

Они надолго останутся памятными!..

Москва.
12 марта 1924 г.

Среди журналов.

А. Лежнев.

[Русский Современник, № 1.—Беседа, кн. 4.—Круг, кн. 3.—Звезда, № 2.—Леф, № 1 (5).—На Посту, № 1 (5).—Октябрь, № 1].

Новый толстый журнал «Русский Современник» появился на свет не без помпы и некоторой рекламы. Его выходу предшествовали специальные вечера, в «Известиях» помещались отрывки из произведений, вошедших в первый номер журнала. Журнал вышел действительно любопытным во многих отношениях. Прежде всего, в нем собран богатый беллетристический и историко-литературный материал. Это—положительная сторона. Но он любопытен еще с другой точки зрения. Перед нами попытка создать чисто литературно-художественный журнал, без всякой примеси политики. Конечно, это почти безнадежная попытка. Вовсе избегнуть политики невозможно. Она так или иначе скажется: и в беллетристике, и—в особенности—в литературной критике. Есть и в «Русском Современнике» определенная, если угодно, не политическая, а классово-культурная линия (разница не велика, дело в конце концов сводится к одному и тому же). Она выражена не очень явно, но ее нетрудно проследить, сопоставив между собой статьи Эйхенбаума и А. Эфроса, предисловие Бродского к письмам Достоевского, произведения Замятина, Ахматовой и Клюева. Но характерна уже сама эта тенденция: отойти в сторону от политики и общественности.

Как я уже говорил, наиболее интересен беллетристический отдел журнала. Здесь мы имеем вещи М. Горького, Замятина, Пильняка, Бабеля, Леонова. Пять очерков Горького (из цикла «Воспоминаний») очень не равны по достоинству. Довольно неудачен очерк о Блоке и небольшой отрывок «Смешное». Первый надуман, автор здесь—как это с ним иногда бывает—слишком много резонерствует, образ Блока остается смутным, неживым. «Смешное», вероятно, иллюстрация к известным утверждениям Горького о жестокости русского народа. Солдат рассказывает: «Пришли это мы в деревеньку, а в ней всего на всего три хаты, у одной старуха сидит, невдале—корова ходя. Говорим: «Бабка, это чия скотина будет; али твоя?». Она плакать, она вопит и на колени встает и всяко. «Внуки,—бает,—у меня в погребе сидят и должны теперь сдохнуть». «Не вопи,—говорим,—мы тебе по этому делу записку оставим». А был с нами, нашей же роты, парень костромской—вор-

вором, он и напиши записку: «Эта самая старуха прожила девяносто лет и еще столько же собирается, ну того ей не удастся». И подписался, сукин сын: «бог господь». Сунули ей записку, а корову забрали с собой и пошли. И так хохотали над этим случаем, что итти было трудно — остановимся и грохочем, аж слезы текуть!» Другой смешной случай в таком же роде: разорвался снаряд, засыпало землей, застукало камнями. «Очнулся, протер глаза, а — товарищев нету, деревья ободраны и кое на которых сучьях кишки висят. Тут — хохотать! Уж больно забавно это, — кишки-те на сучках. После стало мне несколько скушно. Тоже ведь люди были, товарищи-то, вроде как я, все-таки, и сразу ни одного нет, будто и не было. Ну, а сначала здорово смеялся я!». Действительно: «и на войне смешное бывает!».

Написан рассказ, как видит читатель, хорошо, но тем не менее он остается внутренне-неубедительным. Гораздо лучше других три очерка, особенно первый из них, «Испытатели», в котором Горьким дана новая, своеобразная вариация старой темы Достоевского: ищущего, «бунтующего», неуравновешенного человека, «испытывающего» судьбу, жизнь, «бога», миропорядок.

Хорош, по обыкновению, рассказ Бабеля «Иваны» (из книги «Конармия»). По своей выразительности, лаконизму, образности языка, характерности диалога, эпической силе и простоте повествования эта несложная и небольшая по об'ему (6 страниц) историйка о злоключениях дезертира стóит одна, пожалуй, всего остального литературно-художественного отдела журнала. Еще полгода назад никому не известный писатель становится сейчас определенно в первый ряд мастеров художественной прозы, и в этом ряду его фигура уже теперь одна из самых крупных.

На большой вещи другого молодого (и талантливого) писателя, Леонида Леонова, носящей длинное, стилизованно-старомодное название «Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным», я останавливаться не буду, так как разбор этой вещи и характеристика Леонова даны уже в статье т. Воронского, помещенной в третьей книге «Красной Нови» («Литературные силуэты. Л. Леонов»).

«Два рассказа» Б. Пильняка написаны на обычные темы этого автора: волки, деревенская стихия, власть земли и «машинная революция». Образ «госпожи земли—или бабищи—с такими всяческими качествами и буераками, и окружностями, что в ней можно было найти «попову собаку», с сестрами-трясовицами в болотах подмышек, с лицом «довольным, дремучим, в лишаях, бородавках, в склизких морщинах, вспотевшим от самогона, губа на губу, глаза закрыты в спокойствии, из носа и изо рта сопли и слюни», пахнущей «всеми земными потами», этот образ встречается в обоих рассказах; он проходит сквозь них, как лейтмотив, и об'единяет их в одно целое. Все же можно заметить, что в этом целом, вторая часть, второй рассказ, где описывается охота на волков, своеобразная бродячая жизнь «отряда по истреблению хищников», лесная жизнь, пробуждающая в человеке нечто первобытное,

полузвериное, превращающая «совершенно обыкновенных людей: кожевника, народного судью, продовольственного инспектора, аптекаря-неудачника» в особую породу людей сильных, упрощенных, повелительно-односложных, — лучше, чем первый рассказ, в котором—Москва, Октябрьская революция, завод. Первый рассказ оставляет неопределенное впечатление, в нем нет центра, нет ударения. Основная идея автора недостаточно выявлена. Впрочем, власть земли, «волчье» начало Пильняку всегда больше удавалось, чем изображение начала организующего.

«Рассказ о самом главном» Замятина. Еще задолго до появления «Русского Современника» было возвещено самим Замятиным (сборник «Писатели об искусстве и о себе») и И. Г. Лежневым («Россия») о том, что старый реализм трех измерений отжил свое время, что художник должен отбросить старомодный евклидов корсет, порвать с традиционной последовательностью во времени, и что отныне реалистические формы: проектирование на неподвижные, плоские, координаты евклидова мира—должны быть заменены проектированием на мчащиеся кривые поверхности. «Россия» добавляла еще к тому, что эта революция в искусстве, эти новые художественные принципы осуществлены в последних произведениях А. Белого и Замятина, в частности, в «Рассказе о самом главном». Несостоятельность этих т е о р е т и ч е с к и х рассуждений была видна уже тогда. Теперь перед нами «п р а к т и к а», лучшая проверка теории. Что же говорит она? Проектирование на мчащиеся кривые поверхности свелось к тому, что вместо одного сюжета мы имеем в рассказе три независимых сюжетных линии. Две из них развертываются на земле, третья—на некоей гибнущей звезде (см. «Аэлиту»). Поверхности, действительно, мчатся: земля, как известно, вращается вокруг себя и вокруг солнца, а звезда с ее последними обитателями несется, по воле автора, прямо на землю. Так что есть надежда, что они в конце концов пересекутся, а с ними и сюжетные линии. Автор честно выполнил свои обещания: поверхности мчатся, пересекаются (неизвестно только, как дело обстоит с кривизной: ну, да ведь земля шарообразна!)—чего же больше!

Наивно, конечно, видеть в чередовании—отрывками—двух сюжетных линий (двух, так как одна из трех — переживанием червя Rhopalocera — едва намечена) нечто принципиально-новое, разбивающее старые рамки. Этот прием мы встречаем еще у Э. Т. А. Гофмана в «Житейской философии кота Мура», т.-е. вещи, написанной более ста лет назад. Последовательности во времени Замятин нисколько не нарушил: она сохранена внутри каждой сюжетной линии. Выделите каждую из них особо, и перед вами получатся два самых обыкновенных рассказа, составленных по всем законам трех измерений. Разумеется, мы отнюдь не собираемся ставить это в упрек Замятину: «порвать» с последовательностью во времени так же невозможно, как выскочить из собственной кожи.

Итак, никакой революции в области формы Замятин не совершил. С какой бы стороны ни подойти к «Рассказу о самом главном», он ничего нового или выдающегося не представляет. Первая—и основная—его сюжетная линия—подавление кулацкого восстания—разработана так, как мы уже привыкли

видеть в аналогичных рассказах из гражданской войны Вс. Иванова, Лидина, Малышкина, Пильняка. Те же лица, те же толпы, те же положения. И Дорда, и Куковеров, и Таля, и вся эта мелодраматическая история о встретившихся друзьях-врагах и о девушке, отдавшейся приговоренному к расстрелу в последнюю его ночь,—все это как будто нами много раз уже видено, читано. Второй «звездный» эпизод еще слабее и банальнее. Гибнущая цивилизация, мир, несущийся к уничтожению, последние люди, последние глотки воздуха и, конечно, последние любовные об'ятия. Но, разумеется, и здесь любовная история с «интересным» усложнением. В первом эпизоде было двое мужчин и одна женщина, здесь две женщины и один мужчина. Право, не стоило забираться на звезду. Этого и на нашей грешной земле довольно. Какая связь между кулацким восстанием, Дордой, Куковеровым, с одной стороны, и этой тощей звездной фантастикой, с другой,—остается неясным. Не то гибель звезды служит напоминанием о тщетности земной суеты: воюйте там, мол, или не воюйте, делайте или не делайте революции,—все равно ни к чему: конец один— уничтожение. Не то автор хочет сказать: да, все в конце концов гибнет, но каждый раз из обломков возникает новая жизнь. Жизнь неистребима. Это звучит как будто бодрее, но, в сущности, представляет чуть-чуть оптимистически окрашенный вариант той же экклезиастической мудрости: возвращается ветер на круги свои.

Вероятно, этот оптимистический пессимизм и является «самым главным» в рассказе Замятина. Но сия премудрость так забаррикадирована пересекающимися плоскостями, что добраться до нее чрезвычайно затруднительно. Читателю приходится довольствоваться тем, что открыто показано, и естественно притти к выводу, что «самое главное» — любовь. «Oh! l'amour c'est une belle chose!» [1]), как поется в одной французской песенке.

Стихи в «Русском Современнике» довольно слабы. При подборе материала редакция обнаружила большую широту художественных симпатий: от Сологуба до Асеева. Но это принесло мало пользы стихотворному отделу: он вышел бледным, случайным, противоречивым. Сологуб дал какие-то мертвые, ненужные стихи, где и «жестокий рок», и «неумолимая судьба», и «пророческая речь», и последняя ставка, и некое «злое трепало». Гораздо слабее, чем обычно, стихи Анны Ахматовой. В одном из них поэтесса оплакивает жену Лота, «отдавшую жизнь за единственный взгляд» на прошлое:

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла.

Удивительно, как привязаны наши поэты к этому прошлому! Уж, кажется, и Содом оно, и мерзость, а все не могут никак удержаться, чтоб не обернуться к нему, не застыть в окаменелом восторге!

В «Песнях на крови» Клюева, как всегда нарядных, пестрых, перегруженных образами,—вот кто настоящий имажинист! — страх перед городской машинной культурой, которая убьет красоту, поэзию, Китеж-град—

1) О, любовь—прекрасная вещь!

Черный уголь, кудесный радий,
Пар возница, гулёха - сталь
Едут к нам, чтобы в Китеж-граде
Оборвать изюм и миндаль,
Чтобы радужного Рублёва
Усадить за хитрый букварь...

страх перед революцией, борьбой, от которых уйти бы в уютное прошлое:

Зачураться бы от наслышки
Про железный неугомон,
Как в былом, всхрапнуть на лежанке...
Поселиться в лесной избушке
С кудесником петухом,
Чтоб не знать, как боровы-пушки
Изрыгают чугунный гром.

А через несколько страниц динамичные стихи Асеева, в ритмах этой самой городской, машинной культуры, стихи, посвященные тоже искусству,— только не китежному, а типично-индустриальному: кино («Королева экрана»).

Заканчивая обзор художественно-литературного отдела «Русского Современника», отметим еще водевиль Леонида Андреева «Конь в сенате», одну из лучших вещей журнала, и богатый литературный архив [Кузьма Прутков. Стихи и пародии.—Тютчев. «Байрон».—Письма Достоевского и к Достоевскому (Страхова и А. Майкова)]. Письмам Достоевского предпослано предисловие Н. Л. Бродского. Из него мы узнаем, во-первых, что Достоевский является «инфернальнейшим из людей нового времени», а, во-вторых, что в «каждой его строке наша современность ищет разгадок своим раздумьям о сути человека, человеческой жизни». Насчет современности сказано, пожалуй, немножко сильно, но для характеристики настроений некоторых современников, обратившихся в соляные столбы от тоски по родным Содомам,—признание очень ценное.

Среди статей следует отметить прежде всего очерк М. Горького «Владимир Ленин», заключающий в себе много интересных подробностей, тонко подмеченных черт; для будущего биографа эти воспоминания являются далеко не последним документом, но личность В. И. в целом понята и освещена неверно, фальшиво. Вместо человека, которому «ничто человеческое не было чуждо, который любил жизнь во всей ее многогранности, жадно впитывая ее в себя» (Н. Крупская), перед нами один из семи праведников, подвижник, аскет, с «самоограничением, доходящим до самоистязания, самоуродования, до Рахметовских гвоздей».

В довольно большом критическом отделе журнала мы видим, с одной стороны, «формалистов» (В. Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов), — с другой, старую гвардию критиков, беспечных насчет метода, вроде Чуковского, А. Эфроса. Тон статей полемический, и с места в карьер развивается наступление по всевозможным направлениям. Тынянов кроет беглым огнем современную литературу вообще: на сто ее грешников приходится всего-на-всего один пра-

ведник, и это—Замятин. А. Эфрос разделывается с «левым фронтом» по всем правилам французской борьбы и французского изящного стиля. Эйхенбаум обстреливает тяжелыми орудиями «научной» аргументации марксистский метод в критике. На последней статье следует остановиться.

Давно уже было замечено, что по вопросам медицины и педагогики берется высказываться всякий, даже ничего в них не смыслящий. Нечто подобное происходит и с марксизмом. Но там это еще имеет некоторое оправдание: большинство людей болеет, большинство имеет детей. Здесь это уже менее понятно. Я думаю, что Эйхенбаум не позволил бы себе писать о Пушкине, о натурализме, о романе, не изучив предварительно предмета исследования, не ознакомившись с соответствующей литературой. А вот о марксизме он пишет, не дав себе даже труда выяснить основные положения теории, историю ее развития. Начать с того, что марксистскую критику он считает порождением последних, революционных лет. Эйхенбаум, очевидно, не читал литературно-критических работ Плеханова и Меринга [1]), написанных уже несколько десятилетий назад. Но невежество не может еще служить извинением. Во всяком случае, оно плохой советчик, плохой руководитель и сыграло с Эйхенбаумом не одну скверную штуку. Свой главный штурм марксистских позиций наш критик начинает со следующего: Троцкий говорит, что только глубокий перелом истории, т.-е. классовая перегруппировка общества, спасает искусство от вечных перепевов. «Если б не было изменений в психике, порождаемых изменениями общественной среды,—не было бы движения в искусстве: люди продолжали бы из поколения в поколение удовлетворяться поэзией библии или старых греков». «А что,—ехидно спрашивает Эйхенбаум.—станет с искусством в социалистическом обществе? Ведь тогда уже не будет классовой борьбы, значит, искусство застынет в какой-то одной форме? А ну,—как выберется Троцкий из этого противоречия?»

Противоречие существует единственно в голове Эйхенбаума. Если б он был немного лучше знаком с марксизмом, то знал бы, что ни один марксист не считает социалистическую, бесклассовую форму общества чем-то неподвижным, неизменяемым. Энгельс говорил, что все развитие человечества до социализма есть праистория, а настоящая история, настоящее развитие начинается с уничтожения классов. Таким образом осуществление социализма не только не останавливает дальнейшее движение вперед, а, наоборот, именно с этого момента движение и начинает происходить в особенно стремительном темпе, но только уже не в антагонистических, а в бесклассовых формах. Когда т. Троцкий говорит о классовой перегруппировке, он имеет в виду общество, разделенное на классы, в котором классовая борьба играет огромнейшую определяющую роль. В бесклассовом обществе этой борьбы, конечно, нет, и она, естественно, не может сказаться и на искусстве. Но основное положение марксизма: сознание определяется общественным бытием—остается в силе и тогда, и именно это-то положение только и повторил другими словами т. Троцкий в цитированном отрывке. И в бесклассовом обществе будет изменяться обще-

[1]) Не говоря о других.

ственное бытие (будут расти производительные силы, стремительно развиваться техника, средства сообщения, условия, способы, продолжительность труда, характер общественных связей и т. д.), а вместе с этим и вследствие этого— сознание —и притом гораздо быстрее, чем изменяется сейчас. А это значит, что и искусство не будет стоять на одном месте. Вот, что сказал Троцкий и чего не понял Эйхенбаум.

Не понял до такой степени, что приписал т. Троцкому мысль, будто у искусства есть «какая-то своя функция, связанная с человеческой психикой, как таковой, и потому действующая не только под влиянием социальных толчков извне» [1]). И торжествует: снова неладно, снова «какое-то противоречие в системе общих предпосылок». Здесь опять путаница. Ведь в том-то и дело, что для марксистов человеческой психики «как таковой», т.-е. независимой от влияния общества, от общественного бытия, не существует. Содержание психики дается общественным бытием. Вне его человеческая психика—пустое место, рамка, ничем не заполненная. И когда мы говорим, что искусство связано с человеческой психикой, это и значит, что оно определяется общественным бытием—и ничем иным. Противоречие опять существует только в воображении Эйхенбаума.

Эйхенбауму не нравится вообще сам метод «социологического» об'яснения явлений искусства. Он приводит утверждение т. Троцкого: «Импрессионизм с его красочными пятнами, как и с колористической анемией был бы не мыслим вне культуры больших городов» и заявляет: «Пусть даже это так, но— разве это об'яснение? Ведь от «немыслимости» до существования—слишком большое расстояние. Культура больших городов допускает возможность и других форм живописи. Такого рода «les pourquoi» вообще бесплодны, потому что неизбежно приводят к метафизическим предпосылкам. Между тем марксист, который считает нужным соединить свою теорию с изучением искусства, поставлен в необходимость все время иметь дело с этими «les pourquoi», чтобы добиться наукообразности своих построений».

От «немыслимости» до существования—большое расстояние. Верно. Но какое расстояние? Если какое-нибудь явление не мыслимо без предварительного наличия другого, то это значит, что второе явление служит одним из определяющих условий первого, одной из причин. Но не обязательно единственной. Явления общественной жизни, а тем более искусства, слишком сложны, чтобы определяться действием лишь одной «причины», одного «фактора». «Существование», т.-е. необходимость (явления). возникает тогда, когда скрещиваются несколько причин в той точке, где происходит пересечение их силовых линий. «Культура больших городов допускает возможность и других форм живописи». Совершенно верно. Тов. Троцкий не собирался здесь давать исчерпывающее об'яснение, а лишь указал, в общих чертах, на одно из определяющих условий. Для того, чтобы понять необходимость возникновения именно импрессионизма, надо было бы, во-первых, точнее определить понятие: «культура больших городов», во-вторых, принять во внима-

---

[1]) *Подчеркнуто мной. А. Л.*

ние целый ряд других условий и обстоятельств: экономических, политических, культурных и т. д., в числе которых будет и предшествующее развитие живописи, ее состояние к данному моменту. Разница между марксистом и эклектиком будет заключаться в том, что для эклектика все эти «факторы»—независимые сущности (при чем одни материального, а другие «духовного» порядка), а марксист все их сводит в последнем счете к действию одной материальной причины: развитию производительных сил. «У искусства есть своя специфическая «социология» и свои законы эволюции», — утверждает Эйхенбаум.—Когда нам говорят, что такой-то писатель был по своей психологии представителем такого-то класса, то это, может быть, так же верно, как то, что Тэрнер был астигматиком, но «это меня не касается», потому что это—разные факты... Связь явлений не есть непременно связь причинная и потому сама по себе ничего не об'ясняет». Насчет социологии, конечно, чепуха, ненаучная игра терминами. Никакой специфической социологии, т.-е. науки об обществе, у искусства быть не может. Но на причинной связи стоит остановиться. Прежде всего совершенно неверно, будто «мне», если я исследователь, нет никакого дела даже до таких физиологических особенностей художника, как его астигматизм. Они тоже входят в число причин, определяющих творчество художника, но только причин второстепенных. И если т. Троцкий отбрасывает этот (физиологический) момент, то только потому, что в сравнении с моментом социальным он играет роль незначительную.

Да, связь явлений не есть непременно причинная связь. Но когда с расцветом абсолютной монархии появляется придворная, «классическая» трагедия,—это что: совпадение во времени или причинная связь? Когда с усилением буржуазии, «мещанства» придворную трагедию сменяет «мещанская» драма,—это что: совпадение во времени или причинная связь? Когда в эпоху упадка буржуазии, из революционного класса превратившейся в тормаз истории, растерявшей давно свой запас идеализма и бодрости, расцветает поэзия декаданса, изощренная поэзия пола и смерти—это что: совпадение во времени или причинная связь? Или, надо думать, декадентство могло бы возникнуть и в эпоху Гомера, а мещанская драма—в век Карла Великого?

Отрицая зависимость эволюции искусства от общественного развития, Эйхенбаум естественно попадает в идеалистический тупик. «От вечных перепевов, — заявляет он, — искусство спасено своей собственной динамичностью». Это значит отказаться от всякого об'яснения. Со времен Гегеля эстетика старается выяснить вопрос, чем обусловливается динамика, эволюция, развитие искусства, а Эйхенбаум (и его товарищи по Опоязу) об'ясняют: оно развивается, потому что развивается. Ясно. Точно. Научно.

Эйхенбаум иронически замечает, что марксистская критика «претендует на положение точной науки—если не математики, то, по крайней мере, медицины». Сравнение нелепо, но пусть так. Пусть—медицины. Но ведь у вас-то, у формалистов, даже не медицина, а знахарство. Наука, отказывающаяся от об'яснения явлений, не является наукой, она не имеет права на это звание.

Теоретическая совесть Эйхенбаума уязвлена не только «непоследовательностью» т. Троцкого, но и «эклектизмом» т. Воронского. Т. Воронским

он недоволен по очень многим причинам. Во-первых, за то, что «прибегает к Белинскому», доказывая, что искусство—познание жизни. «Вопросы эти не так просты, чтобы можно было их разрешить ссылками на Белинского. И что же тогда остается от марксизма?»

Так как Эйхенбаум, очевидно, серьезно озабочен участью марксизма, то постараемся ему об'яснить, в чем здесь дело. Эйхенбауму, вероятно, известно, что был такой философ Гегель и что Белинский являлся его последователем. Те мысли Белинского, на которые ссылается т. Воронский, не составляют собственности знаменитого русского критика, а взяты им из арсенала гегелевской философии. Из того же арсенала многое взято и марксизмом (напр., диалектика), и взятое не только не противоречит марксизму, но сделалось его «душою». Некоторые из основных принципов гегелевской эстетики, усвоенных Белинским, положены также в основание марксистской науки об искусстве—и притом задолго до т. Воронского одним не безызвестным теоретиком—Г. В. Плехановым. Воронскому просто пришлось лишний раз напомнить давно установленные истины забывшим их товарищам. Эйхенбаум, видящий в этих утверждениях т. Воронского противоречие с марксизмом, так же попадает пальцем в небо, как и тогда, когда торжествует по поводу слов т. Троцкого, о том, что «каждая литературная школа вытекает из всего предшествующего развития, из наличного уже мастерства слова и красок». Марксизм считает экономику—причиной, различные идеологии (в том числе и искусство)—следствием, но из этого вовсе не следует, что, раз возникнув на экономическом основании, следствие не может в свою очередь стать причиной [1]).

Эклектизм т. Воронского заключается, по мнению Эйхенбаума, еще в том, что он признает, что «искусство—это не фельетон, не пропагандистская речь, не публицистическая и агитационная статья», что оно «имеет свои методы, свои особенности», что нельзя «зачеркивать существо искусства и оставлять одну «идеологию». Да ведь это почти формализм!—уверяет читателей наш критик. Опять-таки: если бы Эйхенбаум был немного более осведомлен в марксизме, он знал бы, что это не единичное мнение Воронского, а взгляд на искусство, установившийся у марксистов еще задолго до возникновения «формализма». Он высказан еще Марксом и Энгельсом (см. письма к Лассалю по поводу «Зикингена», замечания об об'ективности, «рупоре эпохи», Шекспире и Шиллере), развит в статьях Плеханова и Меринга. Действительно, невежество—плохой руководитель!

---

[1]) „Идиотское представление идеологов: так как мы за различными идеологическими областями, играющими роль в истории, не желаем признать самостоятельного исторического развития, то значит мы отрицаем за ними всякую историческую роль. В основе этого лежит заурядное недиалектическое представление о причине и следствии, как о двух неизменно раз'единенных полюсах, абсолютно не видящее взаимодействия. Эти господа намеренно забывают о том, что как только исторический момент выдвинут в свет другими в конце концов экономическими фактами, так он тоже действует и на окружающую его среду, и даже на породившие его причины может оказывать обратное действие". (Энгельс).

А всего больше недоволен Эйхенбаум т. Воронским за то, что тот отмечает идеологическую шаткость Зощенок. Помилуйте, публицистическая, просветительная критика и прочие ужасы! Как же так,—научный, об'ективный анализ, «существо» искусства, Гоголь и Толстой нужны, хотя один крепостник, а другой граф, и вдруг—нате: срыв в напостовскую пропасть!

Опять-таки: никакого противоречия здесь нет. Да, Толстой и Гоголь нужны, несмотря на то, что были крепостниками и проникнуты барской психологией. Но станет ли отрицать Эйхенбаум, что это условие (идеологическая реакционность) все-таки до некоторой степени мешает усвоению широкими массами их произведений, что оно является безусловным минусом? Да, в произведениях искусства важен художественный, об'ективный момент, но это не значит, что суб'ективный идеологический момент для нас безразличен. Если такую критику называть публицистической, то что ж?—она вполне законна, больше—необходима при повседневной работе по организации и посильном направлении литературы в желательную для широких масс сторону литературы,—живой, сегодняшней, развивающейся. Она не должна заменять собой научного исследования, но имеет полное право на существование, — и нечего тут пренебрежительно фыркать.

На этом мы закончим. Для нас ясно, что «формальный метод», по крайней мере в истолковании Эйхенбаума и В. Шкловского,—не что иное, как запоздалая отрыжка идеализма, вернее, идеалистический рецидив. Серьезных аргументов против марксистской критики он не может выставить уже потому, что не знает марксизма.

4-й номер берлинского журнала «Беседа» заключает в себе не очень много интересного. Довольно крупная вещь Горького «Рассказ о герое»—рассудочна, надумана и бледна. «Зацветает жизнь» В. Лидина обнаруживает неожиданное влияние Л. Толстого. Написана она умно, тепло, с довольно тонко переданной «психо-физиологией», почти лишена сюжета (если не считать сюжетом чисто психо-физиологической темы умирания и радости жизни), растянута. Незначительны вещи В. Сизова «Об одном романе» и В. Юрезанского «Человек». Поэма еврейского поэта С. Черниховского «Свадьба Эльки» (в прекрасном переводе Ходасевича) является, пожалуй, лучшей вещью в журнале. Это своеобразный pendant к «Герману и Доротее» Гете, — где снова тот же легкий оттенок насмешки, даже чуть-чуть пародии, который получается уже от одного контраста между торжественным ритмом эпического гекзаметра и мещанской идиллией, составляющей содержание поэмы. Еврейский быт в деревне с традиционными свадьбами и обрядами изображен Черниховским с той же теплотой и стремлением выявить его поэтическую сторону, что и у Гете, но, конечно, не с такой глубиной и правдивостью, не с таким широким захватом.

«Кира Киралина» Панайота Истрати интересна, быть может, больше всего предисловием Ромэна Роллана, где знаменитый писатель рассказывает историю своего заочного знакомства с автором повести, полу-греком, полурумыном. «В первых числах января 1921 года я получил письмо из госпиталя в Ницце. Оно было найдено на теле несчастного, пытавшегося перерезать себе

горлю; не было почти никакой надежды на его спасение. Я прочитал письмо и был поражен гением писавшего его,—гением бурным, как горячий ветер равнины. Это была исповедь оригинального человека. Его удалось спасти. Я захотел познакомиться с ним. Завязалась переписка, и мы стали друзьями». «Кира Киралина»—вещь колоритная, написанная живо и довольно сильно, но ни гения, ни влияния «великих русских учителей», о которых говорит Р. Роллан, в ней не видно. Скорее можно отметить кое-что от старинного романа с приключениями.

«Беседа Ренана с юношей», в которой Ромэн Роллан передает свой разговор с французским мыслителем, ничего нового в характеристику его взглядов не вносит.

В третьем альманахе «Круга» выделяется великолепный рассказ И. Бабеля «Исусов грех», написанный удивительным колоритным языком. Диалоги Исуса и Арины, что живет в номерах при парадной лестнице, в своем роде прямо-таки образцовы:

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить?—возомнил тут спаситель.

— Околоточный, небось, потащит...

— Околоточный,—поник главой господь,—я об ем не подумал... Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года?—ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи.

Навернулся тут на господнии щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница, дева Арина,—возвестил тут господь в славе своей,—шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать. Дам я тебе, угодница, Альфреда ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка не мыслимо. потому забавы в нем много, а серьезности нет.

Рассказ Леонова «Гибель Егорушки» темноват, запутан; есть в нем нечто холодное и расчетливо бредовое. Длинная повесть Айзмана из жизни французских крестьян «Их жизнь, их смерть» производит сильное, но тяжелое, гнетущее впечатление: скотский, пьяный быт, сгущенные, мрачные краски и полная безнадежность автора. Рассказ О. Форш «Для базы» скучноват, хотя тема в нем затронута любопытная (дьякон, приспосабливающийся к новым условиям жизни, выступает в кабарэ; столкновение живоцерковников и тихонцев). «Переподготовка» Успенского представляет собой «опыт художественной сатиры на некоторые стороны провинциальной жизни эпохи нашей революции». Кое-что в ней подмечено правильно, но в целом—вещь небольшого художественного достоинства.

В «Отрывке из поэмы» Есенина—попытка дать портрет Ленина, не столько вождя, сколько человека. Поэта Ленин влечет к себе тем, что не по-

хож на картинного героя, прост, скромен, без рисовки, любит детей и перепелиную охоту. Такой Ленин мало чем отличается от целого сонма добродушных дедушек, и не удивительно, что Есенин не может сочетать этот образ с образом человека, «потрясшего мир». Фигура Ленина в целом остается для него непонятной:

Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной.
Но он потряс...

Во второй книге «Звезды» следует отметить «Бунт машин» Ал. Толстого, пьесу, написанную на сюжет, взятый у чешского писателя Вура. Содержание заключается в том, что один американский фабрикант открывает производство живых машин, своего рода упрощенных людей, изготовляемых из искусственной протоплазмы. Машины в конце концов восстают против своих творцов и поработителей и овладевают властью. К концу сюжет осложняется тем, что исчезает секрет изготовления искусственных людей, и таким образом бесполые живые машины—они очень недолговечны—должны вымереть. Но скоро выход из положения найден: среди живых машин оказывается несколько экземпляров высшей породы, во всем подобных людям, только еще не осознавших себя как мужчин или женщин. Пьеса кончается тем, что они к этому осознанию приходят, пробуждение пола делает их настоящими людьми, мир открывается перед ними во всей своей многокрасочности—искусственный Адам впервые целует искусственную Еву. Пьеса написана полнокровно, ярко, действие живое. Больше всего удалась автору вводная фигура Обывателя, исполняющего одновременно роль пролога и шута и придающего пьесе оттенок буффонады. С ним вваливается на сцену российская обывательщина, перепуганная и сбитая с толку революцией.

«Полет» Никитина, окончание которого помещено во втором номере «Звезды», новых лавров автору не принесет. Будет большим преувеличением сказать, что изображением бессодержательной и бессмысленной жизни нескольких выходцев из старых офицерских кадров возведена клевета на весь командный состав Красной армии, как это утверждали некоторые товарищи. Но плохо то, что между автором и мещанской средой повести не чувствуется расстояния. К тому же повесть слаба и в художественном отношении: растянута, конец выдуманный, книжный, чуть ли не под «Записки сумасшедшего» Гоголя. В высшей степени интересны выдержки из дневника Ал. Блока, устанавливающие с несомненностью его действительное отношение к революции и саботажу и реакционным настроениям интеллигенции. В некоторых местах—поразительная аналогия со «Скифами». О неоконченной повести С. Семенова «Копейки» говорить еще рано.

О пятой (первой) книжке «Лефа» можно сказать то же, что и о четвертой. То, что не имеет никакого отношения к «лефу»—рассказы Бабеля и Арт. Веселого—хороши, никому не нужно то, что дано футуристами — «Гимн 40-летним юношам» В. Каменского со всеми обычными заумными выкрутасами, вроде:

Брианта, ормч рамурдя,
Завзы, навзы,
И ормч. и чамардашм.
Эрга, эрза, зовурда.—

и «Высокая болезнь» Б. Пастернака—длиннейшее, на 8 страниц, стихотворение. Читатель может себя утешать, по совету Гейне: если мне так трудно и скучно читать, то каково было ему, бедному автору, писать?

Почти весь номер занят статьями о языке Ленина. Некоторые из них (В. Шкловского, Эйхенбаума) довольно интересны, но большинство авторов «с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири» [1]). Не стоило тратить столько энергии, слов и бумаги, чтобы притти к таким скромным результатам, как то, что Ленин говорил и писал просто, что некоторыми особенностями стиля напоминал Льва Толстого, что конструкция речи античных ораторов повторяется и у новых, в том числе и у Ленина, и т. д. В большинстве случаев все это было открыто и без помощи формального метода.

Что касается «На посту», то, судя по его майскому номеру, он серьезно решил конкурировать с «Крокодилом» и «Смехачом». Что ж, в добрый час! Но его первые номера давали основание все-таки думать, что журнал намерен вести серьезную работу. Теперь же озлобление и кружковое пристрастие дошли до того, что делают авторов статей просто смешными. Вот несколько примеров:

Лелевич о Вере Инбер: «Что общего, например, имеет «Сеттер Джек», эта своеобразная баллада о собачьем Василии Шибанове, с идеологией и психикой творящих революцию пролетарских масс? Почему рабья смерть сеттера Джека, совершенно не понимавшего происходивших событий [2]), но до конца преданного господину, возвеличивается, как истинно-человеческий поступок?»

Признаться, я был более высокого мнения об уме т. Лелевича. Почему собственно сеттер Джек должен был иметь нечто общее с психологией творящих революцию масс? И с каких это пор собаки обязаны понимать происходящие события, хотя бы и революционные? Т Лелевич как бы ставит В. Инбер в упрек, что ее сеттер недостаточно сознателен. Дальше уж некуда итти! В. Инбер просто написала стихотворение о преданном псе, без всякого отношения к революции. Это ее законное право.

Либединский о себе. Либединский соглашается с тов. Воронским, что в «Завтра» много идеологических недочетов, но об'ясняет их происхождение очень своеобразно: «Процесс творчества всегда отрывает на некоторое время от жизни». За время писания «Недели» Либединский неизбежно оторвался», а затем «после месяца перерыва и отдыха взялся за другую (вещь)... После того Либединский заболел, был в санатории. Это, понятно, еще более оторвало его от класса, и по приезде из санатория он за лето написал

---

[1]) Л. Троцкий о Маяковском.

[2]) Подчеркнуто мной. А. Л.

«Завтра». Итак, достаточно было трех месяцев работы и отдыха, чтобы Либединский оторвался от класса и написал идеологически негодную вещь. Ну, кто же этому поверит! И если это, действительно, так, то Либединскому в самом деле надо бросить писать.

Либединский о рекламе. «Мы хорошо знаем эти методы» (методы т. Воронского) — «гонорар, критическая статья (реклама), в которой на сезон об'является гений или несколько». Что касается гонорара, то—я надеюсь—его выплачивает своим сотрудникам и редакция «На посту» и «Октября». А о рекламе не следовало бы говорить на страницах того журнала, который все место, свободное от бесконечного склонения фамилии «Воронский» в сопровождении разных нелестных эпитетов, заполняет утомительнейшим гиперболическим восхвалением себя, своей группы («Октябрь») в целом и каждого члена этой группы в отдельности, который Безыменского произвел чуть ли не в мировые гении и не устает говорить о своих никому не известных широких полотнах.

Дневник писателя: «Говорил с Воронским... Прочел «Speranza» Пильняка... Встретил тов. П-ва. Рассказал мне, что...». Не слишком ли рано стал издавать т. Безыменский свои дневники? И не слишком ли заботится о будущем биографе?

«На посту», так сказать, теория. «Практикой» является «Октябрь». Надо сознаться, что практика вышла не очень яркой. Хороши стихотворения Светлова, Жарова, отчасти Доронина, но две большие вещи журнала: «Пролог» Безыменского и «Линев» Тарасова-Родионова—не удались. Безыменский написал нечто долженствующее быть зараз и литературным манифестом, и сатирой. Но, очевидно, сатириком надо родиться. Т. Безыменский же рожден лириком, хорошим, талантливым лириком, сатирической жилки в нем нет. Кроме того, «Пролог» сильно отдает кружковщиной, мелкими литературными дрязгами. В общем—тяжеловато, неостроумно. «Линев» Тарасова-Родионова так же похож на широкое эпическое полотно, как стихи Безыменского на сатиру. Идеологически это немного лучше «Шоколада», в художественном отношении—на одном уровне.

Искусство и общество.

(О книге Гаузенштейна).

И. Гливенко.

Статья вторая.

Вторая часть книги Гаузенштейна называется «Культурные предпосылки наготы» и состоит из четырех глав, из которых в первой «Естественный и космический человек» автор так определяет содержание этой части своей работы: «Мы изучили влияние хозяйственной жизни на характер формы изображения человеческого тела. Но еще остается ответить на один вопрос социально-естетического характера. Этот вопрос гласит: как вообще общественно-исторические условия сделали возможным изображение нагой человеческой фигуры? Этим вопросом мы уже подходим к исследованию сюжета».

Ответ на поставленный вопрос начинается с рассмотрения изображения наготы в первобытную эпоху. Основываясь на изучении палеолитических памятников, Гаузенштейн приходит к заключению, что первой причиной, вызвавшей к жизни изображение нагого тела, следует считать эротику, находящуюся вне целей искусства физическую потребность. Однако «жизнь в пещере и на охоте часто давала первобытному человеку повод к обнажению», а следовательно, и к восприятию наготы, в результате чего получались изображения, отражавшие повседневную жизнь. Но и этим не исчерпывался интерес первобытного человека к наготе. «От чисто эротических целей и интереса к изображению сюжетов повседневной жизни первобытный человек переходит к трактовке нагого тела, которую, несомненно, следует квалифицировать, как эстетическую».

Переходя к древне-восточному искусству, автор и здесь усматривает в эротике первый толчок к изображению наготы. Но в дальнейшем своем развитии вместе с прогрессом культуры и связанным с нею образованием понятия приличия, как самая нагота, так и ее изображение вызывают к себе отрицательное отношение. Нагота становится признаком некультурности, свойственной представителям низкого социального положения. Изображения наготы входят в область жанрового искусства и художественного ремесла.

Подобно древне-египетскому, и древне-индусское искусство в отношении изображения наготы испытывало на себе ограничивающую силу социальных условий. Нагота есть признак незнатности, низшего социального положения, и в искусстве ее изображение является жанром вульгарным и гротескным. Но постепенно оценка наготы, вместе с ослаблением буддизма, становится положительной, особенно в позднее искусственное средневековье. «Культура этой эпохи отличается напряженной чувственностью,—говорит Гаузенштейн, — и исходным пунктом к изображению наготы является невыразимо жгучая эротика».

Серьезный стиль в китайском. японском, перуанском, арабском искус стве относится враждебно к нагому телу. И здесь нагое тело находится в мире демоса и в мире гротеска.

Столь же враждебен по отношению к нагому телу мир калифов, и коран запрещает создание статуй. Отрицательное отношение корана и суннитов к изображению человеческого тела Гаузенштейн об'ясняет догматом первобытных народов, по которому избражение фигуры имело целью заклинание, околдование. Изменение общекультурных условий резко изменило отношение искусства к изображению человеческой наготы, и религиозное запрещение потеряло свою силу. Живопись на стенах замка Кусейр-Амры отличается «невообразимой чувственностью», и в ней ясно обнаруживается «переход к чистой эстетически-эротической оценке форм нагого тела».

Таков беглый исторический очерк изображения наготы в древнем искусстве, которому культурные условия не давали возможности свободного развития. «Полное освобождение в области изображения нагого тела было достигнуто в другом мире, — говорит Гаузенштейн, — в Греции, пропитанной благородным демократическим духом». Глава 2-я «Греки и нагое тело» является развитием и утверждением этого положения.

«Греки на определенной стадии своей социально-экономической культуры также имели предрассудок против наготы, как это наблюдается в восточном обществе, где человек, косметически прикрашенный, ценился выше человека в состоянии естественной наготы». Начало изображения нагого тела, и притом только мужского, относится к VII веку дохристианской эры и является следствием установившегося обычая снимать одежды во время состязаний. Этот обычай прочно установился на Крите и в Спарте. Причины установления этого обычая довольно сложны, и Гаузенштейн делает попытку об'яснить их экономическими условиями страны. Спарта, в силу своего географического положения, не приспособлена к торговле, к буржуазному развитию. Страна остается бедной, и «нагое тело является одним из элементов этой относительной экономической необеспеченности». «Не первичная эстетическая одаренность по отношению к культу наготы, а просто их первичная фактическая относительная бедность дали спартиатам стиль их состязаний. Нагое тело становится предметом забот, потому что недостает возможной интенсивной или экстенсивной культуры одежды». Но, с другой стороны, соблюдение наготы является фактом, вызванным военно-спортивными требованиями господствующей касты.

Из Спарты гимнастические традиции проходят по всей Греции, и постепенно нагое тело становится и предметом заботливого отношения и об'ектом изображения искусства. Для греческого общества нагое тело становится об'ектом политической общественности. и уход за ним—одной из важнейших забот античного государства, поскольку нагое тело есть элементарное орудие в индивидуальной и общественной жизни. «Это явление,— восклицает Гаузенштейн. — имеет для нас что-то воодушевляющее: мы измеряем глубину нашего упадка, когда видим, как демократический мир Греции сумел придать не только каждому интеллекту, но и каждому телу индивидуальную ценность, а эту индивидуальную ценность снова подчинить уравнительному стилю». Необходимо отметить и самый стиль изображения нагого тела, поскольку это изображение касается победителя на состязаниях. Это во всяком случае не был портрет, статуя эта была «типом совершенного в телесном отношении гражданина — пластическим символом плебейской Kalokagathia». «Это статуарное искусство было индивидуальным и в то же время статуарным».

К концу V и особенно в IV столетии крайнее развитие буржуазного индивидуализма оказало влияние и на искусство изображения нагого тела. И прежде всего следует указать, что в эту эпоху появляется изображение нагого женского тела. Вместе с Венерой Праксителя, взявшего в качестве модели красавицу Фрину, создается портретное изображение нагого тела, и в области монументальной пластики возникает жанровое искусство. Однако женские изображения всегда носили характер некоторой фривольности, сближающей их с изображениями жриц удовольствий на индусских храмовых картинах.

Своеобразные отношения между мужчинами вызвали к жизни изображения юношей. Эти отношения Гаузенштейн называет самой культивированной формой греческой эротики. «Только из одухотворенных эротических отношений между мужчиной и юношей можно понять очарование юношеских фигур, которые часто встречаются в античной древности. Это — эротика. которая соответствует республике свободных и образованных мужей».

В эпоху упадка греческой демократии, в эпоху космополитического индустриализма, или так называемую эллинистическую эпоху, искусство становится академической специальностью. Около 300 г. начинается процветание анатомии, и с этого времени начинается, по мнению Гаузенштейна, и жалкое состояние греческого искусства. «Классическим памятником этого упадка является грубый модельный натурализм группы Лаокоона. Это грубое чванство художника знанием всяких мышц и других интересных вещей относится уже не к истории пластики, а к истории препарирования».

Так или иначе, но через всю античность проходит одна общая черта — сознание, что нагое тело имеет ценность. Иное отношение встречаем мы, переходя к христианскому миру.

В 3-й главе своей книги «Тело в христианском мире» Гаузенштейн исходный пункт христианского отношения к человеческому телу и вообще к изображению фигур усматривает в иудейской традиции. Изображение фигур

у иудеев существует до эпохи установления оседлого образа жизни, т.-е. поселения иудеев в Ханаане. Со времени заповеди Моисея, запрещавшей какие бы то ни было изображения, «иудейский мир враждебно относится к изображению живого тела, и это отношение продолжается еще в дни римского господства». Попутно Гаузенштейн делает обобщающий вывод, связывая существование изображения фигур с определенным историческим периодом. «Возмущение против фигур,—говорит он,—существует повсюду на определенной ступени социально-культурного развития. Оно характерно для обществ, которые перешли к занятию земледелием и которые прогрессируют в выработке мыслительных способностей; зрительные представления о фантазии терпят при этом ущерб. Интересно, что культура, родственная иудейской,—магометанская, тоже запрещает изображение фигур». Если иудей и признавал значение тела, то не прекрасного, а жалкого. И этот идеал телесности перешел к христианам, в образе Христа, который, по словам отца церкви Тертуллиана, «даже не имел вида честного человека». Иначе говоря, Христос является «типом пролетария низших слоев». Основываясь на тех изображениях нагого тела, которые дает нам христианское искусство, Гаузенштейн отмечает прежде всего очень ограниченное количество сюжетов подобных изображений: первая человеческая чета, Даниил во рве львином, пророк Иона, крестимый Христос, юноши в пещи огненной, Сусанна, некоторые мученики и мотив рыбака. Все эти изображения выражают известную убогость, вызывающую сожаление. Отсюда Гаузенштейн заключает, что христианская оценка нагого тела совпадает с оценкой древних народов: нагое тело есть признак низкого социального происхождения.

В общем и целом, отрицательное отношение к наготе и ее изображению проходит через все средневековье. В религиозных изображениях нагота связывается с понятием страдания, жалкости, греховности. «Средневековый человек не допускал представления о наготе даже для загробной жизни... в средневековом искусстве воскресшие прибывают к небесным вратам нагими, но там часто ждут ангелы с одеждами, чтобы прикрыть страдальческую наготу. Только осужденные оставались нагими». Эти слова Гаузенштейн сопровождает следующим домыслом: «Но при этой трактовке вещей играет роль не только стыдливость с ее дуалистическим характером, не только понятие христианина о грешности плоти, но и подсознательный мирской мотив. Удовольствие, находимое богатым человеком в красивой одежде, чувство собственности, проэцируется в небеса. Богатый человек может желать иметь на небе приличный костюм, и он придает значение тому, чтобы сословный строй, который на земле внешне отмечен различием одежд, продолжался и на небе».

В четырнадцатом столетии начинается искусство изображения нагого тела с модели. «Это было последствием более интимного характера городского развития». Зарождающийся гуманизм, импульсом которому служило развитие буржуазии, нашел свое отражение в постепенном изменении в отношении к нагому телу и его изображению. В половине пятнадцатого столетия появляются изображения нагих женщин чисто мирского характера. Тело наблюдается, изучается и производит впечатление, как предмет эстетического

наслаждения. «Человеческое тело стало чем-то конечным. Начиналась новая эпоха».

Эта новая эпоха рассматривается в четвертой и последней главе, озаглавленной «Новый гуманизм и нагое тело».

«Культ мирской наготы, гуманистическое мужество начинается в эпоху рыцарства. Классическим примером этого духа является группа во Фрейбургском соборе, изображающая рыцаря с нагой фигурой сладострастия». Эпоха трубадуров и миннезингеров и эпоха Ренессанса воспринимает прелесть тела (главным образом женского) с утонченным эстетизмом. Новая эпоха очень далека от средневекового аскетизма, она любит жизнь и наслаждение, и отразившийся в ее поэзии и живописи «свободный художественный культ нагого тела достигнут при эротическом исходном пункте». «В это время,—говорит Гаузенштейн,—достигается что-то, что можно сравнить с температурой греческого искусства». На-ряду с эротическими мотивами были и другие источники, влиявшие на интерес к изучению и наблюдению, а оттуда и изображению нагого тела: это, с одной стороны, научная анатомия, с другой—«улица с наивно обнимавшимся народом». Таким образом климат и раса, а также социальная структура содействовали развитию интереса к изображению нагого тела: именно Флоренция с ее развитыми городскими ремеслами способствовала появлению слоев населения, которые были слишком бедны, чтобы одеваться. Наконец, что касается Италии, то античная традиция также содействовала интересу к изображению наготы. Однако при наличности всех этих источников, эпоха Ренессанса не дала таких изображений нагого тела, как античная Греция. Причин этого явления, по мнению Гаузенштейна, в свою очередь опирающегося на Ю. Ланге, следует искать в политическом положении вещей. Нагое тело для Ренессанса не является политическим, социальным, общественным фактом в той мере, как это было в античности, и потому «изображения нагих тел в эпоху Ренессанса, как они ни были часты и великолепны, все же не были изображениями наготы, носящими общественный характер. Искусство изображения нагого тела эпохи Ренессанса вырастает на почве, на которой тело обнажается только в рамках частного наслаждения, частного одушевления, частного созерцания. Нагое тело в эпоху Ренессанса гораздо больше, чем в античную эпоху, является продуктом эстетической рефлексии и эстетической утонченности». Радикализм обнажения тел у Микель Анджело и «безудержная эротика» целой плеяды итальянских художников вызвали в конце эпохи Ренессанса реакцию против наготы и даже прямое запрещение ее изображения. Однако чувственный элемент остался отличительным и для последующей эпохи—барокко. Эта чувственность не закрывалось даже одеждой. «Само платье,—говорит Гаузенштейн,—становися орудием сексуализма. Нельзя себе представить ничего более чувственного, более нецеломудренного, чем барокковая одетая фигура. Можно взять какого угодно мученика эпохи барокко — в нем всегда будет что-то вызывающее, напоминающее балерину». Барокковая одежда, будь это даже церковная ритуальная одежда, развевается и выпячивается с утонченной высокоэротической и демагогической чувственностью. Это об'ясняется тем, что

барокко было представлено придворными кавалерскими элементами и очень распущенными князьями церкви.

Переходя к новому времени, Гаузенштейн отмечает, что в XVIII веке изображение нагого тела вначале определялось «эротической ценностью» женского тела — тела француженки. Изображение женского тела этого времени отличает «достойная зависти искренность». Указывая, что с этого же времени начинается и протест французских мещан «против так называемой безнравственности в искусстве», Гаузенштейн встает на защиту эротических побуждений, если в результате их получается художественное произведение. «Если мы посмотрим на вещи вроде лотрековых изображений нагих тел маленьких девочек из парижских Maisons vertes, если мы серьезно на них посмотрим, тогда обнаружится поразительный факт, что эротический элемент все больше с загадочной несомненностью улетучивается, и оставляет лишь магию поразительного рисунка. Эротический элемент в процессе художественного производства теряет силу». «Если эротика создает художественную линию, подобную той, что создана искусством рококо, то мы должны воздать хвалу миру, который сделал возможным подобную красоту». Гаузенштейн проводит аналогию между рококо и готикой, находя, что оба эти искусства «религиозны, каждое в своем роде: готика верит в крест, рококо—в исповедальню, где опытному аббату в фиолетовой шелковой сутане рассказывают о грешных альковных ночах. Готика и рококо исходят из религиозных фасцинирующих порывов, и из этих порывов возникает искусство».

В XIX столетии «нагое тело все больше становится академической фразой», хотя никакая эпоха, кроме барокко, утверждает Гаузенштейн, не отличалась такой похотливостью, как мещанская эпоха. Политические условия настолько подавляли искусство и общество, что из окружающей действительности нельзя было извлечь оригинальный стиль для изображения нагого тела. «После того, как индивидуум был изгнан из современности, после того, как ему в пустынной бездушной атмосфере буржуазного мира первой половины XIX века пришлось научиться находить самого себя только вне окружающей среды»,— искусство ушло в историю и на восток. Но со второй половины столетия вновь чувствуется значение человеческой фигуры, и «Милле, например, в своих фигурах крестьян, по мнению автора, дал мир форм, который имеет ту же ценность выражения, как и нагота. Интерес к изображению нагого тела старается найти и исчерпать все возможности этого изображения. Одну из первых возможностей дает мир легких женщин. «И снова эротический момент,— восклицает Гаузенштейн,— появляется в роли творческого художественного момента». «Маха» Гойи, «Олимпия» Малэ, нагие тела Макарта—все это произведения, продиктованные эротикой. На-ряду с эротикой является купанье, давшее некоторым художникам материал для создания грандиозных современных форм искусства изображения нагого тела.

Кроме этих источников для изображения наготы Гаузенштейн указывает еще на три категории найденных художниками об'ектов наготы: Гоген стал изображать нагих таитянок, Менье нашел свою натуру в угольных

шахтах. Наконец, последний вид изображения нагого тела в XIX веке это—превращение этого изображения в орнамент, который переносит выразительность в абстрактную область, туда, где воспоминание о настоящем теле испаряется. Представителями этого направления являются: Ходлер, Матис и Марэ. Последний —«величайший создатель новаго декоративного стиля. Он владел сказочным искусством так трактовать нагое тело, что оно оказывалось вне всякого сравнения с нашей действительностью. Оно является чем-то несоизмеримым — произведением совершенно абстрактной чистоты и все-таки совершенно современным, порожденным потребностью эпохи». Это искусство проникнуто тоской — стать частью жизни.

Но это может случиться только тогда, когда для этого в самой жизни организуются соответствующие коллективы. Коллективы, созревшие для этого, еще не родились. «Но,—добавляет Гаузенштейн,—художник освещает им путь... Великий коллектив уже каким-то образом существовал во времена, когда художник создавал этот новый стиль».

Таков, в очень сжатом виде, очерк развития изображения наготы в искусстве. Сделаем попытку свести эту историю, охватывающую в небольшой работе Гаузенштейна искусство от времен первобытного человека до наших дней, к нескольким основным положениям.

Первым основным выводом, который можно сделать из этой части книги, будет тот, что изображение нагого человеческого тела в искусстве находится в более или менее прямой зависимости от отношения к нагому телу в тот или иной период истории человечества. Эту последнюю Гаузенштейн делит на четыре эпохи: первая — до античной Греции, вторая — Греция, третья—христианский мир (до эпохи Возрождения) и, наконец, четвертая— от Возрождения до двадцатого столетия. Внутри эти эпохи делятся на отдельные периоды, в связи с изменениями социально-экономического и культурного порядка. Из этих эпох наибольшего расцвета нагота в искусстве достигает в тот период античной Греции, когда в ней процветал культ нагого человеческого тела. Тело, как явление, имеющее высокую общественную ценность, привело к созданию высочайшего статуарного искусства, отразившего тип совершенного в телесном отношении гражданина. Итак, положительное отношение к наготе в жизни привело к великим достижениям в изображении этой наготы в искусстве. Это было искусство анонимно-индивидуального характера, запечатлевшего некий синтетический идеал одной из сторон общественной жизни. Побуждений к созданию таких изображений следует искать отнюдь не в целях искусства, как таковогo: «Античность ценила больше наготу,—говорит Гаузенштейн,—чем изображение наготы». И далее: «Для эллинов искусство есть средство, а не цель. Цель эта — общее развитие жизненной энергии единичных личностей в рамках государства, общины свободных людей... Художник, это — помощник, которым эллин, образованный в полном смысле слова Kallos Kagathos, пользуется как и другими ремесленниками, который может способствовать совершенству жизненного аппарата образованного человека».

Второй вывод, вытекающий из первого, можно формулировать такими словами: отрицательное отношение к нагому телу и его культивированию соответственным образом отразилось и в искусстве. Это положение в свою очередь приводило к различным результатам, в зависимости от характера этого отрицательного отношения, а именно: нагое тело вызывало к себе презрение, как показатель бедности, жалкости, общественной ничтожности — мотив социальный, или нагота возбуждала против себя гонение, как источник эротического возбуждения,— мотив моральный. В первом случае мы будем иметь соответственное изображение наготы в искусстве — в виде жалкого тела пролетария, христианского мученика, карикатуры и т. п. Во втором случае нагота в искусстве почти не имеет отражения, если моральные воздействия настолько сильны, что могут превратиться в фактическое запрещение. Если же побеждают обратные культурные условия, то эротический мотив побеждает, но об этом ниже. Изображение тела, не признаваемого имеющим свою ценность, а, напротив, являющегося показателем социальной приниженности, дает жанровое искусство. Побуждений, вызывающих такое искусство к жизни, следует искать в целях чисто художественных, в наличности интереса к телу, как об'екту изображения, и к изображению его таким, каким его можно наблюдать в окружающей действительности. Таковы флорентийские дети и ремесленники, таковы изображения рабочих в XIX веке.

Наконец, третий вывод, который мы делаем, касается одного из сильнейших, как это утверждает Гаузенштейн, побудителей к изображению наготы. Этот побудитель — эротическое возбуждение. Через все исследование немецкого ученого отчетливо проходит этот мотив. Во все эпохи истории человечества, начиная с первобытной, изображение наготы связано с эротическими инстинктами. Эротикой создан ряд палеолетических памятников, эротика проявляется в древне-восточном искусстве, «напряженной чувственностью» отличается позднее индусское средневековье, «невообразимую чувственность» усматривает он в стенной живописи Кусейр-Амры; не говоря уже о женской наготе, «одухотворенная эротика» гомосексуальной любви у греков создает очаровательные образы юношей, эротика является исходным пунктом искусства наготы Ренессанса, «безудержная эротика,—как говорит Гаузенштейн, — высокоэротическая и демагогическая чувственность» даже не может быть скрыта одеждой в эпоху барокко, «восемнадцатое столетие развивает возможности изображения нагого тела сначала только из эротической ценности женского тела», в девятнадцатом столетии «снова эротический элемент появляется в роли творческого художественного момента», искусство Макарта «насквозь чувственно». Таково положение вещей, как его конструирует Гаузенштейн. И не только констатирует, а, как это уже видно из некоторых даваемых им эротике определений, и оценивает этот мотив. Он с нескрываемым восторгом подчеркивает то громадное влияние, которое чувственные мотивы имели на искусство изображения нагого тела, и считает мещанством отрицательное отношение к изображению наготы, если это изображение является выражением эротического возбуждения. «Если эротика создает художественную линию подобную той, что создана

искусством рококо, то мы должны воздать хвалу миру, который сделал возможным подобную красоту». Для искусства является неоценимым счастьем, что существуют кокотки: «Маха» Гойи, «Олимпия» Марэ и многие другие великолепные изображения женских нагих тел не были написаны—во всяком случае написаны не с таким органическим величием, которое вытекает из функции кокотки, из изображения ее привычной наготы».

Таковы основные положения, которые при интесивном изучении второй части книги Гаузенштейна, мы смогли извлечь из нее.

И вот возникает вопрос: дал ли автор ясный, более или менее исчерпывающий и убедительный ответ на поставленное им себе задание—показать, как вообще общественно-исторические условия сделали возможным изображение нагой человеческой фигуры? И приходится ответить на этот вопрос, к сожалению, отрицательно. Если главным побудителем, как это утверждает Гаузенштейн, для изображения нагого человеческого тела во все эпохи был эротический мотив, то можно ли этот мотив квалифицировать, как общественно-исторический? Думаем, что нет, и полагаем, что такой мотив нужно назвать физиологическим. Правда, художественное выражение этого мотива или поощрялось, или сдерживалось общественно-историческими условиями, как это явствует из книги Гаузенштейна, и в сущности играло второстепенную роль. Конечно, изображение нагого тела, вызванное изучением анатомии, об'ясняется известными культурными условиями, равно как и изображение античного победителя на состязаниях есть результат определенного культурного момента. Но автор не всегда с одинаковой убедительностью доказывает эту зависимость. Так, говоря о греческом искусстве, он заявляет: «Приблизительно с 300-го года начинается процветание анатомии. Но с этого-то времени начинается и жалкое состояние греческого искусства». Такое заявление остается только заявлением и отнюдь не убеждает нас в том, что действительно изучение анатомии было причиной упадка скульптуры, тем более, что та же анатомия в эпоху Возрождения и научный дух, пробужденный ею в искусстве, как будто одобряются автором. С другой стороны, в этих заявлениях мы видим суб'ективную оценку произведений искусства, но не видим доказательства того, что интерес к анатомии был причиной, а не следствием интереса к человеческому телу.

Что касается зависимости между культом тела в Греции и изображением наготы у них, то и в этом случае автор констатирует существование определенных одновременных явлений, и вряд ли в данном случае, как и в другом подобном, культ тела был причиной его изображения. Нагое тело могло изображаться потому, что оно было перед глазами художника, как это было всюду и всегда (наприм., сцена купанья), а не потому, что этого требовала определенная культура. Сам автор говорит, что античность ценила не изображение наготы, а самую наготу.

Тут мы подходим к определению основного характера работы Гаузенштейна и решаемся утверждать, что это не есть исследование культурных предпосылок наготы, как называется эта работа, а апофеоз наготы. Автор проникнут каким-то «эротическим восторгом», — пользуясь его стилем,—

перед нагим телом, и, надо отдать ему справедливость, он с большим и неподдельным пафосом выражает этот восторг на сотне страниц. Правильность нашего предположения подтверждает и количество и характер тех иллюстраций, которые рассеяны в книге и приложены в конце ее. И здесь преобладает главным образом одухотворенная и неодухотворенная эротика.

В этом характере может быть и достоинство, и недостаток книги, это дело суб'ективной оценки, но об'ективно можно сказать, что перед нами труд не научного исследователя, а восторженного поклонника «нагой красоты» в искусстве. Этот стиль восторга выдержан до конца, но благодаря этому получается некоторая неожиданность для читателя, который, прочтя первую часть, ищет во второй органического продолжения в связи с первой, и не находит его. Перед ним две разные книги, очень мало между собой связанные, но почему-то названные первой и второй частью будто бы одного целого. И если в первой части автор сделал попытку как-то марксистски подойти к изучению искусства, то во второй он, повидимому, об этом подходе совершенно забыл.

В результате вторая часть не усиливает, а ослабляет значение первой и пробуждает в читателе невольные сомнения в достаточной убежденности автора в том credo, о котором он заявил в начале своей книги.

О шестой державе и ее „наследном принце".

(По поводу одного журнала) [1]).

Ник. Смирнов.

Газета «Правда» взяла на себя благодарную задачу издания журнала «Рабочий Корреспондент».

Что такое рабочий корреспондент?

На 4-м Всероссийском С'езде работников печати, вслед за докладом т. Вардина, на трибуну поднялся пожилой серебрянобородый человек в пушистом сибирском тулупе. Человек смущенно оглядывал замолчавший зал, пробовал улыбнуться, мял в руках барашковую шапку и, наконец, заговорил. Говорил он коротко и сильно: отрывистым языком вечно угрюмого рабочего, сказал очень немного, но в немногом—все. О себе и о печати.

— Я, товарищи, сын кузнеца, учился всего две зимы в народной школе. После революции стал искать истины. Нашел ее в том, чтобы стать рабочим корреспондентом.

Как он стал рабочим корреспондентом?

В феврале 1920 г. в Екатеринбурге — оратор был екатеринбургским делегатом—останавливался на несколько дней Троцкий. Тов. Троцкий, вместе с железнодорожниками, работал на субботнике. Вождю Красной армии, лопатой расчищающему занесенный снегами железнодорожный путь, и была посвящена первая заметка 50-летнего рабкора — назовем его фамилию: тов. Гаева.

На субботнике, где работал Троцкий, была, быть может, не одна сотня рабочих. Написал же об этом только один т. Гаев, «искавший истину». Здесь в искании истины, в стремлении поведать ее тысячам своих товарищей по станку и мастерской, поговорить с ними о выдающемся и примечательном эпизоде их быта, избрав трибуной газету, — один из наиболее серьезных вопросов рабкоровской работы.

Рабкоровская работа — ответственная работа. Рабочий корреспондент — молекулярная часть массы, прежде всего, наиболее активный, наиболее сознательный, наиболее передовой и квалифицированный рабочий.

---

[1]) „Рабочий Корреспондент", издание „Правды", №№ 1, 2, 3—4, 1924 г.

Рабочий-общественник и притом в самом широком, почти всеоб'емлющем смысле.

Общественник по призванию. Но не по «признанию».

В своей рабкоровской, т.-е. общественно-политической, работе он, кроме чувства ответственности и пролетарской честности, не должен быть связан ничем. Говоря короче, рабочий становится газетным корреспондентом исключительно по закону органического тяготения, по принципу добровольчества. Практикуемая (или практиковавшаяся) кое-где «выборность» рабкоров, «назначенство» их в порядке официальном влекут за собой обязательное окостенение и омертвение их работы, сводя рабкора к роли статиста, «писца» и попросту «отписчика».

Рабкор — воспитательно-воздействующая, контролирующая, направляющая и исправляющая сила. Рабкоровское движение у нас еще очень молодо и в значительной части стихийно распылено, разбросано, разобщено. В редакционном предисловии к «Рабочему Корреспонденту» говорится: «Многое предстоит еще сделать в этом отношении. Надо помочь усилить приток рабкоров к газете, рабкоровским об'единениям избрать верный путь для воспитания опытных корреспондентов, наметить лучшие методы работы и формы организации, найти пути для лучшей защиты рабкоров от всевозможных преследований и проч. Выполнить эти задачи может лишь коллективная мысль самих рабкоров и их организации».

Сплав коллективной рабкоровской мысли, учет опыта уже проделанной работы, очертание ее дальнейших путей—и является целью рецензируемого журнала. Вышедшие книжки — очень опрятные, очень содержательные, очень разнообразные, подтверждают, что цель, поставленная журналом, будет достигнута. Журнал поможет росту рабкоровского движения, придаст необходимую гармоничность и цельность его развитию, сплотит разбросанные по заводам отдельные рабкоровские силы в действительно могучий союз борьбы за будущего журналиста и будущую печать, подлинно «шестую державу».

Когда перелистываешь книжки «Рабочего Корреспондента», прежде всего думаешь о нашей ежедневной печати и ее работниках.

У нас нет — и как хорошо, что нет! — так называемой «свободной, независимой печати». Наша коммунистическая печать—монополист и гегемон печати рабоче-крестьянского государства. Это накладывает на нее величайшие обязанности и величайшую ответственность. Наша газета, кроме своих непосредственных, специфически-газетных—информационных — задач, имеет и другие (основные) задачи: выдержанно-твердое политическое воспитание массы. Наша газета — великий коммунистический рупор — не только информирует, но, главным образом, как и всякая газета, агитирует, воспитывает своего читателя в определенном, необходимом ему, направлении, организовывает его. Основные задачи советская печать выполняет успешно: наша победа в гражданской войне обязана, в известной части, и советскому печатному слову.

Советская печать диаметрально-противоположна печати капиталистически-буржуазного государства. Буржуазная газета — величайшая, цинич-

нейшая проститутка слова — строится на фундаменте так называемой сенсации, трюкизма, ханжества, фарисейства, чудовищной растленности и лжи. Подкуп, мелкое и крупное сутенерство, самодовольное шарлатанство, беззастенчивая торговля талантом и словом, — обычные (и необходимые) спутники каждой крупной, богатой и влиятельной, т.-е. «приличной» и «солидной», буржуазной газеты. Да будет позволено привести маленькую беседу с бывшим «королем хроникеров» дореволюционной российской печати, ныне честно работающим, в качестве технической силы, в одной из крупных советских газет.

— Каковы были условия вашей работы?

Мой собеседник — он работал в наиболее распространенной, либеральствующей газете — улыбаясь, вспомнил прошлое.

— Великолепные: когда я проезжал по Москве, мне козырял каждый городовой.

— В знак уважения?

— Нет, он знал, что к рождеству и пасхе получит пятерку.

Получали — и соответственно «табели по рангам» — все: городовой — пятерку, околоточный — десятку, барышня-телеграфистка — коробку шоколада и т. д. — вплоть до цензоров и влиятельных сотрудников градоначальства.

В результате же в кабинете «короля хроникеров» стоял тайный телефон, извещавший его — вместе с градоначальником — о всех городских новостях.

А отсюда — обилие и свежесть информации, ставящие газету «вне конкуренции». Так работала (а на Западе работает и, притом, в форме более широкой и углубленной) буржуазная печать.

Советская печать основана исключительно на началах правдивости и добросовестности. Но, как ежедневная печать, она скучновата и бледна. Располагая величайшими возможностями и величайшим, «просящимся в руки» бытовым материалом, наша печать все же страдает малокровием, худосочием и ревматизмом позвоночника: ее информационные отделы решительно слабы. Случается всегда так, что она, за исключением официально-цифрового, не дает никакого материала ни о новом советском строительстве, ни о замечательнейших проявлениях самодеятельности и самоорганизации широких трудовых масс, ни о быте, переживающем эпоху стремительных толчков, разрушений и созиданий. Нашей печати не хватает живости, т.-е. слиянности и сращенности с повседневной работой трудящихся слоев государства. Рабочий корреспондент должен сыграть в этом отношении огромную роль. Приближая газету к массе, он вносит в газету свежее веяние подлинной, не мертвенно-цифровой, а в ее настоящем виде — радостной и скорбной — жизни. Конечно, рабочий корреспондент — только составная и необходимая частица газеты, но в нем — и в застенчивом подростке, и в стареющем, седеющем работнике — скрыт прообраз будущего журналиста, журналиста социалистического будущего.

Этого никогда не надо забывать в рабкоре. Никогда не надо забывать того, что рабкор освежает не только газету, но и мастерскую газетного цеха.

О работниках печати мне, газетчику-профессионалу, трудно говорить. Если между буржуазной и советской газетой можно провести глубочайший водораздел, то между работниками той и иной печати — увы! — особенно резкой грани проводить не приходится. Зависит это, разумеется, от того, что в своей значительной части наша печать снабжается материалом через старые журналистские каналы: журналистов-коммунистов у нас не так много. Но, — признаемся с грустью, — и журналисты-коммунисты и н о г д а, в процессе газетной работы, перерождаются, становясь «специфическими» газетчиками, отталкивающимися от общественности, замыкающимися в ограниченный мирок рукописей, гранок и... строк (там, где они существуют). И все же мы можем гордиться: пролетарская Россия имеет честного работника печати, честного труженика газеты, ибо того, чем был старый журналист, у нас нет. Журналист капиталистической печати, всегда причисляющий себя к работникам «искусства», есть наиболее худшая разновидность человеческой особи. Некультурный и самодовольный, лицемерно-добродетельный и неизменно развращенный, «всезнайка» и ограниченный пошляк, величайший мещанин и вылощенный тупица, — он в Советской России уже отошел в прошлое. Но, отойдя (а такими журналистами, кстати, мы считаем «крупных» и «признанных» газетных единиц), — все же оставил память и наследство: нездоровая атмосфера наших некоторых газет проистекает, главным образом, из родников старых—о, нисколько не добрых!—газетных традиций.

Рабочий корреспондент — первообраз нового журналиста — начальная ступень той новой лестницы, по которой поднимается советская печать. Рабкоры — «молодое и незнакомое племя» в истории российской (и вообще) журналистики. Новый, особенно свежий пласт советской общественности. В первой книжке лежащего перед нами журнала тов. Бухарин именно так, как своеобразно-промежуточную общественную прослойку, и определяет рабкоровские организации, служащие великому делу связи с массами и втягивания масс в общепролетарскую работу. «Между основными рабочими организациями и рабочей массой должны возникнуть сотни и тысячи маленьких и больших, быстро движущихся добровольных обществ, кружков, об'единений, которые были бы подсобной силой этих основных организаций». Одним из таких об'единений (прибавим: первостепенных) и являются рабкоровские об'единения, «добровольные об'единения любителей рабкоровского дела».

Но все это отнюдь не налагает на организацию рабкоров печать какой-либо казенности и официальности. Цитируем ту же статью т. Бухарина («Диктатура пролетариата и рабкоровские организации»): «Рабкоровские организации должны отличаться тем, что по вопросам рабкоровской газеты они не должны выносить строго обязательных решений. Они скорее должны быть чем-то вроде к о н с у л ь т а ц и о н н ы х б ю р о; т.-е., подытоживая опыт всей работы, они должны выносить необязательные решения, а советы. Советы эти могут приниматься к исполнению или нет. Это дело товарищей,

работающих на местах. Их работа у всех перед глазами. Она проверяется всеми и каждым. Она допускает и даже требует бесконечного разнообразия форм, способов, методов. На конференциях, с'ездах, совещаниях все это обсуждается, подводятся итоги, делаются выводы. И только».

Таким образом, рабкоровская работа — исключительно инициативная и самодеятельная работа. В чем же она заключается, и каковы ее методы?

«Рабкор — голос самой массы». Рабкор — частица массы, товарищ, живущий в ее недрах, знающий ее быт и мысли, наблюдающий (и сам переживающий) ее горести, радости и надежды.

Основное значение рабкора — читаем статью т. Борисова в той же книжке журнала — сводятся к тому, что: «1) рабкор, выражая мнение рабочих, тесно связан с заводской жизнью и стоит под контролем рабочей массы; 2) рабкор, связывая рабочего с газетой, является активным организатором в общественной жизни и, находясь под контролем массы, является в то же время организатором контроля над жизнью предприятия».

А современный быт фабрично-заводского предприятия и рабочей массы— быт ослепительно-любопытный, полный глубочайших сдвигов, падений, под'емов и внутренних переслоений. Мы мало знаем современный рабочий быт. Наша художественная литература, основная задача которой сводится к познанию жизни, берет областью своих наблюдений и изучений или деревню, или город (в его показной форме), упорно проходя мимо фабричного корпуса. Рабочая казарма, как и городская окраина, долго еще, очевидно, будет ждать своего художника и бытописателя. Бытовая переплавка в недрах рабочей массы развертывается все стремительнее и шире, разрушая не только незначительные и ломкие наслоения старых привычек и прививок, но подтачивая и духовную сердцевину прошлого: вековую религиозность, застарелую покорность, внутрисемейную зависимость и т. д. Раб машины, ставший ее обладателем, постепенно завоевывает и свои человеческие права. Конечно, до полного освобождения рабочего из векового плена еще далеко. Для этого нужны не казармы, а гигиеничные, светлые, сухие комнаты и максимальные технические усовершенствования производства, но основные предпосылки к неуклонному и благотворному перерождению все же завоеваны.

Но... «мертвый хватает живого». В рабочем быту еще много уродливых и болезненных явлений. Наш рабочий класс, в известной мере, все еще бескультурен и недоразвит. Стихийная тяга к знанию, пробудившаяся в нем, часто гаснет не только в цинковых кружках с пенистым пивом, но имеет своей искупающей причиной и другие, об'ективные условия: полное отсутствие руководства и системы. Возьмите рабочие клубы. Они посещаются очень охотно, но там, кроме спектаклей — старой сентиментальной драмы или апашского фарса, найти ничего нельзя. Взгляните на фабрично-заводские библиотеки. В них довольно много хорошей — и публицистической и художественной — литературы, но читается в большинстве «Тарзан», успешно конкурирующий с незабвенными Нат Пинкертонами и Ник Картерами. Отсюда ясно, что, на-ряду с усилением политическо-воспитательной и культурной работы в рабочих массах, необходимо пробудить в них культурно-

общественную самодеятельность, идя по линии хотя бы традиционных кружков самообразования. Пока же в этой области дело обстоит более, чем печально. По всем рабочим районам Москвы у нас насчитывается, как писал недавно в «Правде» тов. М. Рютин, всего 17 кружков самообразования, половина которых малодеятельна и нежизнеспособна.

Все вышеизложенное — к тому, что в областях бытовой и первично-культурной для рабочего корреспондента открыты широчайшие возможности работы. Рабочий корреспондент — не только информатор (по газетному — репортер), но и рабочий-книгоноша, огнеупорное и неплавкое звено не расторжимой ни на минуту смычки между рабочей властью и широчайшими рабочими массами. — Таким должен быть настоящий рабкор, рабкор по призванию и тяготению.

Отражая через газету — зеркало повседневной жизни — жизнь рабочего, рабочий корреспондент служит великому общепролетарскому делу. Его газетные заметки и корреспонденции, при условии, если они абсолютно правдивы и искренни, являются миниатюрным зеркалом быта и настроений рабочих. Миссия рабкора не только благодарна, но и чрезвычайно ответственна. Он, служа общепролетарскому делу, борется за улучшение условий труда, за новый быт, за проведение — опять в первичной форме — социалистических начал.

Он, рабочий, крепко сращенный с массой, должен быть, на-ряду с ячейкой Р. К. П., завкомами и т. п., неугомонным, горячим общественником, подталкивающим массы на путь культурного и бытового перерождения.

Ясно, что в известных условиях он может оказаться «рыцарем печального образа», Дон-Кихотом, воюющим с ветряными мельницами, но в этом случае надежной броней и служит рабкоровская организация, спаянная единомыслием и общностью задач.

Рабкоровская работа протекает, в большинстве, в решительно нездоровой и неблагоприятной атмосфере. Наш администратор-хозяйственник частично сохранил, по примеру своих предшественников, неприязнь (или, вернее, холодное безразличие) к гласности. Администратор-хозяйственник, хотя бы единожды «согрешивший», питает к ней определенную, вполне понятную вражду. В последнем случае рабкор выступает уже как активный борец, своей работой облегчая работу следственных органов и органов Р.-К. И. Роль рабкора в общегосударственной борьбе с хищничеством и злоупотреблениями — огромна. Об этом всегда будет напоминать пример т. Спиридонова, рабкора б. Цинделевской фабрики, убитого разоблаченной им администрацией. В своей предсмертной статье тов. Спиридонов, уже загнанный и затравленный, писал в «Правде»: «Или уйти совсем со сцены, несмотря на то, что есть желание работать, или же работать, зная определенно наперед, что тебе отомстят и не нынче-завтра найдут предлог убрать куда-нибудь подальше».

Эти горькие слова должны послужить для честного рабочего корреспондента не предостережением, а толчком к выдержке и твердости. В них блестяще обрисовывается сущность рабкора, как активного борца, но в них — и

крик о помощи, уже услышанный: рабочий корреспондент находится под крепчайшей защитой Советской власти.

Каковы же, однако, основные задачи рабочего корреспондента?

Тов. Бухарин, в другой своей статье («Заветы Ленина и рабкоры») формулирует их так:

«1) уметь слушать; 2) уметь воздействовать; 3) быть практичным; не болтать зря; 4) быть изобретательным в борьбе со злом; 5) доводить дело до конца; 6) втягивать массы; 7) быть ближе к производству».

Это—настольные заповеди рабкора, охватывающие и обосновывающие всю суть его работы. В самом деле.—Уметь слушать—значит, постоянно вращаясь в массе, подметить и уловить то, что в настоящий момент является барометром ее умонастроений и интересов. Отсюда—свежесть, злободневность и ценность информации (в ее широчайшем, со всеми последствиями, смысле). Уметь воздействовать — «уметь итти с массой, но быть в первых рядах», т.-е., беря слагаемые коллективной мысли, придать им определенную суммирующую обосновку, поднять их над уровнем отдельных интересов до интересов коллективных, интересов всей массы. Здесь работа рабкора обрисовывается как работа политическо-воспитательная.

Практичность рабкора, его изобретательность в борьбе со злом, ставят перед ним все те же задачи: теснейшую слиянность с массой и—в интересах ее—стратегическую изощренность войны со всем, прямо или косвенно направленным против массы. Доведение же войны «до победоносного конца» вручает в руки рабкора меч великой твердости, т.-е., попросту, требует от него, в первую голову, честности и осознания смысла взятых на себя обязанностей.

Две последние заповеди — втягивание масс в активное советское строительство и теснейшее приближение производства к его нуждам — выдвигают на очередь в настоящее время забытый, но нисколько не потерявший своей острой свежести вопрос о производственной пропаганде. Производственником-пропагандистом и должен быть, кроме всего прочего, рабочий корреспондент.

Задача рабочего корреспондента, таким образом, не только велика, но и—без преувеличения—огромна. Вполне понятно, что отсюда проистекает неизбежность тщательного воспитания и самовоспитания рабкора. «Чтобы осуществить эту свою, такой громадной важности задачу, рабкор должен неустанно работать и над собой. Он должен как можно лучше, как можно глубже изучать коммунистическую теорию, должен вооружиться, если можно так выразиться, коммунистическими очками, и через них пристально смотреть на повседневную рабочую жизнь. Он должен уметь зацепиться за самое существенное, характерное, типичное, на него накинуть ремень привода к пролетарской идеологии». (Из статьи Н. К. Крупской: «Контроль массы и рабкоры»).

Кое-что в этом отношении уже делается. В № 3 — 4 книжки рецензируемого журнала, в очерке «Некоторые итоги», М. И. Ульянова приводит пример организованных в Баку курсов для рабкоров, продолжительностью

в пять месяцев и с программой, посвященной преимущественно истории и технике газетного дела. Но здесь дело идет, строго говоря, уже не о рабочих корреспондентах, а о рабочих журналистах, новом грядущем кадре работников печати. Рабочий журналист, однако,—еще будущее, рабочий корреспондент—его прообраз—настоящее. А в настоящее время важен и ценен именно рабкор, осуществляющий связь с газетой, с трудовыми слоями рабоче-крестьянского государства, т.-е. связь рабоче-крестьянской власти с ее фундаментом: с массой.

Не менее важен, однако,—о нем в журнале упоминается только мимоходом—и деревенский, крестьянский корреспондент, необходимейший элемент провинциальной (особенно уездной) газеты. Если работа рабкора, несмотря на всю неблагоприятность обстановки, значительно облегчена его близостью к производственным органам и редакции, то крестьянский корреспондент находится всецело во власти деревенской стихии. Его работа особенно огромна и трудна.

Когда я думаю о крестьянском корреспонденте, передо мной неизменно встает образ славного юноши, Николая Иовлева. Николай Иовлев—крестьянский самородок-самоучка. Был пастухом, потом разносчиком газет, приказчиком в книжной лавке. Много читал, много учился. Вернувшись после царской войны с фронта, сдал экзамен на сельского учителя. Учительствовал, работал в волостной ячейке. Участвовал в гражданской войне. Потом, раненый, больной и усталый, снова учительствовал. Был газетным корреспондентом. Писал о кулацком засильи, находясь под вечными бичами травли и угроз.

Помню разговор:

— Трудно, вероятно, работать в деревне?

— Невозможно. Дичь, темнота, кулачье.

— Что же делать?

Николай Иовлев, больной юноша, с бледным острым лицом, в меховой папахе, с ало светящимся боевым созвездием, подергивал губами и хмурился:

— Бороться до конца.

И не сдавался: организовывал бедноту, отчаянно, трагически, главным образом через печать, боролся со старой деревней, поднимающей лохматую голову зверя. Боролся до конца, пока не погиб. Иовлева убили.

Убийство Иовлева, деревенского корреспондента, — не единичное убийство. Деревенский корреспондент и до сих пор работает под постоянной угрозой. В сторону деревенского корреспондента должно быть обращено всяческое внимание советской общественности.

Не надо забывать, что по дороге, прокладываемой рабочими и крестьянскими корреспондентами, придет новый журналист, «наследный принц» шестой державы. Новый журналист будет писать не «кровью сердца и соком нервов» (ибо в применении к журналистике сия «кровь» была лишь винными пятнами, «сок» же—клюквенным соком), а скальпелем пролетарского самосознания и твердой рукой классовой совести.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Соболь. Обломки. Третья книга рассказов 1920—1923 г.г. Круг. Москва—Петербург 1923 г. Стр. 224.

Соболь следит и испытует стихию рока в человеческой судьбе. По воле рока гражданин Пузик родился евреем, „с катастрофической бородавкой на носу" и по фамилии—Пузик. По воле рока он мечется по земле, страдая и изнывая в бессмысленных бедствиях, стремительно убирая свою жалкую жизнь из-под занесенной над нею руки,—тайно отуманенный мечтою об обетованной земле, о благословенном покое. Рок сталкивает Пузика, в последнем его бегстве, со штабс-капитаном Синелюком и присяжным поверенным Вересовым в погребе Корнея Повидлы, укрывателя пограничных беглецов; рок топит его в ночной реке в виду румынского берега („Погреб").

И если Пузик все же неустанно борется и сопротивляется идущим на него страданиям и гибели, если поэт и Мирович („Обломки"), изломанные и уже не способные к борьбе каждый по-своему судорожно сопротивляются и хотели бы бороться с опрокидывающим их роком в лице интернационального джентльмена Трога, то комиссар Временного Правительства Гиляров, Петр Федорович, — особоуполномоченный соединенной комиссии по обследованию фронта и тыла,— уже не борется, не хочет и не может бороться, а весь отдается увлекательным, несущим к гибели, разящим волнам рока, упивается ими, как музыкой, как пением сирен, в сладостном безличии, потеряв себя, предав себя и все, замагниченный фосфорическим глазом разверзающейся бездны, захлестнутый ритмом мятущегося хаоса, пораженный чувством первоначальной вины и грозящей расплаты, в сладко-безумящем ужасе, в пассивной готовности к гибели, в мучительной и неразрешенной спазме противоречий, попыток опомниться и как-то действовать или бежать—и в неподвижности признания неизбежности и правоты каждого совершающегося шага событий („Салон-вагон").

„Я попал в водоверть,—признается он другому утопленнику, барышне Тоне, „актриске из миниатюры",— страшна она, бешено разворачивается... И все ширится и ширится. Кого заденет—конец тому".

„А при гудке сорвался с места. И снова побежал к платформе, к вокзалу, к гулу, к запаху овчин, махорки, доморощенной сивухи, к ларькам с воблой, к облупленным стенам, где спина спину выпирает, где звенят стекла от брани, к грудам тел и мешков, вместе спаянных жадностью, верою, слезами, проклятием, мозолями, к тверской, вятской, черниговской, олонецкой, пензенской волне—к водоверти: еще раз заглянуть, еще раз убедиться, еще раз понять" (85).

Повесть „Салон-вагон" — это симфония стихии рока, песнь о нем, страстно и бурно пропетая Соболю страшной современностью,—четко, плавно и богато пересказанная поэтом нам. Здесь в большое, увлекательно-излитое и живо выписанное полотно втянута старая, превращающаяся Россия, ее движущаяся масса: армия, тыл, беженцы, народ, — в гремучей пестроте и движении, в многоличии и многообразии стройно несущихся хоров, общего—вблизи распадающегося на единицы, на множество, на отдельности, на неповторимости, на лица, на единственное, однажды пережитое чувство... Соболю удается сочетать музыку целого, ковер общего с отдельными контурами проходящих, но незаменимых, действительных частностей, с немногими отдельными героями, несущимися более или менее заметными порошинками в закружившемся тучей времени и с единичными, в упор написанными лицами главных героев, которые смотрят из огромного движущегося хаоса целого, как из рамы, глазами эпохи, смыслом времени. И вдали от этой

встревоженной стихии, от „поднявшейся с насиженных старых мест России“, от развороченного муравейника—таинственный Петербург, как умопостигаемый центр, куда летят телеграммы, донесения, откуда диктуются приказы, тоже „обетованная земля“ („так как, довезешь ее до Питера“? стр. 94).

Передача жуткого чувства рока, необоримого и неуступного, несущего падение и гибель одним, победу и пылание другим—проведена Соболем хотя и одностороние (Соболь рисует только погибающих), но мастерски. Поэт овладел темой, материалом, письмом, средствами изображения, словом. Скупо, точно, тонко, отчетливо, выразительно, верно, свободно выписаны страница за страницей до той последней, пока не разрешается и не разрежается весь закрутившийся цикл событий и сосуществований, выписана без лишних слов (одно-два в обрамлении, напр., „а халат, мягкий и вкрадчивый, как улыбка восточной женщины“, стр. 9), без ненужных отступлений и подробностей, с тем превосходным эпическим тактом: спокойствием, мерностью, сгущенностью и нужным эпитетом, какой отмечает вещи укрепившегося мастера.

О Гилярове можно спорить: не все же в это время и в его положении были Гиляровыми. Но Гиляров самый интересный, самый характерно-выразительный образ и герой эпохи, когда страна собирала и сдвигала силы для гигантской революции, безумела под напором развивающихся вихрей, когда стояло Временное Правительство, внутренне-связанное, бессильное и бьющееся на коротких узлах противоречий и недаром Гиляров „Федорович“, воспитан на сантиментальных романах („Вексфильдский священник“, 23), революционер, террорист, политический каторжник, эмигрант с rue Santé, „где жизнь билась, как птица в силках между тюрьмой и сумасшедшим домом“ (19), романтик (19, 17, 20), мистик (40), потерявший веру во все (35, 45, 72), возжелавший последней жалости („Природа знает жалость и утвердила ее, как утвердила огонь, свет, смерть...“, 72), пожалевший девушку за ее потерянную чистоту, за „дохленькие василечки“ на огромной шляпе и сам упившийся жалостливой любовью ее спасенного из омута самоуничижения и последней гибели сердца („Я гулящая. Слышите?..“, 75). Он собрал в себе все, что мог переиспытать, перечувствовать русский интеллигент на склоне старого времени, он обошел весь круг и пришел к тому „последнему глотку“, который „будет такой же черный и хмельной, как и первый“ (40).

Тот же рок покрывает крылом гибель барона Оскара Оскаровича Фьюбель-Фьютценау („Последнее путешествие барона Фьюбель-Фьютценау“), студийную барышню Валю Сизову („Любовь на Арбате“), играет жизнью атамана Ушастого, перевернувшегося белого офицера („Мимоходом“), приводит в движение и рассыпает группу монстров Паноптикума и красноселимскую группу анархистов-эгоцентристов („Паноптикум“) и превращает степенную залу в прокурорском особняке на Собачей площадке в ночное казино („Собачья Площадка“).

Но то, что одним (Гилярову, напр., стр. 78—79) представляется роком, водовертью, ворожбой, то другими переживается как закономерность, как стройный ход мировых часов.

„Не дивизия взбунтовалась и хочет покинуть передовые позиции,—говорит старый скобелевский генерал растерявшемуся комиссару,—а вся Россия поднялась с насиженных старых мест и идет. Куда? Куда? Идет неуклонно вперед, или неуклонно падает в пропасть? Не знаю, не знаю, но закономерность чувствую и сгибаюсь под ее железной необходимостью“ (26).

Закономерность—это великолепно!

Соболю удаются и маленькие („Мимоходом“) и крупные вещи, он умеет втянуть в маленькое зеркало далекие перспективы и большую картину расположить не утомительно и не расплывчато („Паноптикум“ не в счет!): затянуть драматический узел. Живые мелочи, эфемерные окраски и темы незабываемых и неповторимых дней введены умело в крепкий темп повествования; книга останется памятником (хотя бы и односторонне-исполненным) тех спешно и тревожно пережитых дней.

По манере умного и умеренно организованного письма, Соболя следует отнести к реалистам, хотя некоторые приемы повествования (эмоциональная напитанность языка, достаточно тонко выдержанные контрасты психологических состояний и образов, символизирующие сравнения, напр., стр. 69 сверху и др.) ставят автора в генетическую связь с Леонидом Андрее-

вым. Чувство и восприятие России в эросе ее приводит Соболя к Блоку (стр. 78—79, 90 отрывок сверху, 181 — загл. строка). Философия восходящая к Достоевскому, в которой нет ничего специфического от Соболя, нового („Нет вины, нет виноватых"... стр. 88. „А кто вот эту девочку успокоит? Кто ее утешит, рыженькую?.." — стр. 91, апология жалости—стр. 72, Тоня—Соня Мармеладова, Гиляров—раскаявшийся Раскольников), темы рассказов, выбор и трактовка материала—все подтверждает о принадлежности Соболя к распыленному цеху разночинной интеллигенции, что, в свою очередь, указывает степень поэтической внушаемости и территориального распространения книги „Обломки".

П. Журов.

Владимир Юрезанский. Ржи цветут. Винница 1924.

Пять небольших рассказов Юрезанского (в книге всего 111 стр.) написаны на редкость хорошим языком. Создается впечатление, что это пишет большой, законченный мастер слова, какими были, напр., в свое время Мопассан и наш Ант. Чехов. Фраза у Юрезанского всегда крепка, ясна и красива.

„Звенят, снуют, вьются пчелы. Где-то кудахчут куры. За сараями голосисто, сочно, опьяненно, в сытом, слепом счастьи поет петух". „На террасе накрыт стол. Под низким потолком тень, синь прохлады. Стоят стаканы, желтеет обрызганное капельками воды сливочное масло, сдобно пахнут ломти пышного белого хлеба".

Эти „равнодушные" строки живут: автор умеет передать сердцевину, фокус явления даже тогда, когда это само по себе мало интересно для читателя. А ведь это художественно очень большая точность: слепое счастье петуха и желтизна масла в капельках воды.

Но для подлинного писателя этого еще мало. Недостаточно этого и для конечного завоевания современного читателя. Nature morte пленяет в наше время лишь эпикурействующего эстета. А мы, к нашему счастью, еще не обременены таким плотным бытом и уютом цивилизации, чтобы могли позволить себе роскошь равнодушного любования. Мы безнадежно встре-

воженные люди. И для современного чи теля подлинный мир там, где рушится и где лишь счастливым исключением яв ются всяческие бытовые прелести.

Вл. Юрезанский умеет не замечать это

И он прекрасно (для себя лишь!) у трястся существовать в прошлом. И не только в тех рассказах, которые по чены такой далекой для нас, чуть не ве вой—по своему внутреннему значению, той—„1913 г.", но и в тех, которые на саны им в 1919—1920 г.г. И так странно тать в рассказе „Троицын день" (1920 как учитель Сергей Иванович, возврат шись из сибирской ссылки, „дома нахо большие перемены, все неузнаваемо, ст иным, многие в деревне умерли, мно выросли, вытянулись, как свежий липов тын, только что заплетенный, многие нились" и т. д. Словно читаешь впечат ние безмятежного Чеховского Гаева, сн вернувшегося в свою усадьбу. Слиш уж общи для нас такие перемены, сли ком социально они неразличимы, бесцв ны. И в таких тонах—и чаще хорош Юрезанский рисует нам все: и перв юношескую любовь Германа и Кати, несчастье кулака Кержака, и драму Сте Мордовки и учителя Сергея Ивановича.

Юрезанский не носит в своем писате ском существе ощущения эпохи, в котор он живет.

Что это, упорство или немочь? Дума что первое, и это, повидимому, не так безнадежно: об этом свидетельствуют п следние рассказы писателя, не вошедш в эту книгу.

Время победило упрямца: и в последн его рассказах звучат мотивы, более „чу ствительные" для нашего слуха.

Это упорство, с каким писатель уцеп ся за „1913" год, с неизбежностью клад свой отпечаток не только на содержан рассказов, но и на их стройку. Композ ция рассказов неизмеримо ниже изобраз тельного таланта автора. Вл. Юрезански прекрасно описывает, порой очень непл хо живописует, но он не знает, куда е в конце концов повести своих героев, знает, куда ему двинуться с ними.

И его рассказы совершенно не име социально звучащего резонанса, им ник гда не откликнется широкое читательск эхо. В них нет будоражащей и динамич

ски-крепкой фабулы. Поэтому писатель вынужден по-старомодному свой лирический сюжет о первой любви „Ржи цветут“ обрамлять рамкой старинного сказа о Ермаке.

И так от всей книги и остается это двойственное впечатление.

Нас так далеко всех революция швырнула в будущее, что—хотим мы этого или не хотим—нам уже нет возврата в тихую обитель старой цивилизации и былого уюта. И от писателя требуется, чтобы он подлинно красивое и ценное для человека разыскал вот здесь—в нерассеившемся пороховом дыму, на неостывших могилах, на обломках старых сооружений. Это мы примем. Юрезанскому дан крепкий изобразительный талант. У него должно быть и жизнеупорное чутье художника. Читатель в праве требовать от него произведений в плане современности. Это и будет для него конечным экзаменом на звание русского писателя, жившего во время революции.

В. Правдухин.

Мих. Слонимский. Машина Эмери. Издат. „Атеней“. 1924. Стр. 140.

Вряд ли эти четыре рассказа, собранные в небольшой сборник, заставят кого-нибудь сильно призадуматься или остро сопережить. Они написаны не глупо, с известным мастерством, современны, но обладают одним недостатком: они ни горячи, ни холодны, а только чуть тепловаты. Они не врезываются в память; прочтешь — и скоро забудешь. Их убивает корректность; именно, не объективность — превосходнейшее качество! — а корректность. Автор из вежливости не заглядывает в глубину жизни, не подсматривает в ней зреющее, скрытое—это было бы некорректно — а держится ближе к поверхности, к анекдоту („Сельская идиллия“, „Начальник станции“). Принято говорить в таких случаях, что и Гоголь прибегал к анекдоту. Но забывают при этом, что Гоголь поднимал анекдот на высоту огромного обобщения, а этого-то наши молодые писатели сплошь и рядом не делают.

Наиболее значительным является центральный рассказ сборника: „Машина Эмери“. Основная его идея — это мысль о том, что новые люди: пролетарии, коммунисты — пришли затем, чтобы механизировать жизнь человека. „Откинув книгу, управляющий рудником Олейников думал о том, что хорошо бы механизировать в человеке все, кроме мысли: все чувства, ощущения, желания, — так, чтобы машина не только работала за человека, но и радовалась и страдала бы за него. Тогда огромная испытательная машина—машина Эмери - определит силу, которая ломит человека. Освобожденная мысль сможет холодно разъять механизированную жизнь, отделить радость от страдания и уничтожить страдание“. Так думать может только мономан. Нелепо, конечно, приписывать всю эту ерунду коммунистам.

Что в рассказе хорошо — это типы художника Лютого, Франи, отдельные сцены (например, разговор художника с Олейниковым), описания.

Слаб рассказ „Актриса“. Центральные фигуры—самой актрисы и большевика Меншуткина—автору не удались (второстепенные — Байгер, Сатрапов — лучше). Рассказ к тому же несколько растянут.

На этом можно было бы кончить. Но, прочитав рецензию, я к стыду своему увидал, что она вышла „публицистической“ и что, стало быть, еще раз оказался прав Эйхенбаум, утверждающий, что марксисты — догматики и подгоняют искусство к схемам. Переучиваться никогда не поздно. Я обращаюсь к формалистам: у них, как известно, есть панацея против всякого рода метафизики и импрессионизма, точный и непогрешимый научный метод, позволяющий улавливать в искусстве именно то, что для него специфично. Открываю статью Тынянова („Литературное сегодня“) и читаю: „Рассказы Слонимского построены на отскакивающих пружинах“. Хотя иных пружин, кроме отскакивающих, кажется, не имеется, но смиренно принимаю это оракульское изречение к сведению. Благодарю. Теперь я понял. Рассказы Слонимского на пружинах. Ясно, точно, научно. Отныне буду знать: рассказы Слонимского похожи на матрац, а критика Эйхенбаума и Тынянова — на рыхлую перину.

А. Лежнев.

Павел Низовой. Тени. Рассказы. М. 1924 г. 239 стр. Тир. 10.000 экз.

Сведенные в одну книгу за период почти в десять лет рассказы Павла Низового

явственно распадаются на два слоя. Все написанное им до 1917 г. подернуто густыми тенями прочной Чеховской традиции. Здесь Чеховский пересказ жизни в бескрылом томлении, крепко влипнувшей в паутину быта, Чеховская беззадорная улыбчивость с обильной примесью мечтательного и грустящего сентиментализма. Сюжетная схема всех произведений Низового этого периода—монотонна и крайне незамысловата. В основе почти всех их — достаточно примитивное противопоставление идеала и действительности, неизменно олицетворяемых в образах жены и чужой женщины, столько же недоступной, сколько желанной („жена Сергея—Афимья, худая, малокровная, возится с ребятишками" и „прекрасная графиня Матильда" случайно услышанного за стеной лубочного романа—„Паутина" „грузное тело подруги" и „гимназистка Лиза", случайно уронившая букетик фиалок на пульт захудалого провинциального скрипача — „Фиалки"; „рыхлая дьяконица с красными руками и засаленным платьем на круглом животе" и случайно встреченная „красивая, нарядная незнакомка"—„Весеннее томление" и т. п.). Революция помогла Павлу Низовому из невыразительных эпигонов Чехова выбиться на свой путь, не только оплодотворив его новыми сюжетами, но и влив свежей крови в мир его созерцаний и восприятий. Все его новые рассказы — почти сплошь из деревенского быта. Его новые герои—все эти деревенские Симены—„сделаны топором, обожжены и просмолены", их жесты тверды, поступки покойно-уверены, речи эпичны. Все они, как столяр из „Паутины", вытащенный рыбаками из реки, „с юношеской бодростью вскочили" на ноги, как столетний Пахом над телом только что расстрелянного белыми сына—сказали себе: „теперь решилось, по настоящему надо!" и „неторопливо, твердо зашагали" кто на голодную смерть, кто под винтовки немцев-интервенционистов.

Самое сильное в новых произведениях Низового—общий фон, широкая описательная часть.

Его бессюжетные картинки „В чужой земле", „В вагоне"—лучшее в его книге. Наименее удается ему психологический рисунок, в особенности, когда, оставляя знакомый и близкий деревенский быт, он пытается выводить мир чуждых ему „графинь Матильд" (мадам Уанг — „Тени", княгиня Чугушева—„Час девятый" и др.), изъеденных неврастенией, психическим худосочием и усложненностью городского мечтателя (тени, пана Бета). Все это Низовому надо решительно бросить. Дальше подражания давно сделавшимся штампами готовым литературным образцом (как это случилось с его же отдельно изданной повестью „Язычники"—рабским перепевом на калмыцкий язык Гамсуновского „Пана") на этом пути он не уйдет. А между тем наша деревенская Россия потеряет в нем одного из своих, и не худших, бытописателей. Стиль Низового вскормлен добрыми старыми традициями нашего литературного передвижничества—знаньевцев и т. п., но не лишен выразительности, свежести, местами некоторого вполне законного импрессионизма. Излишне, пожалуй, в нем пристрастие ко всякого рода ультра-натуралистическим непугающим ужасам, вроде выбитого глаза, „перекатывавшегося на ниточках на щеке", и т. п. Сказываются иной раз потуги и на аляповатый стилистический „модерн": „моментами глаза ее расширяются, не мигают, губы застывают в жадной неподвижности, а все члены—это явно угадывается—напрягаются в скульптурной грациозности" и т. п. Это, конечно, все та же „по-княжески" великолепная „графиня Матильда", столь мало уместная на страницах крестьянского писателя. Будем надеяться, что следующая книжка Павла Низового будет цельнее по своему составу, что здоровая и мужественная „мужицкая" стихия возобладает в нем окончательно.

Д. Благой.

Ник. Никитин. „Сейчас на Западе". Берлин — Рур— Лондон. Издательство „Петроград". Ленинград—Москва 1924 г. Стр. 140.

„Эту книжку я прошу считать за путевой гербарий. За четыре с половиной месяца, я перерезал среднюю Европу и острова Англии... и сейчас, приехав на родину, с которой я неразрывно был связан, я хочу поделиться заметками, очерками, статьями о современном Западе. Я даю здесь коллекцию того, что попало в поле моего зрения". Это —„от автора", предваряющего читателя о значении и назначении своей книги. Значение ее, видимо, в том,

что „коллекция“ того, что попало в поле зрения Н. Никитина, должна составить некий „гербарий“—не профессионала путешественника, а прежде всего—художника-писателя. *Назначение*—*в попытке дать* „роман человека, выехавшего из России и попавшего в иную обстановку“. Вот—говорит Н. Никитин—тема этого романа.

Что ж? История литературы знает не мало таких путешествий, написанных то в форме поэмы, то в форме романа. Классический „Фрегат Паллада“ Гончарова, по существу, тоже скорее роман, нежели „путешествие“. Поэтому нас не должно шокировать заявление Н. Никитина, что он счел уместным в эту свою книгу включить и письма к его знакомым. Все это было бы хорошо, если бы делалось спроста: в действительности, все ремарки автора о „гербарии“, „коллекции“, „романе“, „письмах к близким“ и проч. суть не что иное, как определенный литературный прием, или, скажем проще, литературный „фокус-покус“. И когда мы на странице 86 читаем „стиль зависит от настроения, а настроение от состояния желудка“, то мы имеем полное право принять такое признание за подлинный „вопль души“. Стиль книги, действительно, зависит у Никитина от состояния его желудка. Есть у него один излюбленный приемчик: начав что-нибудь рассказывать, он обрывает нить повествования такою фразою—„я бы многое мог тебе рассказать“. Так как „многого“ не следует дальше в изложении, то мы в праве заключить о переломе настроения нашего чрезмерно импрессионистически настроенного автора. И в этом—органический порок книги. В сущности, в ней мало говорится о Лондоне, Руре, Германии—больше всего о самом Никитине, о его спутнике—Б. Пильняке и о тех случайных знакомствах, которые завязывались у него в дороге. Не только познания Европы, но и впечатления о ней не вынесет читатель из „гербария“ Н. Никитина.

„Дождь, солнце, туман, асфальт, газ, горячая и холодная вода, митинги на Трафальгар-Сквере, *английские профессоря*, сухие англичанки — как кости с корсета, — Пикадилли и Странд — морг реклам, грохот реклам, сверх реклам, автобусы, такси, трамваи, вдруг уходящие в землю, и крики мальчишек — „чемпион, чемпион“, и треск *скаутских барабанов, вой дудок, и грохот* авто, вдруг остановившихся по знаку бобби. И тут же нищие мальчишки, которым никто не дает даже $^{1}/_{2}$ пенни. Улица Лондона—вот это“. Это лучшее из тех попыток передать „*чувство Лондона*“, *которые делает* Никитин. Остальное — серо, трафаретно и не идет дальше общих мест о лицемерии мещанской морали англичан.

Гораздо интереснее очерки Никитина о Руре. Интересны они уже тем, что дают более или менее ясное представление о том, в каких формах протекает французская оккупация. Не лишены пикантности и подробности об аресте самого Никитина по доносу агента контр-разведки, схваченного на одной из станций и посаженного в узилище, из которого ему удалось бежать при помощи солидной взятки. Очень хорошо подметил Никитин в разговорах с французскими солдатами-оккупантами то глухое брожение недовольства, которое таится в толще солдатской массы,—недовольства против „господ в цилиндрах“, продолжающих для своей выгоды воевать с „бошами“. Несколько фактов падения дисциплины во французской армии, о которых выразительно рассказано Никитиным, весьма показательное в этом смысле явление. Сильно попорчены эти живые очерки о Руре тем публицистическим пафосом, в который моментами впадает Никитин.

А вот германские впечатления не удались Никитину. Они совершенно тусклы и мало выразительны.

Поражает небрежность Никитина, не потрудившегося, сдавая в набор свой „гербарий“, уничтожить ряд противоречий, убивающих его собственные утверждения. Так, напр., на стр. 22 мы читаем: „я уже говорю по-английски“, а на стр. 76: „нас со всех сторон засыпали вопросами на английском языке, мы языка не знали“. Курьезнее всего то, что в обоих случаях Никитин говорит о своем пребывании на том пароходе, который вез его в Англию, при чем то, что мы прочли на стр. 22, датируется первыми днями его отъезда из Ленинграда, а признание на стр. 76 относится к моменту *приезда в Лондон. Так когда же говорит* Н. Никитин сущую правду—в первом или во втором случае? Очень неприятное впечатление производят дружеские упоминания о Пильняке, с которым Н. Никитин „ссорится и мирится, как молодожен“. Не *следовало бы также злоупотреблять и друже-*

скими упоминаниями разных московских и ленинградских имен. В „гербарий" Н. Никитина попали и актеры первой студии, МХТ, и редактор „России" и проч. и проч. Впрочем, все это идет,— не трудно догадаться,—от Виктора Шкловского, от тех уроков, которые получили на заре своей литературной юности „Серапионовы братья". Н. Никитину пора бы сбросить с себя эти младенческие пеленки. Ведь книга, которую он намеревался написать и которой он дал такое пышное название „Сейчас на Западе"— книга серьезная и ответственная. Ведь не даром же Н. Никитин ездил по европам. Насколько мы знаем, на этот его вояж возлагалось не мало надежд. Думалось, что соприкосновение с современной Европой во многом выпрямит ту неровную идеологическую линию, которая взята им. Я не думаю, чтоб в этом смысле путешествие принесло Н. Никитину много пользы, и я сознательно сказал, что он не написал, а **намеревался написать** книгу о Европе, ибо то, что предложено им сейчас читателю под видом „коллекции", или «гербария», — никак **книгой**, в надлежащем значении этого обязывающего слова, не назовешь. В этом отношении книга Б. Пильняка, все свои впечатления от Англии выразившего в **рассказах**—куда значительней. Читая их, явственно ощущаешь ту атмосферу, которой дышал Пильняк. Их воздух—воздух Англии. Кстати сказать, из „гербария" Никитина мы теперь можем вскрыть целый ряд отдельных эпизодов, легших в основу „английских рассказов" Пильняка. Так, напр., Н. Никитин рассказывает о матросе-китайце, бросившемся в море, и о матросах, разговаривающих о русской революции: все это вошло, как известно, в Пильняковский рассказ „Speranza".

Но есть нечто, что, несмотря на все органические недостатки Никитинских заметок, делает его „гербарий" очень примечательным: это явно осознанная Никитиным неотрывность от России. Соприкосновение с Западом, знакомство, пускай даже поверхностное, с ее „котелковой культурой", оказалось полезным в том смысле, что Никитин мог воочию убедиться в той мещанской, мелко-буржуазной затхлости, которая несет от Европы — Европы буржуа, рантье, филистеров и благочестивых пасторов. Правда, другой Европы, Европы пролетарской, Европы рабочей солидарности, Н. Ники[тин] не видел. Но с нас достаточно и того, [что] он получил отвращение от Европы [бур]жуазной, мещанской. „Россия — замечательная стр[ана"] — заканчивает Н. Никитин свои очерк[и и] утверждает, что, „повидав чужое, он н[е...] что ее не выменяет, и душу за нее отд[аст]". Есть в этой „концовке" некий налет опер[ного] народничества, но если взглянуть по су[ще]ству, то нельзя не заметить существен[ного] в таком признании. Это существенное—в [ре]шительном отрыве от «котелковой ци[ви]лизации". Скверно будет, — если [без] культуры. Но ведь гербарий Никит[ина] был в конце концов составлен из гни[лых] цветов цивилизации лицемерной и мещ[ан]ской.

Юрий Собол[ев]

Л. Д. Троцкий. О. Ленине. Госуд. [Изд.] М. 1924. Стр. 168. Тираж 30.000.

Перед нами не „готовый" Ильич, ка[ким] его узнало настоящее поколение. [Т.] Троцкий дает нам образ Ленина в его [ста]новлении, в его формировании и разви[тии]. Не канон, а канун вождя.

Мы видим, что было время (в 1902 [г.]), когда Ленину очень нравились филос[оф]ские работы А. Богданова, он находил [их] ценными. В. И. недоумевал, отчего Плеханов не одобряет Богданова и г[ово]рит, что „это не материализм" (8 стр.) через 6 лет Ленин выступил против [уче]ния Богданова с тяжелой артиллерией [в] его философского трактата „Материал[изм] и эмкириомонизм" (X том Собр. сочин.

Жаль только, что т. Троцкий был ли[шен] возможности проследить формирова[ние] Ленина с начала 90-х годов до 1902 г. [и в] промежутке времени между 1903 и 1917 [г.] Эту работу, очевидно, предстоит сдел[ать] тем товарищам, которые стояли близк[о к] Ленину именно в эти периоды его жиз[ни]. Надо, чтобы они, следуя Троцкому, д[али] нам не застывший миф, а живую чело[ве]ческую личность вождя.

Еще одно ошибочное представление [о] Ленине рассеивает т. Троцкий. Обы[чно] принято думать, что партия всегда и не[из]менно покорно следовала за Ленин[ым], трепетно ловила каждый взмах его ди[ри]жерской палочки. Троцкий эту легенду р[аз]рушает. Он показывает нам Ленина, бор[...]

щегося с установившимися взглядами партии, Ленина подчас отступающего и одинокого.

„Те разногласия,—повествует т. Троцкий—которые бурно вспыхнули в дни Октября, проявились предварительно уже на нескольких этапах революции" (66 стр.) Автор перечисляет ряд важнейших стычек между вождем и партией. Первая—по приезде Ленина из эмиграции, в связи с его тезисами. Второе столкновение произошло в связи с вооружённой демонстрацией 20 апреля. Третье—вокруг попытки вооруженной демонстрации 10 июня. Затем—конфликты в связи с июльскими днями, с предпарламентом, непосредственно пред октябрьским этапом и после переворота (вокруг вопроса о коалиции с другими социалистическими партиями).

Ленин оказался одиноким в вопросе об отсрочке Учредительного Собрания (92 стр.). Пришлось ему также немало воевать по вопросу о переезде правительства в Москву (107).

На всех поворотах политики Ленину обеспечивала победу отличавшая его целеустремительность, которую так часто отмечает в Ленине т. Троцкий. Та настойчивость упорная, „попирающая все условности, ни пред чем формальным не останавливающаяся целеустремительность, которая составляет основную черту Ленина-вождя" (19). Ленин был „насквозь пронизан той целеустремительностью, которая составляла его духовную природу" (39—40), „насквозь целеустремленной" (42).

Ленин умел выделить центральное для данного момента звено, чтобы, ухватившись за него, дать направление всей цепи. „Этот метод"—тут Троцкий делает блестящий психологический анализ—„из сферы сознания, как бы перешел у него в подсознательное, став в конце концов второй природой его" (110). Академик И. П. Павлов сказал бы: условные рефлексы перешли постепенно в безусловные. Профессор Л. А. Ухтомский говорил бы о доминанте, о главенствующем очаге возбуждения, предопределяющем характер текущих реакций центров в данный момент. Целеустремительность, о которой с такой любовью говорит т. Троцкий (эта целеустремительность составляет „духовную природу" самого т. Троцкого...) есть, по Ухтомскому, та доминанта, которая создается накапливанием возбуждения в определенной группе центров как бы за счет работы других центров. Она держит в своей власти все поле душевной жизни.

Это именно то, о чем Троцкий говорит в другом месте, сопоставляя Мартова с Лениным. „Этот величайший машинист революции не только в политике, но и в теоретических своих работах, и в занятиях философией, и в изучении иностранных языков, и в беседах с людьми был неизменно одержим одной и той же идеей—целью. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостями и разговорами. Ленин подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно" (21—22).

Великолепно проведена Троцким параллель между Марксом и Лениным.—„Маркс родился и вырос, — говорит Троцкий, — на иной национально-культурной почве, дышал иной атмосферой, как и верхи немецкого рабочего класса своими корнями уходят не в мужицкую деревню, а в цеховое ремесло и в сложную городскую культуру средних веков" (147—148). Маркс весь в „Коммунистическом манифесте", в предисловии к своей „Критике", в „Капитале". Если б он даже не был основателем I Интернационала, он навсегда остался бы тем, чем является сейчас. Маркс—величайший представитель интеллигенции, богатый всей ее наукой, порвавший с буржуазным обществом и ставший на почву революционного пролетариата. Маркс—пророк со скрижалями, а Ленин—величайший исполнитель заветов, научающий не пролетарскую аристократию, как Маркс, а классы, народы, на опыте, в тягчайшей обстановке, действуя, маневрируя и побеждая" (161).

Ленин — русский национальный герой, при всем его интернационализме. Все черты активности, мужества, ненависти к застою и насилию, презрения к слабохарактерности, словом все те элементы движения, которые скопились ходом социальных сдвигов и динамикой классовой борьбы,

нашли свое выражение в большевизме и в его гениальном кузнеце — в Ленине. „В этом именно смысле Ленин есть головное выражение национальной стихии" (99). У Ленина „хозяйская мужицкая деловитость, — только в грандиозном масштабе" (148). У Ленина „интуиция действия. Одной стороной своей она сливается с тем, что по-русски зовется сметкой. Это—мужицкая сметка, только с высоким потенциалом развернувшаяся до гениальности, вооруженная последним словом научной мысли" (149).

Троцким дана блестящая характеристика тактики Ленина и его методов действия (стр. 76, 105, 109, 112). Пред нами как живой встает Ленин-оратор (28, 123—130). Отмечены и второстепенные его психологические черты (58, 74 и др.). Попутно даны художественные силуэты таких интересных историко-революционных личностей, как Плеханов (12, 43 и др.), Вера Засулич (17, 30, 35, 40, 44 — 45), П. Б. Аксельрод (40 — 44), Мартов (21, 22, 24). Свердлов (57—58) и друг. Имеется **косвенное** указание, кого из „учеников" Ленин мыслил своими и Троцкого преемниками, лучшей „сменой" (106).

На всем этом мы, за недостатком места, не можем остановиться. Пусть читатель обратится к самой книжке Троцкого. Помимо ее поучительности, она даст читателю глубокое эстетическое удовлетворение. Художественность образов, мастерство стиля, благородство тона и при этом перлы остроумия, приперченные тонкой, но едкой иронией.

Помимо своей прямой задачи работа Троцкого облегчает нам уяснить себе величавую фигуру самого Троцкого. Пред нами встает не только образ почившего вождя, но и образ сплетавшегося с ним в годы революции его героического сподвижника. В этом дополнительная заслуга книжки.

Г. Даян.

„Новый Восток", издается Всероссийской Научной Ассоциацией Востоковедения при Н. К. Н., №№ 1, 2, 3 и 4. Москва 1923 г.

Всякий новый факт, свидетельствующий о том, что пролетариат призван историей не только к разрушению, но и к созиданию, и главное всякий такой факт, исходящий из среды того пролетариата, который достаточно хорошо разрушал, является в миллион раз более ценным фактом, чем самые блестящие подвиги некоторых „героев" и „полководцев".

Таким фактом нужно признать и то явление, которое сводится к тому, что Советская власть, закрепивши отвоеванные у буржуазии позиции, начинает созидать не только в области материальной культуры, но и в различных областях теории, при чем созидание это,—творчество не оторвано от жизни, от хода вещей, а, напротив, исследуя этот ход вещей, заставляет эти вещи двигаться быстрее и именно в том направлении, в каком это наиболее выгодно и полезно пролетариату и всем трудящимся.

К числу такого рода фактов необходимо причислить появление журнала „Новый Восток", издаваемого Всероссийской Научной Ассоциацией Востоковедения при Н. К. Н. под редакцией М. Павловича, Г. И. Бройдо, проф. И. Н. Бороздина, С. И. Духовского и В. А. Гурко-Кряжина.

Журнал этот, действительно, замечательное явление.

Начать с того, что в четырех вышедших книжках „Нового Востока" дается такая масса ценнейшего материала, затрагиваются такие разнообразные области жизни и науки, дается такое всестороннее освещение самых жгучих вопросов, волнующих сейчас не только Азию, но и весь мир, что даже самый требовательный читатель и критик найдет полнейшее удовлетворение при чтении четырех томов журнала.

В журнале дается материал по следующим главнейшим областям жизни: политико-экономической, торговли и промышленности, историко-этнологической и библиографии. Но кроме сводных и общих статей по этим вопросам в журнале даются материалы и документы всякого рода, обзоры прессы по Востоку, обзоры деятельности ученых учреждений, изучающих Восток, литературная хроника и т. п.

В журнале принимают ближайшее участие, кроме таких знатоков экономической и политической стороны восточной проблемы, как В. Павлович, и специалисты-востоковеды в различных областях, как, напр., известный ученый проф. Баллод,

проф. Д. Позднеев, академик Бартольд и др. Статьи покойного проф. Д. Анучина, проф. С. А. Котляревского, акад. Ф. И. Шмидта и других специалистов и политических деятелей (Катаямы, Г. Бройдо, Г. Сафарова)— все это является доказательством того разнообразия материала, каким насыщен журнал.

Само собой ясно, что в маленькой журнальной заметке нельзя дать исчерпывающего обзора всего огромного богатого материала четырех номеров „Нового Востока", да и не эта задача преследуется нами: нам хотелось бы обратить внимание читателей, интересующихся не только экономическими проблемами Востока, но и проблемами историко-философского характера на тот обильный материал, который находится в журнале.

Вопросам политическим и экономическим в журнале отведено много места. Здесь мы находим такие работы, как статьи М. Павловича: „Тихоокеанская проблема" (№ 1), „Японский империализм на Дальнем Востоке" (№ 2), Б. Сейгеля: „Англия и Индия" (№ 4), „О положении трудящейся женщины и о женском движении в странах Среднего Востока" Каспаровой-Ралли (№ 3), „Раздел Турции во время мировой войны" В. Кряжина (№ 4), „Современный Азербейджан" В. Н. Худоедова (№№ 3 и 4), Ф. Раскольникова „Россия и Афганистан" (№ 4), Г. Сафарова „Национально-колониальный вопрос на IV конгрессе Коминтерна" (№ 2), Г. И. Бройдо „Наша туркестанская политика и английская журналистика" и т. д. Как видит читатель, круг вопросов охвачен весьма разнообразный и обширный.

Излагать содержание всех этих статей нет никакой возможности, необходимо только отметить, что все эти статьи снабжены обильным статистическим и фактическим материалом, выясняющим как нельзя лучше ту экономическую эволюцию, какую переживает Восток в наши дни. В качестве иллюстрации возьмем хотя бы такую статью, как статью товарищей Каспаровой-Ралли „О положении трудящейся женщины и о женском движении в странах Среднего Востока". Когда читатель пробегает тот цифровой материал, иллюстрирующий мысли Каспаровой-Ралли, он начинает понимать причины тех революционных потрясений, которые надвигаются на старый порядок в мире. В самом деле, читатель видит, какое большое значение имеет трудящаяся женщина на Востоке, в частности, в Индии.

Число, напр., женщин-батрачек на фермах Индии достигает 12 миллионов с лишком, на плантациях женщин работает 350 тысяч, число крестьянок наемных землепашцев достигает почти 20 милл., в текстильной промышленности число женщин-работниц достигало в 1911 году 1.764.193 душ, прядением и аппретурой хлопка было занято в том же году 1.915.714 женщин, в мебельной и деревообделочной промышленности 437.833 женщ., в металлической промышленности 79.3[illegible] душ и т. д.

Таким образом женщины - работницы в Индии, это—огромная армия, и несомненно, это участие восточной женщины в промышленности, на фабрике и на заводе революционизирует ее в тысячу раз скорее, чем сотни тысяч книг и прокламаций. Это вовлечение женщины в промышленность и является тем фактором, который толкает недавнюю индуску-рабыню в революционное движение. Пускай это движение сначала окрашено национальным цветом, оно уже превращается в движение классовое, а это служит порукой в том, что капиталистические отношения революционизируют еще так недавно как будто бы патриархально неподвижный Восток и что в самих капиталистических отношениях на Востоке заложены пружины, ведущие к гибели старый мир. Мы остановились на статье Каспаровой-Ралли с тем, чтобы показать, что „Новый Восток", трактуя чисто-экономические проблемы, не ограничивается только теорией, но связывает их с жизнью, не удаляется только в заоблачные выси теории, а, наоборот, касается самых жгучих вопросов современности. Этими жгучими вопросами современности пропитаны все статьи журнала.

Статьи экономические и политические трактуют и об экономике Китая, и о промышленности Азербейджана, и о торговле и промышленности Турции, и об экономическом развитии Кореи, Монголии,—словом, статьи эти на основании новейшего материала дают и поучительную картину, в результате которой формулируется у чита-

тели ясно и определенно единственное мнение: конец господству старого мира и на Востоке, и этот конец придет от классовой борьбы трудящихся масс.

Весь политико-экономический материал журнала является таким образом блестящей иллюстрацией правильности нашей политики на Востоке.

Но не только экономическая жизнь Востока освещается на страницах журнала; в интереснейших статьях Б. Я. Кряжина, Л. Соловейчика, Вл. Виленского, Войтинского (№ 2), М. Павловича, Н. Самурского, Скалова, А. Е. Ходорова и др., рассказывается о революционной борьбе на Востоке: в Месопотамии, Китае, Бухаре, Дагестане, Хиве, Индии и прочих уголках Азии. Развертывается картина могучего движения восточного трудящегося человека, обрисовываются контуры той борьбы, которая окончательно и навсегда сметет старый буржуазный порядок.

Интереснейший отдел журнала это—историко-этнологический.

Здесь, на-ряду с такими статьями, как статья проф. И. Франк-Каменецкого, знакомящего с деятельностью и значением в науке Шампольона, или Д. Анучина, дающего сведения об ископаемом человеке в Азии и Африке (№ 2), или проф. Л. Мсерианца „К истории санскритологии в России" (№ 1), помещены и статьи, где даются сведения о новых открытиях и раскопках, проливающих новый свет на культуру древнейших эпох (последние раскопки в Египте, работы проф. Баллода на Волге и т. п.). Мало того, здесь в этом отделе имеется интереснейший материал, изучение которого дает в руки каждому лектору, напр., по историческому материализму, множество прекрасных примеров, иллюстрирующих положения Маркса.

Такие статьи, как статьи проф. И. Н. Бороздина „Хеттские законы", акад. Ф. И. Шмидта „Китай — Персия — Византия", проф. Н. И. Конради „Вопросы японского феодализма", проф. Б. Денике „Раннее китайское искусство" (№ 4), его же „Арабо-месопотамская школа миниатюры" (№ 3) и многие другие дают превосходный новый материал всякому любознательному читателю, интересующемуся историей культуры в давно прошедшую эпоху жизни человечества.

Журнал помимо всего прочего печатает не какие-либо устарелые, набившие оскомину данные, а ценнейшие документы и сведения, взятые из первых рук, из первоисточника. Обстоятельная библиография по Востоку завершает тот обширный материал, который находит читатель в „Новом Востоке".

В. Невский.

Колониальный Восток. Социально-экономические очерки под ред. А. Султан-Заде. Изд. „Новая Москва". 1924 г. Стр. 354.

Книга под этим заглавием, выпущенная издательством „Новая Москва" и появившаяся в витринах книжных магазинов, пробуждает у каждого, интересующегося Востоком, радужные надежды по возможности полно ознакомиться с социально-экономическим состоянием его стран.

Однако при ближайшем знакомстве с указанной книгой наступает некоторое разочарование.

Первое, что бросается в глаза,—это отсутствие общего плана, цельности и стройности. Статьи носят случайный характер, не спаяны между собой единством общей цели и не соответствуют задаче, выраженной составителем сборника в предисловии: дать русскому читателю по возможности полное представление о социально-экономической структуре колониальных и полуколониальных стран.

Второе—некоторая устарелость сборника, являющаяся неизбежным следствием долгого печатания (около года), и небрежность издания, сказавшаяся в большом количестве корректурных ошибок, подчас искажающих смысл.

Переходя к краткому анализу отдельных статей, нельзя не отметить прежде всего несколько странное впечатление, производимое весьма интересной и содержательной статьей Е. Адамова „К вопросу об исторических перспективах развития восточного вопроса". Со стороны стиля—автор впадает попеременно то в пафос, то в игривое остроумие, уснащая изложение странными образами и сравнениями и тем невольно расхолаживая серьезное настроение, навеянное заголовком статьи.

Нам кажется, что содержательная, дающая обильный материал для уяснения раз-

вития восточного вопроса статья Адамова значительно выиграла бы, будучи написана в более серьезных тонах.

Следующие за ней две статьи Осетрова „Очерки экономического строя Персии“ и Кряжина „Арабский Восток“, надлежит признать наиболее удачными; первая из них в достаточно полной степени дает картину современного экономического строя Персии, намечая те основные задачи, которые стоят перед национальными силами этой страны и разрешение которых даст ей возможность достигнуть полной экономической и политической самостоятельности; вторая, указывая на сложность исторических судеб Арабского востока, в бассейнах рек которого и зародилась человеческая культура, кратко, но достаточно ярко очерчивает основные тенденции, присущие истории арабов на всем ее протяжении, а именно процесс постоянного передвижения кочевых племен в области оседлой культуры и способность ассимилировать другие народности. Все это последовательно приближает нас к пониманию происходящих событий в Сирии, Месопотамии, Аравии и Палестине, развертывая сложную борьбу великих держав за утверждение своего влияния в этих странах.

Статья Бутаева „Экономические предпосылки образования турецкого национального государства“ рисует картину экономического и политического внедрения европейских держав (сначала Англии и Франции, а затем России и Германии) в Турцию и этапы сложной империалистической борьбы; сравнительно скоро создалось такое положение, при котором турецкое правительство для покрытия своих дефицитов принуждено было занимать у европейских государств деньги, выколачиваемые ими, в сущности, при содействии турецких властей с турецких же крестьян.

Однако в конечном счете внедрение европейского капитала и вовлечение Турции в сферу товарного обращения вызвало разрушение натурально-хозяйственного уклада страны, образование торгового класса и постепенное создание туземной турецкой промышленности.

Пользуясь затем промышленной статистикой, в ближайшие годы выпущенной турецким министерством торговли и земледелия, автор в цифрах изображает современное экономическое состояние Турции.

„Индустриализация Индии и Китая“ Султан-Заде показывает, что война положила начало новой эпохе в истории промышленного развития этих двух стран, еще недавно всецело зависевших от иностранного капитала.

Индия начала не только производить для себя металлические предметы, но и вывозить, правда, пока еще в незначительных размерах. Улучшение в этой стране наблюдается и в области текстильной промышленности, чему содействовали высокие послевоенные цены на изделия английской промышленности и пропаганда националистов, призывавших к бойкоту всех изделий, вывезенных из Англии.

Китай также вступает на путь индустриализации и делает огромные усилия, чтобы достигнуть экономической независимости и усвоить капиталистические и технические приемы западно-европейских государств.

Г. Демидов.

Красный Архив. Исторический журнал. Том четвертый. Центрархив. Москва.—Петроград. 1923. Стр. 456.

Четвертый том большого исторического журнала (вернее: сборника), издаваемого Центрархивом, составлен интересно и разнообразно. Много свежего и нового материала пускается в научный обиход этим ценным и заслуживающим всяческого внимания изданием.

Отдел внешней политики, несколько мало представленный в настоящей книге, заключает любопытную поденную запись событий с 3 по 20 июля ст. стиля 1914 г., хранившуюся в архиве канцелярии министра иностранных дел. Здесь мы находим ряд вариантов к официальной версии „начала войны“, празднующего, кстати сказать, свой „десятилетний юбилей“ в текущем году.

Интересный вообще дневник царского сановника Половцева особенно примечателен в тех своих частях, которые опубликованы в IV томе. Здесь главный гвоздь—рассказ о первой русской революции и последовавшей затем жесточайшей реакции. Помимо общего освещения памятных событий, преломленных через призму придворного

черносотничества, не лишены интереса отдельные ремарки и характеристики влиятельных лиц того времени (Витте, Сольского, Шванебаха, Горемыкина, великого князя Владимира и др.). Переписка бывш. министра финансов Коковцева с одним из виднейших французских финансовых воротил Эд. Нецлиным является великолепной наглядной иллюстрацией всех тех условий, коими сопровождались заграничные займы царского правительства. На французские денежки громилась русская революция, и французский Шейлок властно запрашивал российского министра о тех или иных политических комбинациях, вызывавших опасение или внушавших сомнение шефам банковского капитала. В своих ответных письмах русский министр подробно информирует о всем всесильного кредитора, всячески его успокаивая. Картинка былых дел и дней весьма колоритна!

Семейная переписка Романовых, вызвавшая такой интерес в недавно появившемся третьем томе, представлена здесь последними письмами и телеграммами Николая и Александры, относящимися к декабрю 1916—марту 1917 г., т.-е. кануну и началу 2 революции. Вряд ли надо было говорить, какой это первоклассный исторический и психологический документ. Коронованная истеричка, обезумевшая от потери грязного прохвоста Распутина, бомбардирует Николая письмами, с требованиями принять крутые меры против всех инакомыслящих: „Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом—сокруши их всех". „Муж царицы" пытается умерить ее пыл, но вполне разделяет с ней непонимание и нежелание понять текущую действительность. Письма Николая, относящиеся к первым дням уже развертывающейся революции, могут смело соперничать с пресловутыми записями Людовика XVI.

Первая часть обширной статьи П. Е. Щеголева о С. Г. Нечаеве в Алексеевском равелине дает богатейший новый материал о выдающемся русском революционере, даже и в плену ведшем непрестанную борьбу с произволом. В своих письменных обращениях (пока ему окончательно не запретили писать), в своих личных беседах с различными титулованными посетителями, Нечаев оставался все тем же смелым, легендарным революционным борцом, внушавшим такой страх как самому самодержцу, так и его наемникам.

Из других материалов, относящихся к революционному движению, удачно в этой книге представленному, отметим текст знаменитой речи историка Щапова после панихиды по убитым в с. Бездне крестьянам. Этот текст в целом виде, по современной записи, приведен впервые.

В отделе литературных материалов обращает внимание письма И. А. Гончарова, имеющие важное биографическое значение, и данные о Л. Н. Толстом в Астапове.

Мы отметили лишь главнейшее из богатого материала, опубликованного в IV томе „Красного Архива". Его следует прочесть целиком, от начала до конца.

И. Бороздин.

Генрих Эйльдерман. Первобытный коммунизм и первобытная религия. „Атеист". М. 1923 г. Стр. 390. Тираж 15.000.

В то время, как Г. Кунов в своем труде „Происхождение брака и семьи" нередко не дооценивает ряд экономических моментов, Г. Эйльдерман, наоборот, перегибает палку в сторону чистого экономизма, совершенно игнорируя био-физиологические моменты.

Весьма упрощенно также трактует Эйльдерман зарождение представления о душе, о ее жизни вне тела, как результат знахарского обмана. Этот обман давал знахарям возможность, оставаясь у трупа умершего пациента, съедать ту пищу, которую приносили для него родственники (162—165 стр.). Так просто истолковывает автор сложную загадку дуализма и анимизма.

Такую же поверхностность обнаруживает Эйльдерман в трактовании ряда других вопросов. Так, например, тот факт, что первобытный человек или современный дикарь часто называет себя по имени сына (т.-е. отцом такого-то), Эйльдерман объясняет чувством гордости, сознанием исполненного долга „по отношению к социальному объединению, доставлением ему новой рабочей силы" (38 стр.). Или обычай кровавой мести. Эйльдерман выводит его из стремления „нанести удар экономической силе" чужого рода или племени (61 стр.). Что сделает автор с обычаем кровавой мести внутри одного и того же рода? Где

и в чем окажется там мудрая „экономическая политика" дикаря?

Желая побить рекорд в экономизировании всех явлений, Эйльдерман явно несостоятельно идеализирует первобытного дикаря.

Основы первобытного коммунистического общества Г. Эйльдерман видит не в процессе трудовой общности и коллективного сотрудничества. Нет, коммунизм, по мнению автора, был порожден интересами паразитарных групп. Солидарность ставших непригодными к охоте старых людей доставила им в конце концов доступ к господству внутри коллектива орды. Солидарность эта стала настоящим двигателем развития в тот период, который должен быть специально назван периодом первобытного коммунизма.

Это не мешает Эйльдерману заявить: „Борясь за себя, *старейшие боролись вместе с тем и за социальный прогресс, за коллектив, за коммунизм*" (27 стр.).

„Прогресс", „коммунизм" на основе паразитарности!

Вся книга Г. Эйльдермана изобилует упрощенностью трактовки и однобоким, чуждым диалектическому материализму безоглядным экономизмом. В трактовании Эйльдермана нет диалектического сплетения и взаимодействия. Экономический момент здесь не доминанта, каким он является в правильно понятом историческом материализме, а абсолютный, единственный, ничем не сопровождаемый, все исчерпывающий субстрат.

Такой подход способен внести путаницу в неискушенную читательскую среду. А книга претендует на широкую рабочую аудиторию.

Издательство с своей стороны все сделало, чтобы испортить вконец книгу Эйльдермана. Оно дало плохой перевод, небрежную корректуру и снабдило ее предисловием И. Шпицберга.

Г. Даян.

К. Бюхер. Работа и ритм. Перевод с немецкого С. С. Заяицкого. Москва. Изд. „Новая Москва". 1923 г. Стр. 328.

Книга Бюхера имеет выдающийся социологический интерес, *представляя собою* в высшей степени талантливую, чрезвычайно остроумную и в своем роде пока единственную попытку генетически проследить историю развития важнейшей составной части производственного процесса — человеческой работы, начиная с самых низших, биологических ее ступеней и кончая фабричным трудом в современном капиталистическом обществе. При разрешении этой задачи Бюхер попутно столкнулся с рядом явлений, неожиданная связь которых с работой дала ему возможность построить чисто-научную и строго материалистическую теорию происхождения музыки и поэзии. Схема Бюхера, иллюстрированная им на богатом конкретном материале из жизни древних, первобытных и культурных народов, в общих чертах сводится к следующему.

Современная наука большей частью рассматривает работу, как абсолютную экономическую категорию, а потому становится *втупик перед странным явлением* отвращения к работе у первобытного человека. Однако в действительности сама сущность работы подверглась в течение истории человечества серьезному изменению. В то время, как наша теперешняя работа есть движение, направленное на достижение вне его лежащей цели, при чем все остальные движения, цель которых *лежит в них самих*, в состав работы не входят,—работа первобытного человека включала в себя все эти посторонние элементы. Другими словами: она не была чистой работой в нашем смысле, представляя собою с нашей точки зрения игру, или соединение работы с игрой и пляской. Оттого дикарь охотно работает (т.-е. производит действия с полезным эффектом), играя, и иногда может работать таким образом до крайней степени напряжения всех своих сил, но совершенно не выносит систематического и планомерного труда, обусловленного исключительно определенными экономическими заданиями. Работа дикаря, совершаемая почти без орудий, или при помощи очень примитивных орудий, требует огромного количества времени, и она была бы неимоверно утомительной, если бы не производилась ритмически. Ритм—„упорядоченное расчленение движения во времени" (стр. 295)—есть первоначально явление чисто-физиологическое: *стремление к ритму* присуще человеческому организму в силу особенностей его анатомического строения.

Поэтому движения тела работающего человека всегда ритмичны (особенно у голого дикаря), и человек с давних пор научился использовать этот ритм для облегчения своей работы. Первоначально это использование протекало в форме применения звукового ритма, создаваемого самими предметами, при помощи которых производилась работа, т.-е. их равномерными ударами (пример, приложимый и к современной жизни: при дойке домашних животных струя молока, со звоном падающая в ведро, намечает такт работы, стр. 26).

Этот звуковой ритм вызывается ритмом самой работы, и еще не есть что-либо самостоятельное. Однако в процессе дальнейшего развития место звуков, издаваемых неодушевленными предметами, занимает человеческий голос, сначала в виде простых, иногда бессмысленных восклицаний, а затем и в виде песен. Трудовая песня и ее ритм занимает уже более самостоятельное место по отношению к ритму самой работы: он не только подлаживается к нему, но и направляет его, усиливая ритмичность трудового процесса, и таким образом не только облегчает работу, но и ускоряет ее и повышает интенсивность труда. Бюхер различает несколько видов работы, каждому из которых присущ особый ритм и соответственно этому особые трудовые песни: 1) работа одиночная, при которой каждый из работающих, независимо от других, исполняет свое дело, и работа каждого имеет свой ритм (пример: прядение при помощи веретена); 2) работа в сообществе (Gemeinschaftsarbeit), при чем несколько лиц должны работать сообща, чтобы выполнить одно задание; такая работа требует либо все время меняющегося напряжения сил многих работников (работа с измененным тактом, напр., молотьба), либо одновременного напряжения сил всех участников (работа с одинаковым тактом, напр., при подниманий и перетаскивании всякого рода тяжестей, а также при гребле); отличительным признаком этой работы является невыполнимость ее силами одного человека; 3) и, наконец, работа, требующая объединения большого числа рабочих единиц для ускорения трудового процесса (Arbeitshäufung), но принципиально вполне выполнимая силами одного человека (примеры: жатва, постройка, чистка снега и проч.). Различие ритма трудовых песен соответствует отличиям в ритме самих работ, и Бюхер подробно рассматривает их на ряде примеров. В частности при работе с переменным тактом имеет место двойной ритм—звуковой ритм самой работы и ритм пения. Работы, производимые при помощи животных, указывают на попытки человека приучить и животных работать ритмически. Первобытная трудовая песня таит в себе зародыши будущей музыки и поэзии, которые и произошли, путем сложного и длительного процесса дифференциации, из первобытной работы—игры.

В исходном пункте этого процесса существовал „только один вид человеческой деятельности, сочетающий в себе работу, игру и искусство".

„Звено, связующее все эти разнообразные элементы, есть ритм" (стр. 294), проистекающий из самой органической сущности человека. Отделение работы от игры и техники, от искусства происходило путем перехода от непосредственного воздействия общественного человека на природу к посредственному. Правда, изобретение первых орудий, лишь усовершенствовавших члены человеческого тела, не внесло почти ничего нового; но с появлением орудий, сберегающих силу этих членов и видоизменяющих ее характер и направление, происходит радикальная ломка. Орудие начинает господствовать над человеком, и это техническое его господство „со временем превращается в экономическое господство владельца этого орудия" (стр. 309). Первые машины еще допускали ритмичность трудового процесса, но новые изобретения почти совершенно изгнали ритм из фабрики. Техника и искусство резко отделились друг от друга (особенно динамические искусства: музыка и поэзия); оба они работают теперь на рынок; работа перестала быть удовольствием и забавой. Эту схему Бюхер наполняет живым содержанием массы конкретных примеров трудовых песен как у древних народов, так и у современных—диких и культурных (африканцев, китайцев, японцев, славян, эстов и проч.). К книге приложено 14 иллюстраций на отдельных листах, изображающих различные виды упомянутых в тексте работ.

Из нашего более чем краткого изложения все же можно усмотреть огромное

значение книги. Оно особенно велико в двух направлениях: во-первых, важен анализ самой работы, как исторической категории, сущность которой подвержена изменению, а, во-вторых, чрезвычайно интересна попытка наметить основные этапы превращения явлений первоначально чисто биологических и физиологических (органический ритм) в общественные и экономические (ритм, как принцип экономического развития) через посредство усложнения взаимоотношений общественного человека и внешней среды (изобретение орудий и их общественное значение). Мы уже не говорим о теории происхождения музыки и поэзии. Во всех этих трех направлениях работа Бюхера может быть с полным правом названа образцовым примером применения того материалистического метода изучения общественных явлений, основателем которого был Маркс (хотя Бюхер, как ясно из прочих его работ, далеко не марксист). Перевод сделан с 4-го издания, хотя уже в 1918 г. вышло пятое (а в 1924 г. шестое), которое, правда, в небольшой мере, но все же отличается от 4-го. Перевод в общем удовлетворителен, хотя местами страдает неясностью (напр., на стр. 41 недостаточно передана разница между „Gemeinschaftsarbeit“ и „Arbeitshäufung“). Жаль также, что не переведено предисловие самого Бюхера. В книге много опечаток; не все из них исправлены в списке, приложенном в конце.

Я. Неусыхин.

Эрнст Кречмер, „Строение тела и характер“. Госиздат. 1924 г. Перевод с 2-го немецкого издания.

Книга Кречмера, посвященная психиатрическим проблемам, выдержала в Германии за два года три издания, а у нас в С.С.С.Р. выпущена одновременно двумя Госиздатами. Этот факт уже сам по себе характеризует повышенный интерес к книге со стороны широкого круга читателей. В узком же кругу психиатров, наряду с отдельными нотками скепсиса и голого отрицания, замечается широкий отклик, а порой и полное признание. Каждая новая работа в области психиатрии посвящает Кречмеру почетное место. И это не пустой шум и не крик моды и не дутая сенсация. Книга Кречмера—подлинно творческое достижение, завершившее долголетние искания психиатров и открывающее новые широкие пути объективного исследования больной и здоровой личности. Бессмертной заслугой Фрейда является перенесение механизмов бессознательного невротиков в психику здорового человека, чем открылась возможность изучения здоровой психики в психопатологическом разрезе. Кречмер, дополняя Фрейда, сделал первую серьезную попытку дать физический коррелят и пространственную динамику механизмов двух полярных психических состояний, связывая в этом биологическом отображении резко выраженный психоз с нормальным типическим человеческим характером. Два обширных круга психозов являются, по Кречмеру, узловыми пунктами, вплетенными в сильно разветвленную сеть нормальных характерологических конституциональных отношений.

Соответственно этим кругам психозов, выявляются два полярных типа психопатических и нормальных характеров. Полярность их выражается в различии физического облика и состояния (строение лица и черепа, телосложение, состояние кожи, волосяной покров, характер полового влечения, корреляция к соматическим заболеваниям) и в различии темпераментов (динамика темпа и эмоциональной реакции, моторная и социальная установка). Общей биологической основой физического облика и темперамента обоих типов является „эндокринная формула“ организма (состояние внутренней секреции и химизма крови), зависящая от двух гормональных систем. Одна из них, определяющая шизофрению, дает так называемую психэстетическую пропорцию, выражающуюся в различных градациях перехода аффективности от аффективной тупости до повышенной чувствительности и ранимости. Эта система вызывает неравномерный скачущий темп в переходе от стабильного тягучего его состояния к порывистому, угловатую деревянную моторную установку, характеризующуюся реакцией неадекватной раздражению, социальную установку замкнутости и аутизма, склонность к астеническому и атлетическому типам физического строения и их комбинациям. Другая гормональная система, определяющая циркулярный психоз, выражается в „диатетической пропорции“ или „пропор-

ции настроения" между полюсами „весел" и „печален" волнообразно кривой темпа, между медлительностью и быстротой в закругленной естественной моторной установке, в общительности и социабельности и, наконец, склонности к пикническому закругленному физическому облику. Обе системы могут совмещаться в каждом конкретном случае, давая смешанные средние типы. Но преобладание каждого из них вызывает наружу какие-либо из отмеченных типических черт. Кречмер не задевает в своей книге вопроса о социальной динамике личности (классовая природа, особенности среды воспитания), ограничивая свои изыскания чисто биологическими наследственными отношениями. Напротив того, эти-то биологические отношения он кристаллизует в социальной жизни в виде двух различных социальных установок и пытается их уловить даже в характере творчества и философских умонастроениях выдающихся людей. Трагическое и юмор, яркое солнечное творчество и творчество лунное холодное, искусство формы и искусство содержания, система и уют, гуманность и долг до конца, мистический и идеалистический уклон и уклон в реализм и материализм вызываются во всей своей полярности в отражении биологических типов.

Социальная установка понимается Кречмером, как выражение темперамента в социальной жизни; например, то, что в социальном отношении выступает, как аутизм, проявляется в моторной сфере, как реакция неадекватная раздражению. Эта широкая биологизация психики, проникающая всю толщу социальных отношений и объясняющая сложное поведение социально творящего человека, безусловно имеет свое научное основание и представляет большой интерес, но в ней кроется и опасность вульгарного упрощения, игнорирования сложных социальных наслоений психики, в конечном итоге определяющих общую установку личности. Эта опасность становится реальной", поскольку в характерологической части почти совершенно отсутствуют социальные моменты.

Конституциональная генетика социальных проявлений данной личности могла бы быть более или менее достоверна при условии строгого учета всех условий социальной среды и воспитания.

Широкая биологизация психики должна сопровождаться не менее широкой социологизацией. Без этого условия характерология является объективно недостаточной а выводы не всегда обоснованными. Если учесть еще отсутствие объективных психологических методов исследования темпераментов, а также тонкую, неустойчивую корреляцию физического облика, особенно у здоровых, то в итоге открывается широкий простор для гадания и произвольных построений.

Только материалистический уклон мышления, острая наблюдательность, богатый опыт и художественное чутье помогли автору, несмотря на все несовершенства методики, наметить и частично обосновать актуальную интереснейшую проблему биологической классификации личности.

Неоспоримым достоинством Кречмера является художественная глубина и меткость описания. Его типы — не застывшие и замурованные манекены, не мертвые носители психологических качеств, а живые люди, непрерывно изменяющиеся, вечно новые, но знакомые и понятные в каждом отдельном переживании, каждой новой ситуации, каждым маленьким штрихом своего п с и х и ч е с к о г о реагирования.

Перевод выполнен неуклюже и топорно.

Книга может быть очень полезна, при условии вдумчивого и критического отношения. Рассчитана на подготовленного читателя.

Я. Залмансон.

А. В. Богданович. Три последних самодержца. Изд-во Л. Френкель. М. 1924. Стр. 503.

Дневник А. В. Богданович принадлежит к числу книг, имеющих не столько исторический, сколько историко-бытовой интерес. Муж автора дневника ген. Богданович являлся, на-ряду с кн. Мещерским, С. Шарапоным и др. одним из неофициальных представителей царской России, имевшим огромные связи в чиновном и придворном обществе. Настоятель Исакиевского собора, издатель патриотических и „душеполезных" религиозных книженок и листовок, он являлся одним из наперстников самого обер-прокурора Синода К. Победоносцева.

Благодаря отмеченным связям мужа, при необходимости вести широкий образ жизни, А. В. Богданович была исключительно хо-

рошо информирована о всех великосветских сплетнях, дворцовых интригах, вплоть до альковных эпизодов.

Одна черта роднит дневник А. Богданович с дневником А. Суворина: и тот, и другая являются убежденными сторонниками (конечно, далеко не бескорыстными) монархии. И, тем не менее, картина разлагающегося придворного бюрократического общества приводит их к пессимистическому выводу о неизбежности крушения монархии. Любопытен отзыв А. Богданович о последней опоре качающегося абсолютизма—о союзе русского народа; она клеймит его „грязной клоакой", „отбросами человечества", „собранием проходимцев" и т. д.

Довольно яркую характеристику дает дневник Николаю II. Безволие, упрямство, вероломство и мания величия,—все эти черты характера последнего самодержца ярко изображены наблюдательным автором дневника. Наконец, особенно много места уделено Александре Федоровне и Распутину. Е. Богданович принадлежал к анти-распутинской фракции, и поэтому она не стесняется занести в дневник много красочных и пикантных эпизодов.

Что касается до изображения политических событий, одинаково — внутренних или внешних, то здесь дневник, за редкими исключениями, мало что дает. Все сведения, сообщаемые по этому поводу А. Богданович, не выходят за уровень дамских сплетен, передаваемых за великосветскими чаепитиями, так гениально изображенными Л. Толстым в „Анне Карениной".

В. Крянин.

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 19-82.

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов

За рубежом

Литературные края

Библиография

Объявления

Цена 2 р.

